НОЙ

ՆՈՅ

20

ПОСЛЕДНИЙ



АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

ИЗДАТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАРДВАН ВАРЖАПЕТЯН



МОСКВА
1997

Я, Вардван Варжапетян, основал это издание 21 сентября 1991 года в память о моем отце Варткесе Варжапетяне, матери — Анастасии Хохловой, и в память о родителях моей жены — Мойше-Янкеле Рабиновиче и Цецилии Шейнкман. Это издание я завершил в апреле 1997 года, выпустив двадцать номеров вестника "НОЙ".



Вардван ВАРЖАПЕТЯН.
Рис. Николая Никогосяна

ISBN 5-7270-0012-2

К ЧИТАТЕЛЯМ

Евреи и армяне — две нити, так прочно, ярко и причудливо вплетённые в ткань всемирной истории, что выдернуть их из неё невозможно, не рискуя распустить саму основу. На протяжении веков судьбы двух народов оказались связаны тысячами узелков. Армяно-еврейский вестник "НОЙ" — один из них.

Первый номер нашего издания вышел 23 апреля 1992 года. А сейчас вы держите в руках двадцатый. Последний. Всем, кто все эти годы помогал редакции, вновь говорю "спасибо". Я расстаюсь с вами с сожалением, но без досады, ибо цель, ради которой делался журнал, достигнута: между Арменией и Израилем установлены дипломатические отношения; Израиль наконец-то осудил геноцид армян; армянские политики всё внимательнее изучают опыт Израиля.

В строительстве моста Ереван — Иерусалим есть и наша с вами заслуга. То, что срединной опорой такого моста стала Москва, очень важно, это придаёт дополнительную прочность всей конструкции. Важно и то, что языком армяно-еврейского диалога стал русский. А что касается дальнейшего развития отношений между двумя государствами, то тут на смену дилетантантам вроде меня должны прийти профессионалы: политики, дипломаты, предприниматели, учёные.

Многое из того, что было задумано редакцией, не сбылось: не была поддержана наша идея Ванских встреч — диалога армянской и турецкой интеллигенции в г. Ван — которые могли бы стать ежегодными; не удалось провести матчи сборных Израиля и Армении по шахматам и футболу; мы не смогли издать несколько замечательных книг.

Все эти годы вестник издавался на пожертвования — не только евреев и армян; деньги давали люди разных национальностей — от ассирийцев до японцев. У редакции не было ни помещения, ни сотрудников, ни транспорта. Выход каждого номера — маленькое чудо, иногда мне казалось: ну всё, уж на этот раз денег на хватит! — но каким-то чудом необходимая сумма собиралась. Колодец вашей доброты не иссякал. И это было великой радостью и счастьем для меня.

Уверен, вашей доброты и моих сил хватило бы, чтобы издать ещё один-два номера. Но та задача, ради которой был задуман "НОЙ", решена. Это дело своей жизни я считаю сделанным. Спасибо вам!

Вардван Варжапетян

7 января 1997



СПАСИБО. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ!
БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ НЕ БЫЛО БЫ ВЕСТНИКА "НОЙ"!

Александр АЛАВЕРДЯН
Сергей АБГАРЯН
Юрий АВАКЯН
Карен АВЕТИКЯН
Иудит АГРАЧЁВА
Вадим АГРОН
Владимир АДАМОВ
Ольга АКУЛИНА
Людмила АКСЕНЧУК
Борис АЛЬТШУЛЕР
Татьяна АНДРИАСОВА
Мария АННИНСКАЯ
Мария АРБАТОВА
Марина АРОНЗОН
Юрий АРУСТАМОВ
Ирина АРУСТАМОВА
Жорес АРУСТАМЯН
Эрнест АРУСТАМЯН
Роберт АТОЯН
Надежда БАНЧИК
Евгений БАЧУРИН
Борис БЕЙНФЕСТ
Лариса БЕЛАЯ
Аталия БЕЛЕНЬКАЯ
Ева БЕНДЕК
Анаида БЕСТАВАШВИЛИ
Яша БЛЕЙМАН
Александр БОВИН
Елена БОВИНА
Ольга БОРОВАЯ
Яков БОРОВОЙ
Марина БОРЩЕВСКАЯ
Кнут БРИНХИЛЬДСВОЛЬ
Александр БРОЙНВЕБЕР
Павел БУНИН
Юрий БУРДЖЕЛЯН
Арон БУХ
Арнольд БЯЛИК
Роман ВАВИЛОВ
Зеев ВАГНЕР
Анна ВАРЖАПЕТЯН
Валерия ВАРЖАПЕТЯН
Рубен ВАРЖАПЕТЯН
Аркадий ВАРТАНЯН
Михаил ВЕЛЛЕР
Илья ВОРОНОВ
Юрий ВОРОНОВ
Юдифь ВЯЗЬМИНА
Александр ГАНГНУС
Гамлет ГАСПАРЯН
Седа ГАСПАРЯН
Александр ГЕЛЬМАН
Сергей ГЕНЗЕЛЕВ
Рита ГЕНЗЕЛЕВА
Владимир ГИРШОВИЧ
Борис ГОЛЛЕР
Геннадий ГОРДОН
Борух ГОРИН
Вениамин ГОРОДЕЦКИЙ
Леонид ГОФМАН
Евгений ГРАНОВСКИЙ
Леон ГРИГОРЯН

Абрахам ГРИНБАУМ
Семён ГРИНБЕРГ
Светлана ГРОМОВА
Игорь ГУБЕРМАН
Владимир ГУНДАРЕВ
Сильвия ДАЯН
Джозеф ДВАЙЕР
Ион ДЕГЕН
Даниил ДОМБРОВСКИЙ
Анатолий ДОРОВСКИХ
Виктория ДУБНОВА
Лев ДУГИН
Ирина ДУРНОВО
Игорь ДУЭЛЬ
Григорий ЕРИЦЯН
Игорь ЕРМИЛОВ
Белла ЕСАЯН
Михаил ЖУКОВ
Борис ЖУТОВСКИЙ
Леонид ЗАВАЛЬНЮК
Алёна ЗАЙЦЕВА
Александр ЗАПОЛЯНСКИЙ
Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ
Риталий ЗАСЛАВСКИЙ
Лера ЗОЛОТУССКАЯ
Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Марк ИБШМАН
Георгий ИСАГУЛИЕВ
Карен ИСАГУЛИЕВ
Паруйр ИСАГУЛИЕВ
Ирина ИСАГУЛИЕВА
Майя ИОФФЕ
Татьяна КАЖДАН
Леопольд КАЙМОВСКИЙ
Татьяна КАЛЕЦКАЯ
Григорий КАНОВИЧ
Михаил КАМИНСКИЙ
Александр КАНЦЕДИКАС
Дмитрий КАРАБЧИЕВСКИЙ
Светлана КАРАБЧИЕВСКАЯ
Валерий КАЦ
Евгений КЛОДТ
Лиля КОВАЛЁВА
Иоахим КОГАН
Марина КОГАН
Татьяна КОНОНЕНКО
Юрий КОНОНЕНКО
Марк КОНЯШОВ
Марлен КОРАЛЛОВ
Анна КОРОТКОВА
Дмитрий КРАСНОПЕВЦЕВ
Галина КРЫЛОВА
Юлия КУНИНА-ТРУБИХИНА
Яков КУМОК
Михаил ЛЕВНЕР
Сергей ЛЁЗОВ
Виктор ЛЕНЗОН
Владимир ЛЕТУЧИЙ
Лариса ЛИСЮТКИНА
Кронид ЛЮБАРСКИЙ
Татьяна МАВРИНА
Патриция МАЗИ
Андрей МАЛЬГИН
Сурен МАЛЬЯН
Юрий МАРКАРЯН
Эстер МАРКИШ
Рейн МАТВЕРЕ
Александр МЕЛИКЯНЦ
Ицхокас МЕРАС
Изабелла МИЗРАХИ
Илья МИЛЬШТЕЙН
Аркадий МИНАСОВ
Гамлет МИРЗОЯН
Самуил МИРИМСКИЙ
Эмма МОГИЛЕВСКАЯ
Люда МОЛДАВСКАЯ
Александр МОЛДАВСКИЙ

Вера МУРЗИНОВА
Зара НАЗАРЯН
Фумико НАКАМУРА
Яков НЕЙМАН
Лариса НЕМИРА
Николай НИКОГОСЯН
Юрий НОРШТЕЙН
Евгений НОТКИН
Галина НУЙКИНА
Зульфа ОГАНЯН
Маргарита ОДЕССКАЯ
Булат ОКУДЖАВА
Александр ОКУНЬ
Григорий ОСИПОВ
Владимир ПЕТРОВ
Степан ПЕТРОСЯН
Владимир ПЛИСС
Михаил ПОЛАДЯН
Альберт ПОЛЯКОВСКИЙ
Лилия ПОПОВА
Виталий ПОТАШНИК
Лев ПСАХИС
Александр ПУМПЯНСКИЙ
Андрей РАПОПОРТ
Михаил РИВКИН
Михаил РОМАДИН
Владимир РУДЧЕНКО
Михаил РУМЕР
Александр РОМАШОВ
Виктор САНОВИЧ
Владимир СПИВАКОВ
Александр СТЕПАНЕНКО
Эдуард СТЕПАНЧИКОВ
Витторио СТРАДА
Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ
Давид СТРИЖЕВСКИЙ
Валерий СУББОТИН
Георгий СУББОТИН
Софья СУББОТИНА
Роза СУББОТИНА
Юлия СУББОТИНА
Сергей СУМИН
Медея СУРМАВА
Маркс ТАРТАКОВСКИЙ
Геннадий ТЕРЕЦ
Ирина ТИМОШЕНКО
Владимир ТОЛЬЦ
Юрий ТОМАШЕВСКИЙ
Михаил ТОПКАРЯН
Абрам ТОРПУСМАН
Рахель ТОРПУСМАН
Татьяна ТРАВИНСКАЯ
Бэла ТУМЯН
Михаил ТЮТЮННИКОВ
Кари УЕККЕР
Хайко УЕККЕР
Майя УЛАНОВСКАЯ
Ефим ФАВЕЛЮКИС
Николай ФЁДОРОВ
Эйтан ФИНКЕЛЬШТЕЙН
Марк ФРЕЙДКИН
Анатолий ФРИДМАН
Дмитрий ФУРМАН
Джозеф ХАЙДЕР
Борис ХАЗАНОВ
Левон ХАЧАТРЯН
Камо ХАЧПАНЯН
Надежда ХВАТОВА
Михаил ХЕЙФЕЦ
Михаил ХРОМАКОВ
Вера ЧАЙКОВСКАЯ
Роман ЧАЙКОВСКИЙ
Светлана ЧЕРНОГОР
Грета ЧЕСНОВИЦКАЯ
Аркадий ЧЕСНОВИЦКИЙ
Михаил ЧЛЕНОВ
Андроник ШАМИРОВ
Гаспар ШАМИРОВ

Манук ШАМИРОВ
Борис ШАПИРО
Нора ШАПИРО
Татьяна ШАПКИНА
Игорь ШАХНАЗАРОВ
Александр ШВАРЦ
Виктор ШВАРЦ
Светлана ШЕВЕЛЁВА
Валерий ШТЕЙНБАХ
Иосиф ШТЕРЕНБЕРГ
Екатерина ЭЙДЕЛЬШТЕЙН
Клара ЭЛЬБЕРТ
Николай ЭСТИС
Бронислав ЮДИН
Сусанна ЮНАНОВА
Леонид ЮНИВЕРГ
Наум ЯБЛОЧКИН
Александр М. ЯКОВЛЕВ

а также:

акционерное общество "ЕВВА"
акционерное общество "САТЭКС"
ансамбль еврейской музыки "МИЦВА"
библиотека № 5 имени А.П.Чехова
библиотека конгресса США
библиотека Сионистского форума (Израиль)
газета "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ"
Гарвардский университет (США)
еврейская правозащитная организация UCSJ (США)
журнал "ЛЕХАИМ"
издательство "ЗУРКАМП" (Suhrkamp Verlag, Германия)
издательство "ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО"
издательство "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
компания "КРУНГ"
кооператив "АНИТА"
мужской хор Академии канторского искусства
Общество "ТЕЭНА" (Израиль)
посольство Государства ИЗРАИЛЬ в Москве
посольство Королевства НОРВЕГИЯ в Москве
производственный кооператив "РАДУГА"
ТИО "Центрполиграф"

творческо-производственный центр "ТУРАН-I"
фирма "ТЕТРА"
фирма "НОЙЯК"
фонд NORLA (Norvegian Literature Abroad — Норвегия)
фотосалон "БИТЦА"
частная образовательная фирма "НОВАЯ ШКОЛА"
Чеховский культурно-просветительский центр

Уроки для Армении

КТО АРМЯНИН?

Дискуссия об армянском гражданстве на страницах парижского журнала "Nouvelles d'Arménie"

Сара ПЕТРОСЯН, Акоп АСАТРЯН

ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ — ЯБЛОКО РАЗДОРА

Разработка закона о гражданстве Армении была начата Верховным Советом ещё в 1990 г., сразу после провозглашения Декларации независимости. Декларация предусматривала автоматическое предоставление гражданства всем жителям Республики Армения, а для армян диаспоры — право его приобрести. В ст. 12 устанавливалось, что Декларация должна служить основанием для создания будущей конституции и всего законодательства. Но со временем вопрос о предоставлении гражданства армянам диаспоры стал пунктом принципиальных расхождений между партией власти и оппозицией. АОД (правящая партия "Армянское общенациональное движение". — *Ред.*) откладывал принятие закона под предлогом того, что речь идёт о конституционной норме, которая не может обсуждаться до принятия самой конституции. Сторонники АОД, пренебрегая диспозицией Декларации, высказались против двойного гражданства; при этом они не могли набрать необходимых двух третей голосов, чтобы внести изменение в Декларацию и затем предложить проект закона о единственном гражданстве. А представленный оппозицией законопро-

ект, предусматривавший двойное гражданство, одобрения не получил. В результате рассмотрение этого вопроса Национальным собранием было надолго отложено.

Ст. 14 Конституции, принятой референдумом 5 июля 1995 г., устанавливает, что все лица армянского происхождения могут получить гражданство посредством упрощённой процедуры, однако граждане Армении не могут одновременно быть гражданами другого государства.

На первом же заседании вновь избранного Национального собрания на повестку дня было поставлено обсуждение закона о гражданстве, и 10 октября 134 голосами он был принят в первом чтении. Внеся ряд замечаний и предложений, президент республики Левон Тер-Петросян 16 ноября подписал закон, который немедленно вступил в силу. Интересно отметить, что в противоположность тому, что происходило во время дебатов в предыдущие годы, принятие закона было встречено прессой и общественным мнением с полным безразличием. Наблюдатели объясняют это обстоятельство социально-экономической и политической ситуацией, сложившейся после принятия Конституции.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ?

Закон предоставляет равные права всем гражданам Армении, живущим на её территории. Одновременно он предусматривает, что "все лица армянского происхождения получают гражданство посредством упрощённой процедуры". Глава юридической комиссии Национального собрания, член юридической академии Российской Федерации Генри Хачатрян подчёркивает, что эта "упрощённая процедура" нуждается в законодательном оформлении. При упрощённой процедуре индивид должен обратиться в консульскую службу для получения свидетельства о гражданстве или удостоверения личности. Согласно закону, гражданин Армении не может одновременно быть гражданином другого государства. Это не касается тех, кто получил гражданство в награду за выдающиеся заслуги перед республикой.

"Всякий ребёнок, родившийся от граждан Армении, имеет право на армянское гражданство независимо от места рожде-

ния. Его гражданство может быть изменено только по воле родителей или в результате договорённости между государствами".

"Всякий индивид, достигший 18 лет, имеет право на натурализацию, при условии, что он прожил в Республике Армения не менее трёх лет подряд непосредственно перед подачей ходатайства, говорит по-армянски и знаком с Конституцией".

Следует указать, что в случае получения гражданства другой страны от армянского гражданства можно отказаться, однако это не означает его автоматической утраты. Глава Государственной юридической комиссии Эдвард Егорян объясняет, что ходатайство об отказе не удовлетворяется немедленно, дабы проситель не оказался апатридом. Что касается лиц, получивших гражданство другой страны (например, России) после принятия Декларации независимости Армении, то в этих случаях закон устанавливает для решения вопроса годовую отсрочку, чтобы проситель мог сделать окончательный выбор.

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АРМЯНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И КАКИМ ОБРАЗОМ?

Вопрос о том, закон или президент имеет право предоставлять гражданство армянам диаспоры за исключительные заслуги перед страной, сразу же вызвал бурные споры в Национальном собрании. По мнению прежнего председателя юридической комиссии Кима Балаяна, наделение подобными полномочиями одного лица может привести к тому, что некоторые партии воспользуются этим для усиления уже существующей напряжённости. Несмотря на такую опасность, нынешний закон закрепляет это право за главой государства. Почётное гражданство уже было предоставлено Католикосу Всех Армян Гарегину I, архиепископу Иерусалимскому Торгому, пожизненному президенту Всемирного армянского благотворительного союза Алеку Манукяну, другим благотворителям и известным общественным деятелям. Г.Хачатрян полагает, что возможность предвзятого отношения со стороны президента исключается, так как в этих случаях он действует в своём качестве главы государства. Практически же вопрос о предоставлении гражданства тому или иному лицу предварительно рассматривается Советом по делам натурализации, который формируется самим президентом, и только после такого

рассмотрения ходатайство передаётся главе государства. Если Совет отклоняет просьбу, президенту она не передаётся. Возникает вопрос: может ли президент отклонить просьбу, которую Совет рекомендует удовлетворить? "Это невозможно", — говорит Г.Хачатрян, подчёркивая, что ст. 30 закона допускает обжалование в судебном порядке решения властей, в том числе и президента.

Ходатайство о натурализации может быть отклонено, если действия просителя угрожают безопасности государства или общества, общественному порядку, правам и свободам других граждан. Г.Хачатрян говорит, что это международный принцип, применяемый во многих странах. Разумеется, он оставляет место для произвола. В нынешнем виде эта статья была одобрена во втором чтении, после того как были приняты поправки Тер-Петросяна, изменившие первоначальную формулировку, согласно которой "в просьбе о натурализации может быть отказано, если проситель является членом организации, деятельность которой признана противозаконной". Практически это означает, что, если бы статья была принята в первоначальном варианте, все члены партии Дакшнакцутюн лишились бы права на армянское гражданство.

Армяне диаспоры могут получить свидетельство о гражданстве или удостоверение личности гражданина Республики Армения, что даёт им особый статус: они могут свободно ездить в Армению и заниматься там экономической деятельностью, однако не имеют права голоса и не обязаны исполнять воинскую повинность (хотя добровольная служба в армии не исключается). За получение такого свидетельства надо заплатить 1000 долларов; подобная практика существует и в других странах, но Армения взимает более высокую пошлину, которая составляет заметную статью дохода для государственного бюджета. Г. Хачатрян полагает, что решение о недопустимости двойного гражданства было разумным, так как в противном случае возникла бы юридически ненормальная ситуация. Однако в тексте принятого закона есть нюанс, который в будущем может сыграть очень важную роль. Ст. 2 устанавливает, что в случае заключения договора с другим государством его нормы имеют приоритет по отношению к армянским законам. Это значит, что в результате договорённости

с суверенным государством Армения может в виде исключения разрешить двойное гражданство.

Сторонники принципа двойного гражданства уверены, что закон создаёт пропасть между Арменией и диаспорой, изолируя Армению не только юридически, но и психологически. Лозунг "Один Народ, одна Родина, одна Церковь" не получил правового подкрепления.

Жерар ГЕРГЕРЯН

БЕСТАКТНОСТЬ

Что это: стремление к разрыву или незнание реальности? Как объяснить бестактность наших соотечественников в Армении? Эти вопросы задают себе многие армяне диаспоры после принятия парламентом закона о гражданстве. Все эти вопросы можно свести к двум главным направлениям. Как такое могло случиться? Не являются ли подобные действия властей продолжением политики, не сумевшей понять значение диаспоры и предвидеть последствия, к которым это приведёт? Каким образом и на основании какого критерия можно разделить армян диаспоры и тех, что живут на родине? Значит ли это, что армяне делятся на две категории: на тех, кто внутри и тех, кто вне? на богатых и бедных? на тех, кто пользуется благами жизни на Западе, и тех, кто страдает? Следует ли упрекать несколько миллионов армян диаспоры, которые столь же многочисленны, как и жители республики, в том, что они не участвовали в последней битве за независимость, которую вела Армения?

Армяне диаспоры приняли свою долю страданий. И с начала века знали столь же жестокую нищету. Только слепой может всего этого не видеть. Ведь огромное большинство общин Сирии, Ливана, Франции и других стран составляют дети тех, кто лишь случайно не стали жертвами геноцида. Можно ли столь легко об этом забыть?

И можно ли столь бестактно обойтись с теми, кто — плохо ли, хорошо ли — боролись за сохранение армянской идентичности и вели политическую борьбу, когда их соотечественники

по ту сторону железного занавеса жили под советским ярмом? Хотя наивно было бы полагать (и я всегда был далёк от подобной мысли), будто посредством политической борьбы армяне диаспоры могут достичь национального освобождения и независимости Армении.

Значит, есть два народа, две нации?

ДВА ПОДХОДА

Концепции права на гражданство традиционно делятся на две группы: в основе одной лежит право почвы, в основе другой — принцип кровных связей. Это разделение существенно усложняется, если государство, о котором идёт речь, — страна иммиграции или эмиграции. Многим государствам для расширения права на гражданство пришлось перейти от ограничивающей концепции права крови к более либеральному понятию права почвы, которое открывает бóльшую свободу. Естественно, что некоторые страны в силу обстоятельств и конкретных особенностей должны были создать смешанные концепции.

Иными словами, если власти сознательно стремятся укрепить национальное сообщество, предпочтение отдаётся праву крови. Франция — страна как иммиграции, так и эмиграции. Ввиду того что в центре всегда оставалось стремление укрепить национальное сообщество, концепция права крови (которое никогда не подвергалось сомнению) сменилась идеей права почвы. Результатом стало признание права на двойное гражданство. Так, получив французское гражданство, французский эмигрант остаётся французом, несмотря на эмиграцию или приобретение другого гражданства, если он сам не захочет отказаться от первоначального гражданства.

Соединённые Штаты — страна по преимуществу иммигрантов — с самого начала приняли оба основополагающих принципа: безусловное предпочтение было отдано праву почвы, но при этом созданы препятствия для бесконтрольной "утечки крови". Проще говоря, или люби приютившую тебя страну, или проваливай. На техническом языке это означает следующее: если условия жизни удовлетворительны, препятствий к получению гражданства нет; требуется лишь, чтобы власти согласились вы-

дать разрешение на постоянное жительство, а заинтересованное лицо согласилось дать присягу — клятву верности американской земле. Это осуществляется в ситуации безусловного запрета двойного гражданства.

Итак, можно сделать первый вывод. Независимо от конкретных особенностей, институт гражданства используется как средство укрепления национального сообщества. Когда власти считают, что поток мигрантов способен укрепить национальное сообщество, государство поощряет право крови и разрешает двойное гражданство (ливанская система). Если же, как в США, государство вынуждено иметь дело с наплывом мигрантов, двойное гражданство запрещается.

ЗЫБКО И НЕОПРЕДЕЛЁННО

Заметно, что недавно принятый армянским парламентом текст отличается неопределённостью и не учитывает бросающихся в глаза особенностей армянской действительности. По существу (если не вдаваться в подробности и противоречия) смысл закона можно свести к следующему:

1. Правом на гражданство автоматически наделяются бывшие граждане Советского Союза, причём не только армяне.

2. Признаётся право почвы при условии проживания в Армении не менее трёх лет. Однако в этом случае гражданство предоставляется не автоматически: вопрос решается властями.

3. Запрещено двойное гражданство.

Первая диспозиция была необходимой, так как невозможно грубо разорвать квазинациональные связи, сложившиеся между гражданами распавшегося Советского Союза; однако право крови распространяется лишь на армян, живших в Советской Армении. Кровные связи с армянами диаспоры не были приняты во внимание. Точно так же право почвы не даёт слишком больших преимуществ: ведь решение всякий раз остаётся за властями. Подобный способ приобретения гражданства не открывает армянам диаспоры лёгкого и достойного пути; более того, они подвергаются дискриминации по сравнению с обычными иностранцами, живущими на той же территории. Одновременно возникает опасность экспансии таких иностранцев, поскольку не су-

ществует способа отказать им в гражданстве. Этот пробел в законе порождён запретом двойного гражданства.

Возникает впечатление, будто закон создан для того, чтобы армяне либо отказались от родины, либо отреклись от своих прав, при этом диаспора зависит от милости "синьора", который решает, предоставлять гражданство или нет. Трудно понять, почему права армян диаспоры оказываются ограниченными необходимостью прожить в Армении три года; столь же трудно примириться и с тем, что они не имеют преимуществ по сравнению с другими иностранцами.

НЕСКОЛЬКО ОЧЕВИДНЫХ ИСТИН

Необходимо раз и навсегда понять, что большинство армян диаспоры на родину не вернётся. Не стоит на сей счёт заблуждаться. Это связано и с профессиональной деятельностью, и вообще с трудностями экспатриации. Наивно думать, что люди бросят с трудом полученные рабочие места просто под влиянием душевного порыва. И хотя некоторым из нас этого хочется, принять подобное решение крайне трудно. Ситуация особенно осложняется культурными и языковыми различиями. Армения — даже независимая — есть и будет страной эмиграции. Это, конечно, прискорбно, однако очень трудно сопротивляться соблазнам западного мира. Советской державе, несмотря на крепко закрытые границы, против этого ничего поделать не удалось. Новой армянской республике, несмотря на демократические перемены и свободу передвижения и при всей нашей горячей к ней любви, это тоже не удастся. Эмигранты, чтобы облегчить себе поиски работы, должны будут принять гражданство принявшей их страны. И что же, их нужно отвергнуть и лишить надежды на возвращение лишь потому, что в какой-то момент жизни они по экономическим причинам предпочли экспатриацию? Неужели запрет двойного гражданства убедит их отказаться от риска эмиграции?

Не следует путать право на гражданство и право голоса. Между ними нет автоматической взаимосвязи. Право участвовать в голосовании может быть сформулировано таким образом, что вовсе не будет связано с правом на гражданство. Во многих странах дело обстоит именно так. Возможно, советская правовая

культура мешает пониманию указанного различия. Но пора осознать, что это ложная проблема. Да, молодую республику можно спасти от политически нежелательного нашествия. Но нельзя не учитывать разбросанности армян по миру. Трудно объяснить, почему им отказано в праве на армянскую идентичность, если только за этим не стоит стремление грубо отвергнуть многовековую историческую общность и создать условия для разрыва. А это значило бы заявить диаспоре, которая с большим или меньшим успехом боролась за сохранение национальной идентичности, что она больше не существует. Значит, все годы борьбы были напрасны?

НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ НАДЕЖДУ

Гражданство — один из инструментов, способствующих национальному сплочению. Это одно из необходимых средств создания неразрывных связей. При том, что мы разбросаны по всему миру, нам необходимо их укреплять, а не ослаблять. Неприемлем довод о том, что трудно дать точное определение понятию кровных связей, т.е. установить, кто может считаться армянином, а кто нет.

Предоставление права на гражданство содействовало бы как политическому сплочению, так и консолидации усилий в области экономики. Разумеется, многие не воспользовались бы этим правом, даже если бы оно предоставлялось автоматически. И всё же мы уверены, что в случае укрепления связей диаспора могла бы увеличить экономическую помощь Армении.

Мы ещё надеемся услышать слова о единстве народа. Многие столетия угнетения и эмиграции создали условия для расхождения в понимании того, что значит быть армянином. Конечно, мы вовсе не отрицаем своей интеграции в принявшие нас сообщества и не претендуем на участие в политической жизни исторической родины, но мы хотели бы услышать от свободно избранных представителей Армении, что мы все её сыновья и дочери. Это было бы свидетельством демократии и открытости.

Мишель МАРЯН

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ — ВСЕГО ЛИШЬ ВОПРОС КРОВИ ИЛИ ДОКУМЕНТОВ

В конце 1995 г. Национальное собрание Армении, наконец, приняло закон о гражданстве. Закон — прежде всего текст. Поэтому, прежде чем обсуждать, его полезно процитировать. Главный пункт разногласий — порядок предоставления гражданства армянам диаспоры. Что же говорится об этом в тексте? В параграфе 2 ст. 1 записано, что "армяне по происхождению получают гражданство посредством упрощённой процедуры". А в ст. 13 разъясняются условия "получения гражданства Республики Армения". Здесь, в частности, сказано:

"Срок постоянного проживания, установленный первым параграфом настоящей статьи (3 года), не является обязательным для предоставления гражданства РА в следующих случаях: 1) если не имеющий армянского гражданства индивид состоит в браке с гражданином РА или если это ребёнок, один из родителей которого гражданин РА; 2) если хотя бы один из родителей имел гражданство РА и по достижении 18 лет ходатайствовал о предоставлении ему гражданства по истечении 3 лет; 3) если он армянин по национальности и живёт в РА".

Эта упрощённая процедура не имеет ни коллективного, ни автоматического характера. Она не коллективная в том смысле, что требует личного ходатайства и отличается от "групповых" случаев, предусмотренных ст. 15, где речь идёт о срочной репатриации в ситуации преследования или иной внешней опасности. Она не автоматическая в том смысле, что устанавливает определённые условия: а) постоянное проживание; б) владение армянским языком, необходимое для прочтения присяги Конституции; в) отсутствие угрозы общественной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности сообщества, правам и свободам, достоинству и доброму имени других лиц". Этот список кажется длинным, но то обстоятельство, что мотивы отказа в прошении сформулированы столь ясно, гарантирует демократический характер процедуры обжалования, предусмотренный ст. 30.

Далее, для получения гражданства Республики Армения необходим отказ от гражданства другой страны. Это можно вывести из ст. 1, где говорится о запрете двойного гражданства. Однако такое требование можно считать временным, если сопоставить его с параграфом 2 ст. 2, где говорится, что при заключении международных договоров их установления будут иметь приоритет по отношению к рассматриваемому закону. Следует надеяться, что после заключения мирных договоров произойдут такие изменения, полезные как для армян диаспоры, так и для жителей Армении.

Из текста закона видно, что у армян диаспоры в вопросе прав на гражданство положение промежуточное — по сравнению с правом каждого получить гражданство в соответствии с установленным порядком (где главное требование — проживание в Армении в течение 3 лет) и непосредственным признанием права бывших граждан Советской Армении, не имеющих иного гражданства. Поэтому неверно думать, будто текст закона свидетельствует о забвении диаспоры или приравнивает армян диаспоры к иностранцам вообще; правильнее было бы сказать, что Армения сделала свой выбор и предлагает выбор диаспоре. Исходя именно из этого понимания, которое — как я надеюсь — мне удалось прояснить с помощью текстов, я и вступил в дискуссию с Жераром Гергеряном.

Конструкция армянского закона о гражданстве покоится на двух основаниях: это гражданство бывшей Советской Армении или постоянное проживание. Первое условие указывает на стремление к консолидации на исторической основе, второе — на демократической. В отличие от прибалтийских республик и Грузии, Армения в Новое время никогда (или почти никогда) не была суверенным государством. Первая Республика — важный символ, но её исторический опыт имеет меньшее значение, чем опыт Советской Армении. Поэтому столь большое значение придаётся преемственности с тем, что стало колыбелью эмансипации, — преемственности, так сказать, биологической, но не этнической, так как это право распространяется на жителей Советской Армении, неармян по национальности. А что касается требования проживания, то оно ясно означает: только жертва и риск дают право на участие в политической жизни. Таково неизменное условие демократии. Этим документом Армянская республика го-

ворит, что она прежде всего институциальное выражение 3,5-миллионного общества. Её стремление к преемственности, стабильности и демократии должно найти поддержку у всех армян, чтобы начала сбываться вековая мечта.

Но на самом деле всё происходит наоборот, о чём свидетельствует статья Жерара Гергеряна. Вместо удовлетворённости тем, что Армения укрепляет свои исторические позиции, мы наблюдаем пренебрежение к правам народа и претензии к закону, а значит, и к государству, которое использует его как средство организации национального сообщества. Предлагаемые решения смехотворны, а аргументация непоследовательна. Что означает автоматическое предоставление права на гражданство, которым почти никто бы не воспользовался, и что нам здесь даёт израильский Закон о возвращении? И где это слыхано, чтобы граждане страны не имели права голоса, если гражданство выражает полноту прав гражданина? Или предлагается преобразовать диаспору в Совет по надзору за Арменией, который не доверял бы администрации, избранной простыми избирателями и налогоплательщиками? Оформлять разделение, беспрерывно говоря о сплочении?

Больше невозможно напоминать о цене крови, отвергая тех, кто эту цену платит, оставаясь господином своей судьбы; больше нельзя твердить о долгой истории испытаний, делая вид, будто всё внезапно придёт в порядок в результате волшебного единения.

Когда осуществляется мечта и возрождается Государство, оно вовсе не обязательно принимает искажённые очертания. Оно создаётся из части Армении и её истории, даже если открыто всей армянской истории и всем армянам, желающим в него войти. Это не сверхъестественный Спаситель, искупающий всю историю Армении, и оно не решает для армян диаспоры проблему идентичности. Его возникновение призывает их взглянуть на реальность. Оно не только не порывает с ними, но, напротив, предлагает возможность по-новому осмыслить своё армянство взамен прежней альтернативы: либо ассимиляция, либо возврат в гетто. Реальное возвращение труднее: это работа и помощь, это новое понимание своего армянства. Но в то же время здесь открываются возможности для бездумного осуждения, уклонения от ответ-

ственности, хитросплетений мазохистской риторики. Это вопрос свободного решения, а не крови или документов.

Ваче МУРАДЯН

ГРАЖДАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Следует сразу напомнить, что для тех, кто избежал геноцида или недавно эмигрировал, получение французского или иного гражданства было делом очень нелёгким. Большинство из них тем самым как бы завершили этот этап своей истории. Для других этот вопрос встал в первые же дни независимости Армении, и они серьёзно его обдумывали, пока он не решился окончательно, когда в ноябре 1995 г. парламент одобрил закон, жёстко ограничивший право на гражданство. Такое решение не было неожиданным или произвольным, однако многие армяне предпочли этого не заметить, поспешив заклеймить власти и не придав значения демократически выраженной воле народа.

Всякий армянин, как и его правительство, знает, что первая "роскошь" независимости — свобода самостоятельно решать, что хорошо, а что плохо для страны. После 70 лет чуждого господства жители бывших советских республик рады возможности быть среди "своих". Их объединяет общая национальная память, которая принадлежит только им и вызывает уважение. Попытки части диаспоры бесцеремонно вмешиваться в дела Армении настолько очевидны, что республика не только ей не доверяет, но и сопротивляется, устав от снисходительности и претензий некоторых любителей давать уроки и обещания, которые потом не выполняются. Да, армяне не любят, когда другие вмешиваются в их дела, переходя строго установленную черту. Нужно также помнить, что Армения не только переживает период радикальных правовых реформ, но к тому же ещё находится в состоянии войны. И то и другое — достаточные основания, чтобы осознать: национальность и гражданство связаны здесь теснее, чем где бы то ни было. Это особенно очевидно, когда думаешь о призыве на военную службу и о тех, кто проливает сейчас кровь за родину.

Недостаточно быть увлечённым туристом, добровольным помощником или даже щедрым благотворителем, чтобы претендовать на армянское гражданство, не беря на себя ответственность и обязанности, которые отсюда вытекают. Не следует путать гражданство с орденом или монаршьей милостью.

Конечно, вполне очевидно и весьма печально, что Армения не пытается щадить патриотические чувства диаспоры и интересуется только её деньгами. Однако трудно представить себе иную политику в ситуации, когда страна переживает серьёзную военную угрозу и экономический кризис, подобного которому не переживал современный западный мир. Вот в каких условиях формируется армянское национальное сообщество, а вовсе не за семейным столом.

Вопрос о расширении права на армянское гражданство ещё не закрыт. Нынешнее решение было продиктовано духом момента и желанием не осложнять и без того сложную ситуацию. Конечно, могли быть сделаны шаги, учитывающие моральное право армян диаспоры, и нет сомнений, что это произойдёт. Однако хорошо, что в столь трудное время Армения не поддалась демагогическим призывам и не создала опереточное гражданство.

Жерар ГЕРГЕРЯН

ДИАСПОРА В ПОИСКАХ ПЕРСПЕКТИВ

ПОЛИТИКА НАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

Подобные истины часто трудно осознать, даже когда действительность нас воодушевляет, даже когда мы наблюдаем неизбежный процесс. Провозглашение независимости и создание Республики Армения коренным образом изменили роль диаспоры и её функции. Диаспора, всегда занимавшая чрезвычайно активную позицию в политических дискуссиях, внезапно лишилась прежних стимулов, так что мало-мальски внимательный наблюдатель мог сразу же отметить, что она утратила интерес к армян-

ским делам, а большинство её членов охватило полное безразличие.

Относиться к этому обстоятельству можно по-разному, но отрицать его нельзя. Разумеется, армяне диаспоры продолжают какую-то деятельность, однако в основном она сводится к сбору пожертвований, причём те, кто этим занимаются, жалуются на вялость благотворителей, которые весьма неохотно открывают свои тугие кошельки. Есть и такие, кто смогли приблизиться к нынешним властям и тешат себя иллюзией, будто участвуют в формировании молодой республики, составляя необходимое всякому политическому строю окружение и извлекая из этого личную пользу материального, интеллектуального или психологического характера. Причин тому много, и они непростые. Попытаемся проанализировать некоторые из них.

1. Первая связана с существованием государства вообще. Роль государства состоит главным образом в создании условий, при которых может получить институциональное выражение определённый социальный проект. Государство представляет нацию и устанавливает нормы, а, значит, и соответствующие им санкции, что позволяет осуществиться тому или иному проекту. В сущности, этот социальный проект и составляет содержание политических действий, так как обычно он предлагает общности, к которой обращён, оптимальные условия для её материального и морального благополучия.

Понятно, что в условиях независимости проще реализовать социальный проект, нежели там, где индивиды вынуждены выполнять требования другого государства, стремящегося навязать собственный социальный проект (например, в условиях колониальной империи). Поскольку всякий социальный проект для осуществления своей цели стремится овладеть властью, то совершенно необходимо, чтобы как можно большее число людей добровольно поддерживало главное направление коллективного проекта. Государство, осуществляющее национальный проект при отсутствии такой поддержки, называется тиранией.

Разговор о социальном проекте подразумевает разговор о географическом пространстве, в котором он может осуществиться. Почему? Большинство армян мало знакомы с правом. Это связано с нашим историческим прошлым, которое не позволило нам выработать нормы в институциальных рамках. А первое

условие правовой нормы состоит в том, что она сама устанавливает санкцию во избежание её анархического применения. Таким образом, в силу того, что компетенция данного государства ограничивается его географическими рамками, установленная норма не может применяться за его пределами. Если государство может суверенно регулировать поведение своих подданных, то вне установленных международным сообществом границ такое вмешательство запрещается. Точно так же государство не даёт права иностранцам вмешиваться в свои дела, что совершенно естественно. Поэтому нелепо думать или надеяться, будто какие-то проекты можно внедрить извне. Ещё нелепее сохранять в диаспоре политические партии, главная функция которых — быть идеологами политических проектов, которые никогда не будут реализованы в государстве, для которого они создаются.

Но помимо необходимости ответить на вопрос о том, могут ли наши традиционные партии пригодиться самой диаспоре (а мой ответ отрицательный), надо признать, что многие идеологи более не могут претендовать на участие в политической жизни Армении ввиду отсутствия права голоса. Короче говоря, странно заниматься делами Армении в Венесуэле, отныне этим занимаются другие. В результате вполне понятное разочарование перешло у некоторых в обиду.

2 Вторая причина связана с главной партией диаспоры Дашнакцутюн, которая вольно или невольно стала главным институтом диаспоры, а теперь сознательно или из (быть может, оправданной) мстительности была исключена из нормальной деятельности армянских институтов. Говоря о диаспоре, следует иметь в виду не только Францию, но также и Ближний Восток, Южную и Северную Америку, где присутствие дашнаков значительно. Недооценивать активность этой партии или пренебрегать её идеями было бы политической ошибкой.

Дашнакцутюн, несмотря на лозунг о необходимости возвращения, провозглашаемый с первых дней независимости, из-за собственных ошибок и неверных действий натолкнулась на упорное и неизменное неприятие со стороны нынешнего правительства. Независимо от оценки ситуации невозможно отрицать, что члены этой партии и её сторонники разочарованы и дезориентированы, что проявляется в вялости реакции на регулярные напоминания о нежелательности их присутствия в Армении. Можно

возразить, что это нормальная политическая игра. Верно. Но где же новый проект? К кому теперь могут повернуться члены этой партии? Появились ли у них новые цели, дающие им надежду, или они чувствуют себя ненужными?

ОТКАЗ В ГРАЖДАНСТВЕ

Больше всего нас волнует и непосредственно затрагивает принадлежность к определённому народу. С разной степенью осознанности и эмоциональности наши родители стремились внушить нам это чувство. Сколько тех, кому пытались привить любовь к несуществующей родине? Разве мы никогда не боялись, что будем обречены на вечные муки совести, если предадим своё армянство вследствие отказа от родного языка или в результате "неправильного" брака? Так можно ли вдруг отказаться от подобного воспитания, только потому, что сегодняшний политический режим решил иначе? А те, кто от этого воспитания отказаться захотели, задумались ли о его основаниях?

Конечно, тут сильно затронуты чувства. Если бы эта тема не была столь важной, мы бы не стали обсуждать её с таким жаром. Бестактность, совершённая нынешними властями, лишь усилит это охлаждение, так как запрет двойного гражданства обострит ощущение оторванности. Речь не шла о претензии на опереточное гражданство или о праве крови. Жаль, что мои оппоненты невнимательно прочли статью.

Не желая вступать в беспредметный спор, я хотел бы всё же кое-что пояснить.

Когда в связи с предоставлением гражданства говорят о праве крови, то не имеют в виду кровь как таковую. Печально, что аргументация была низведена на столь низкий уровень. На неюридическом языке право крови — это право, обусловленное родством. Увы, мои оппоненты не потрудились серьёзно проанализировать закон, иначе они заметили бы, что это самое право крови (т.е. родства) признаётся за нашими соотечественниками в Армении. Совершенно непонятно, зачем понадобилось совершать подобный политический шаг и исключать всех армян диаспоры из сферы действия этого закона. Как будто можно пренебречь родственными связями армян диаспоры.

Принадлежать к народу, говорить на его языке, следовать его обычаям — не просто волевое решение, а данность: либо ты армянин, либо нет, и незачем задавать себе столько вопросов. Разумеется, у некоторых людей, стоящих перед проблемой ассимиляции, возникает стремление определить свою идентичность, но, пожалуйста, позвольте тем, кого не волнуют подобные экзистенциальные вопросы, оставаться в мире с самими собой и возражать против допущенной политической бестактности. Есть разница между правами и осуществлением прав, однако эти понятия, видимо, перепутали. Осуществление права (т.е. в данном случае требование предоставить гражданство в соответствии с законом) неразрывно связано с выполнением вытекающих из него обязанностей. Кто же требует предоставления опереточного гражданства? Признание за армянами диаспоры права национальной принадлежности вовсе не означает, что это право обязательно будет осуществляться. Сколько евреев осуществляют право, предусмотренное израильским Законом о возвращении? Однако воспользоваться им — значит принять на себя выполнение соответствующих этому праву обязанностей. Иначе говоря, никакой закон не может вступить в силу, если не сформулирован порядок его применения.

Нетрудно показать, что гражданство равняется праву голоса. Уравнение простое. В голосовании могут участвовать только граждане данного государства, однако при этом должны соблюдаться конкретные условия. Во Франции это право определяется фискальной системой и зависит от места жительства. Вполне можно ввести более строгие правила или просто принять за образец британскую модель.

НЕ СКАЗАНО О ЕДИНСТВЕ НАРОДА

Мы видим, что обсуждение вопроса о гражданстве — по крайней мере серьёзное — вызывает горечь у большинства армян диаспоры. Можно было бы принять новую политическую ситуацию и признать, что государство важнее чувства национальной принадлежности. Подобное признание станет менее очевидным при отсутствии преимуществ для диаспоры. Почему, собственно говоря, мы должны помогать новой республике, если она

сама не хочет признавать за нами особого статуса? Речь идёт не о том, чтобы другие признали твою идентичность, а о том, чтобы тебя приняли и пригласили участвовать в осуществлении общего социального проекта. Мы не всегда получали подобные приглашения. Ведь дело идёт не более и не менее как о политическом акте по отношению к тем, кто знал другой путь и кого полезно включить в процесс созидания рождающегося государства.

Главное сегодня — дать ответ на всё ещё не прояснённый вопрос: действительно ли существует один народ, в силу превратностей истории физически разделённый на две части? Или перед нами другая ситуация, где народ ограничен и — с небольшими уточнениями — определяется границами бывшей Армянской ССР Права армянского народа неотъемлемы! Но почему эти права имеет лишь часть народа?

Этот вопрос требует незамедлительного ответа. Потому что в зависимости от него диаспора почувствует или не почувствует себя участницей коллективной эволюции. Думается, в случае отрицательного ответа горечь и охлаждение будут способствовать ассимиляции. Чтобы повернуть этот процесс вспять, требуется политический акт: заявление о единстве народа. Подобного заявления мы страстно ждём, но пока не слышим.

"Nouvelles d'Arménie", 1996, №№ 9,10

пер. с французского О.Боровой

Светлана ИВАНОВА

КТО ЕВРЕЙ?

Сон приснился мне, вытолкнув в состояние какой-то странной разбуженности, похожей на то, как если бы открылось небо над трамвайными путями или, засунув руку под подушку, я обнаружила там тёплый след неизвестно чьего прикосновения. Будто дали мне путёвку на четыре дня, и я приехала в этот приморский дом отдыха, а там как раз разместилась израильская делегация. И то, ради чего, видимо, и задуман был сон, его центральный пункт — то, что они упорно принимают меня за еврейку! Заговаривают на иврите — я жестами показываю, что не понимаю — спрашивают: "Ты что, разучилась?" — или понимающе кивают, что да, трудно родителям среди русских воспитать дочь в лоне родной культуры. Только не пытайся сделать вид, что ты *гоим*! Среди родственников наверняка кто-нибудь был евреем! И, потому что очень хлопотно и подозрительно доказывать, что ты какой-нибудь национальности или, наоборот, не какой-нибудь национальности, я скромно соглашаюсь, что да, так и было, со стороны матери (а в комнате горит сумеречная лампа, и покачивание волн, такое ровное течение), и я выныриваю в звонок будильника, зашторенный рассвет, где я — Иванова.

На пересказанный сон неожиданно откликнулась моя мама:

— А что же, твоего деда всю жизнь принимали за еврея. И родня у него вся была чёрная, носатая. Наверное, кто-то и был.

Что там искать в сутолоке причерноморских генов, где не удивишься, если, зачерпнув украинца, выловишь грека или турка! Дело не в ложке, которой стараются зачерпнуть кровь, дело — в тени. Что у нас понимается под национальностью? Русский — гуляя с кистенём по ледяным просторам — настроение. А еврей — тень. Тень дворцов и храмов, оазисами колеблющихся в пустыне над страницами Ветхого Завета. Тень Голема над готической Прагой. Чёрная тень на любой цивилизации, отправляющей евреев на костёр, в гетто, в помойную яму с проломленной

головой. Тень избранничества. В чём состоит избранничество, ещё в прошлом веке правильно понимали русские старухи: "Господь посетил", — качали они головами, когда у кого-то сгорел дом или в одночасье скончалась вся родня: объяснение — но и утешение. Кого любит, того наказывает. Персональность наказания не означает ли персональности любви, которая крепка, как смерть? Ровность благополучия не означает ли богозаброшенности? Если не наказывает, значит, не обращает внимания? Не бьёт, так не любит? Кто был выше вознесён, чем Иов на гноище, вопия из прокажённости и смрада своих язв под азартными взглядами Бога и дьявола? Кому много дано, с того много и спросится; на кого сыплются все беды, тому дано большее, чем просто "много". Причастность к священному сопровождала еврейский народ на протяжении всего рассеяния по миру. Кем становился еврей среди грубых арийцев? Еврей-врач — то есть человек, держащий в руках жизнь и смерть. Еврей-каббалист, ведающий тайны, скрытые от мудрости, возводящие в иной градус мудрости. Еврей-банкир, владеющий деньгами — древним сакральным символом. И так везде, и так всегда. Не потому ли их так и унижали — их сакральной одарённости ради и собственного страха для?

И этот путь теней завершился не стиранием с лица земли и воссоединением с Богом путём вселенского катаклизма, а отдохновением во вполне земном оазисе, наречённом землёй обетованной, иначе государством Израиль — в ряду других государств, как евреи от этих пор — народ в ряду других народов. И всё отныне, как у людей. Гимн. Флаг. Достопримечательности. Классика. Бизнес. Туризм. Экология. Сельское хозяйство. Убийство президента. Социальное расслоение. Пенсии. Даже, чёрт возьми, еврейские кварталы. Where are you from? I am from London. Ноль эмоций. Where are you from? I am from Argentina. Ноль эмоций. Where are you from? I am from Tel-Awiw. Ноль эмоций опять-таки, но, может быть, спросить о погоде? Ах, опять арабы в Палестине, ирландцы в Ольстере, талибы в Афганистане...

Что приобретено? Таки многое. Неактуален стал бред Кафки. Не помню, то ли в его письме, то ли в пьесе о нём близкого по духу поляка Тадеуша Ружевича, но, помнится, от первого лица: *я один в комнате. Вдруг слышу какой-то шорох, он доно-*

сится от старого комода. Я не хочу открывать, но надо посмотреть, что там: вдруг крысы? Осторожно выдвигаю ящик комода и вижу, что он полон маленькими — с ладонь — евреями, старозаветными, в талесах, которые копошатся, лезут друг на друга, пытаясь выбраться. Я просыпаюсь от отвращения и страха.

Почему Кафка проснулся от страха? А почему — евреи? Представить на их месте русских, французов, австралийских аборигенов, гномов — сон был бы смешон, возможно, омерзителен, но страшен — вряд ли. Кошмар в нём — предчувствие концлагеря, носимое с собой, как запах, в окружении кошек со злобными когтями самому кажущийся крысиными; как позор собственной уязвимости, когда в любую минуту человек может быть раздет догола, растоптан, расплёван.

Но символично, что образование еврейского государства произошло в XX веке, когда этот кошмар стал всеобщим и распространился на все народы.

Уже не различить, кто менее проклят, кто более священ. Своё гетто ношу с собой. Еврей теперь — мета не крови, а духа. Недаром и Солженицына называли Солженицером, и Синявский запомнился как Абрам Терц. Изгнан — значит, еврей? Рассеян по свету — значит, еврей? Свящён — значит, еврей вдвойне? Право, когда Мандельштам говорит о писателях как о нечистоплотной расе, которую следует изгонять из городов, о чём он говорит — о своём поэтическом даре или о своём еврействе? Что больше? И что заметнее? Всякий Божий дар не есть ли Божье наказание? Многие примеряли и примеряют этот талес. Чуть ли не каждая диаспора претендует на развалины Соломонова храма, поколения эмиграции перечисляются, подобно коленам Израилевым. Не столь нова эта тенденция принятия национальности. Разве не заимствовала своё имя *богема* от французского названия *цыган*? И, возможно, настанет день, когда прилагательное *русский* обретёт существительное... но каким оно будет, ещё не видно. А пока — скитания в пустыне. И молитвы о том, чтобы оказаться достойным Божьего гнева или манны небесной.

Что же делать человеку со своим внезапно снизошедшим еврейством? Перепроверить его истинность с помощью молодцов со свастикой на рукаве? Повесить его в рамочке на стену? Превратить в визу для выезда в землю обетованную? Или пуститься основывать новую землю, где будут рядом пастись многоочитые лев и телец? Или всё-таки поехать в Израиль и там доказывать, что еврей может быть царём, но не президентом?

Я не знаю...

Авраам Дж. ГЕШЕЛЬ

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?

Наша главная забота — человек. Его физическая и психическая реальность неоспорима; смысл его, его духовное содержание остаются вопросом, настоятельно требующим ответа. Нельзя ли предположить, что терзания современного человека — это терзания человека, духовно озадаченного? Образ человека не вмещается в предлагаемые для него рамки; мы недооцениваем природу человека. Даже форма вопроса, обычно задаваемого, определяется нашим взглядом на человека, как на живую тварь. "Что есть человек?" спрашиваем мы, а надо бы спросить иначе: "Кто есть человек?" Как тварь человек объясним, постижим; как личность он исполнен загадок и неожиданностей. Как тварь он конечен, как личность — неисчерпаем... Ответить на вопрос "Кто есть человек?" — значит определить ценность человека, его положение и место в иерархии всего существующего в природе.

Августин считал уверенность души в своём существовании наиболее достоверным опытом. Однако задумаемся: в чём душа уверена? Она уверена, что мыслит, что функционирует. Но вопрос ведь не в том, функционирую ли я, не в том даже, существую ли я, — вопрос в том, кто я такой.

И первый ответ на вопрос "Кто есть человек?" будет тот, что он существо, задающее вопросы о себе самом. Через эти вопросы он приходит к выводу, что он — личность, характер же задаваемых им вопросов раскрывает, в каком он находится положении.

Наш вопрос — это не только "Какова природа человеческой особи?", но и "Каково положение человеческой личности? Что есть человеческого в человеке?" В частности, это вопрос не только о том, что такое человеческая особь, но и о том, что такое — быть человеком.

Стремление к самостоятельности, независимости, способность отделяться, отличаться, отрицать и противостоять — всё это значит быть человеком. Нет человеческого достоинства вне способности занимать особую позицию, оставаться в одино-

честве. Нужно остаться одному, уйти в себя и прислушаться, если хочешь услышать. Одиночество — это выражение необходимого протеста против насильственных вторжений и ложных сигналов тревоги со стороны общества, период излечения и восстановления сил.

И всё же человек никогда не бывает одним. Даже в полном уединении я всё же живу, страдаю и радуюсь вместе со всеми моими современниками. Истинное одиночество заключается не в сбрасывании со счетов остального человечества, но в процеживании человеческих чувств. Истинное одиночество — это поиски истинной связи, подлинной солидарности. Одинокий человек — плод игры воображения. Неведомо для себя — или даже ведомо — он вовлечён в содружество людей, он — часть всего человечества.

Человек происходит из человечества, он с ним связан, он им направляется в человеческое содружество. Для человека *быть* значит *быть с другими*. Его существование — это сосуществование. Он никогда не сможет наполнить, не сможет осмыслить своего существования, если не свяжет его с другими людьми.

Правда, для того чтобы постигнуть смысл человеческого начала, мы анализируем человеческую личность, а не человеческий род, но всякий анализ, не учитывающий социальную среду, взаимосвязанность людей и их влияние друг на друга, будет лишь скольжением по поверхности.

Сплочённость людей не продукт человеческого начала, того, что значит "быть человеком". Напротив, человеческое начало — продукт человеческой сплочённости. Ведь даже самый личный вопрос — вопрос о смысле бытия — становится совершенно бессмысленным, если он ставится ради личного спасения. В этом вопросе кроется сострадание к другим, прозреваемое надеждой или интуицией содержание, общее для всех людей.

Даже эгоцентризм, самолюбование, самовозвеличивание, типичные для людей, содержат в себе прямое признание существования других людей и их человеческого достоинства. Раз человек стремится возвыситься в глазах других людей — значит, он их ценит, считается с их мнением о себе. Все достижения рождаются из убеждения, что благо для меня окажется благом и для других.

"Быть" — глагол непереходный; быть человеком, повторяю я, значит больше, чем просто быть. Человек размышляет над собой, над своим бытием, и в размышлениях ему открывается, что для того, чтобы быть, нужно непрерывно принимать в себя всё чужое, ибо одного бытия человеку недостаточно.

СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Человек по природе своей эгоцентричен, и целесообразность поступков, то есть выгодность их, склонен считать критерием добра и зла. Не следует, однако, принимать эту склонность за аксиому и утверждать, что человек так же не способен перешагнуть за рамки эгоизма, как не способен мыслить внепространственными и вневременными категориями, что человек не способен выходить за свои пределы, приобщаться к трансцендентному. Ставить знак равенства между существованием и целесообразностью — одна из опаснейших ошибок человеческого мышления.

Полагаться во всём на якобы саморегулирующую силу классовых и национальных интересов — этот идол современности — значит принимать желаемое за действительно существующее. Кто знает, кто может знать, в чём заключаются истинные интересы класса или нации? Разве столкновение интересов, приводящее к войне и взаимному уничтожению, не свидетельствует о ненадёжности принципа целесообразности, о невозможности на него полагаться?

Время и истина опровергают общезначимость этого принципа. Время, как мы увидим, это аспект человеческого существования, не поддающийся власти человека, истина же обладает верховной властью, не имеет ни соперников, ни подражателей и не знает поражений. Человек не может сфабриковать её, он может лишь ей подчиниться. Предшествуя человеку, истина является предвоплощением трансцендентного.

Возводя целесообразность в абсолют, человек легко попадает в порочный круг. Там, где целесообразность становится верховным началом, существование заходит в тупик. Подлинное существование включает в себя восторг, ощущение священного и признание наличия обязанностей.

Существование, не выходящее в трансцендентное, — это жизнь, в которой вещи превращаются в идолов, а идолы — в чудовищ.

Отрицание трансцендентного противоречит основной теории человеческого бытия. Оно рождается либо флегматичным самодовольством, либо пустым чванством, то есть скорее настроением, сознанием целостности и таинственности бытия.

Отрицание трансцендентного, претендующее вместе с тем на раскрытие истинной сущности бытия, заключает в себе внутреннее противоречие, ибо истина бытия не содержится ни внутри бытия, ни в рамках нашего представления о нём: эта истина выходит за пределы нашего бытия.

Чтобы быть человеком, необходимо научиться культивировать в себе чувство нецелесообразного, раскрывать ошибочность целесообразности как абсолюта. Глас Бога может казаться еле внятным нашей совести. И однако в истории человечества скрыто божественное лукавство, доказывающее, видимо, что абсолютная целесообразность кончается катастрофой.

Счастье не равнозначно самодовольству, благодушию, высокомерию. Самодовольство порождает пустоту и отчаяние. Самодовольство — опиум глупцов.

Самоудовлетворённость — миф, унизительный для благородного ума. Всё, что есть творческого в человеке, вырастает из семени бесконечной неудовлетворённости. Новые открытия происходят тогда, когда исчезает чувство удовлетворения, когда всё виденное, сказанное и сделанное начинает казаться недостаточным или ложным.

Наша цель — поддерживать и разжигать неудовлетворённость человека его стремлениями и достижениями, поддерживать и разжигать желания, не знающие удовлетворения. Истинная удовлетворённость человека проистекает от общения с тем, что превосходит человека.

Получается какой-то парадокс. Неудовлетворённость есть чувство беспокойства, которое мы должны стараться преодолеть. И однако искоренение недовольства привело бы к превращению человека в машину. Представим себе государство, в котором все цели будут достигнуты: болезни побеждены, бедность уничтожена, долголетие обеспечено, на Марсе и на других

планетах основаны города, Луна сделана частью нашей империи. Достигнем ли мы тогда блаженства?

ТРУДНОСТЬ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Быть человеком — это значит находиться в исключительно трудном положении. Быть человеком — это значит представлять собой не комок вещества, но человеческое начало, голос вопиющего в пустыне. Внутренний слух у человека развит слабо, но глаза у него острые и жадные. Силы, которыми он овладевает, превышают его собственные и ошеломляют его. Он способен к экстравагантности, пышности, самодовольству. Он обладает взрывчатой силой. Человеческое бытие безгранично, но нести в себе человеческое начало — значит уважать границы. Человек, можно сказать, существует между двумя полюсами: человеческим бытием и человеческим началом.

Человеческое начало есть наложение человеческого бытия на человеческую природу. Оно требует способности противостоять искушениям, не падать духом при неудачах, не добиваться немедленного удовлетворения. От него легко отказаться и заменить признанием: я нечеловек, и всё человеческое мне чуждо.

Внутри нас существует сильнейшая потребность противиться голосу совести, который призывает нас жить согласно с её требованиями. Чувство обязанности и долга сперва притупляется, а затем и вовсе отметается нашей гордостью, любовью к собственности и стремлением к власти. Все человеческие и национальные взаимоотношения приобретают лишь одну форму: одни командуют, другие подчиняются командам.

Человек может быть косным, грубым, жестоким, может замкнуться в самом себе, отказаться видеть, слышать, воспринимать. Даже образ Бога может быть превращён в сатанинский образ. Но, несмотря на внутреннюю борьбу между стремлением к человеческому и тягой к животному, вряд ли можно говорить о возможности выбора между этими двумя началами. Человечество бесповоротно перешагнуло грань, отделяющую его от мира животных. Человек, превратившийся в зверя, становится проти-

воположностью человеку. Человеческому противостоит не животное начало, а демоническое.

Акт творения не уничтожил абсурдного и небытия. Тьму можно встретить на каждом шагу, и пропасть абсурдного всегда рядом с нами. Перед нами всегда открывается несколько путей, и мы вынуждены свободно (против своей воли свободно) и отважно делать выбор, часто не зная, почему и как. Наши ошибки ярко горят на пройденном пути, правда же скрыта от нас под землёй...

Человек неразрывно связан одновременно с органической природой и с бесконечным излиянием Божественного Духа. Ничтожное меньшинство в сфере бытия, он находится где-то между Богом и зверьми. Будучи не в состоянии жить в одиночестве, он вынужден поддерживать общение либо с первым началом, либо со вторым.

Бог благословил Адама и зверей, но человеку было поручено владеть землёй и владычествовать над зверьми. Человек всегда стоит перед выбором, кого ему слушать: Бога или змия. Всегда легче завидовать зверю и поклоняться и повиноваться тотему, чем внимать голосу Бога.

Наша жизнь колеблется между животным и божественным началом, между тем, что больше, и тем, что меньше, чем человеческое: под нами мимолётность, тщетность, а над нами — распахнутая дверь к Божественному Казначею, перед которым мы кладём серебряную монету благочестия и духовности, бессмертные останки нашей смертной жизни. Мы всегда — меж жерновами смерти, но вместе с тем мы — современники Бога.

Человек "немного умалён перед ангелами" и немного возвышен пред зверьми. Подобно маятнику, он раскачивается взад и вперёд под действием тяготения и движущей силы — тяготения себялюбия и движущей силы божественного начала, силы видения, явленного Богом во тьме плоти и крови. Если мы пренебрежём своими обязанностями, вытекающими из этого видения, мы никогда не поймём, в чём заключается смысл нашего существования. Но только взор бдительный и не ослепляемый поверхностным блеском прозрит видение Бога во тьме души, поражённой ужасом человеческой глупости, лживости и злобы.

Человек владеет огромной силой, и это делает его потенциально самым зловредным из живых существ. Он часто питает страсть к злым деяниям, которую может сдержать лишь

страх Божий, часто испытывает приступы зависти, которые может усмирить лишь тяга к святости.

Если человек не больше, чем человек, то он меньше, чем человек. Человек — лишь краткая переходная стадия между животным и духовным началами. Он находится в колеблющемся состоянии, то взлетая ввысь, то опускаясь. Освобождённый человек ещё не появился.

Человек есть нечто большее, чем ему кажется. Пусть разум его ограничен и воля может направляться ко злу, тем не менее он связан с Богом узами, которые он не может расторгнуть, и связь эта есть смысл его жизни. Он — узел, в котором земное переплетено с небесным.

пер. с английского

Сошествіе Ноя съ Арарата

Айвазовскій

О РЕНАРЪ МОСКВА

Сошествіе Ноя съ Арарата — ориг. рис. И. К. Айвазовскаго.

Дмитрий ЩЕДРОВИЦКИЙ

ЗАПОВЕДИ СЫНОВ НОЕВЫХ

Памяти Гранта Аванесовича Степаняна

Что почувствовал Ной, когда, открыв после Потопа "кровлю ковчега", взглянул с вершины Арарата на землю? Книга Бытия, верная своей лаконичности, умалчивает об эмоциях спасшегося праведника, повествуя лишь о том, что он увидел вокруг: " ...И посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли" (Быт. 8,13). Зато шумеро-аккадская "Поэма о Гильгамеше" содержит хотя и краткое, но навсегда запоминающееся описание внутренней драмы пережившего Потоп Утнапишти (это имя означает по-аккадски "*нашедший дыхание*", "*продливший жизнь*" и близко по значению др. - евр. "Ноах" — "*успокоенный*"):

Успокоилось море, утих ураган — потоп прекратился.
Я открыл отдушину — свет упал на лицо мне,
Я взглянул на море — тишь настала,
И всё человечество стало глиной!
Плоской, как крыша, сделалась равнина.
Я пал на колени, сел и плачу,
По лицу моему побежали слёзы.

(Перевод И.Дьяконова.)

И действительно: мог ли великий праведник не скорбеть о погибших — пусть и крайне грешных — собратьях по человечеству?.. Теперь на его плечи легла ответственность за то, чтобы в будущем его потомки не опустились до того скотского образа жизни (согласно библейскому метафорическому выражению — "от человеков до скотов и гадов". — Быт. 6,7), итог которого один: всеобщая гибель... Ведь о допотопных сынах Адамовых сказано однозначно: "Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время" (Быт. 6,5). Вслушаемся в эти слова: "все мысли" и "во всякое время" — одно зло! Ни проблеска, ни искорки добра, сочувствия, понимания; не говоря уже о взаимной помощи! Как же

избежать повторения этой дикой озлобленности — войны каждого против всех? Как оградить детей своих от физических катастроф, с неизбежностью следующих за катастрофами духовными?! И вот отец нового человечества просит указаний у самого Создателя, вознося Ему во всесожжение чистых животных и птиц как символ непорочности своих мыслей и чувств: "И обонял Господь приятное благоухание..." (Быт. 8,21). Чистота намерений Ноя приятна Творцу. И в ответ Он заключил с Ноем и его сыновьями, а в их лице — со всеми послепотопными расами, народами, племенами, семьями, а значит, и с каждым из нас лично, — Вечный Завет: "Завет вечный между Богом и между всякою душою живою..." (Быт. 9,16).

Древнееврейское выражение "бэрит олам" — "*завет вечный*" — свидетельствует о неотменимости, постоянной актуальности, непреходящем характере этого Завета во всех поколениях потомков Ноя. Основы этого Завета никогда не были отменены. Синайский Завет Бога с народом Израиля, Новый Завет Иисуса Христа, Коран Мухаммада — каждое из этих религиозных Откровений не только не отменяет Завета с сынами Ноя, но и не претендует на такую отмену.

Как известно, предания о Всемирном потопе сохранились у большинства народов и племён Земли. В этих преданиях содержится и память об особых законах -"заповедях", вручённых людям свыше после катастрофы. Например, древнейшие индийские законы, как считается, составлены спасшимся от Потопа Ману (это имя, возможно, восходит к др.-евр. "Маноах" — "*покой*", что идентично имени "Ноах").

Что же первоначально представляли собой эти Заповеди? И как они связаны с Заветом? "Бэрит" — "*завет*", "*союз*" — как между людьми, так и между Богом и человеком — основывается на обоюдных обязательствах. В Вечном Завете обещания Творца сводятся к основополагающей гарантии продолжения жизни на Земле благодаря постоянству космических, климатических, биологических, а, следовательно, и хозяйственно-земледельческих ритмов: "Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся" (Быт. 8,22). Для этого даётся обетование: "Не будет уже потопа на опустошение земли" (Быт. 9,11), т.е. Всемирного потопа (что, конечно, не исключает наводнений и других стихийных бедствий).

Со стороны же потомков Ноя требуется постоянное выполнение семи фундаментальных обязательств, известных как **"Семь Заповедей сынов Ноевых"**. Они изложены в 9-й главе Книги Бытия и не идентичны Десяти Заповедям Синайского Завета (Исход, гл. 20), хотя во многом совпадают с ними по смыслу. Священное число "семь" подчёркивает единство этих "условий Завета", гармонию между ними.

Первая Заповедь обязывает почитать Единого Бога — Создателя людей и Спасителя их от Потопа. Бог — Источник всякого благословения: "И благословил Бог Ноя и сынов его..." (Быт. 9,1).

Вторая Заповедь запрещает идолопоклонство, признание и почитание ложных богов: "Ибо человек создан по образу Божию" (Быт. 9,6). Унизительно для потомка Ноя, хранящего в себе образ Божий (т.е. духовные качества и атрибуты, в полноте свойственные только Всевышнему, но отчасти дарованные и человеку: разум, память, свободу воли, творческие потенции, дар предвидения, бескорыстную любовь и т.п.) , повергаться перед идолом или поклоняться низшим духам! Об этом грозно и торжественно напоминал впоследствии пророк Исайя: "И наполнилась земля его идолами; они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж; и Ты не простишь их" (Ис. 2,8-9).

Третья Заповедь запрещает убийство человека: "Взыщу... душу человека от руки человека, от руки брата его" (Быт. 9,5). В момент дарования Заповеди было очевидно, что каждый человек — брат другому: спасшиеся после Потопа составляли одну семью! В наше время кровное родство людей разных рас и наций, казалось бы, не так очевидно, но Заповедь постоянно напоминает, что каждый обязан видеть в другом именно брата. Осознание этого факта позволяет поставить знак равенства между убийством любого человека и братоубийством.

Четвёртая Заповедь запрещает воровство и прочие формы присвоения чужого имущества: "В ваши руки отданы они..." — с такими словами обращается Всевышний к потомкам Ноя, указывая на животных (Быт. 9,2). Поскольку же скот был в древнейшие времена главным имуществом людей, выражение "в

ваши руки" предполагает распределение имущества между конкретными лицами и закрепление за ними права собственности.

Пятая Заповедь запрещает прелюбодеяние, т.е. близость с чужой женой: "Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней" (Быт. 9,7). Поскольку же законное размножение рода человеческого осуществляется в рамках семьи (чему свидетельством служит само спасение всего семейства праведника от Потопа), данная Заповедь повелевает хранить супружескую верность, дабы дети наследовали по праву своим родителям: именно вы плодитесь и размножайтесь, точно зная, что дети принадлежат вам.

Шестая Заповедь запрещает жестокость по отношению к животным (жестокость, проявляемая к человеку, запрещается Третьей Заповедью, потому что может привести к убийству): "Только плоти с душою её, с кровью её, не ешьте" (Быт. 9,4) — здесь и запрет поедать животное, в котором ещё сохраняется "душа", т.е. жизнь, и запрет употреблять в пищу кровь, и запрет мучить живое существо.

Седьмая Заповедь предписывает создать во всех поселениях суды для надзора за соблюдением Заповедей и для наказания преступников: "Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека..." (Быт.9,6). Согласно этой заповеди, убийцу следует покарать смертью. А это влечёт за собой создание целой системы судопроизводства: ведь надо выяснить, кто именно пролил кровь (провести следствие); доказать это и произнести приговор (провести судебное разбирательство); наконец, исполнить приговор. Седьмая Заповедь имеет целью поставить предел распространению зла: именно безнаказанность довела допотопное человечество до окончательной гибели. Поскольку же и после Потопа человеческая природа не претерпела коренного изменения ("помышление сердца человеческого — зло от юности его" — Быт. 8,21), она нуждается в постоянном обуздании и руководстве свыше. Но тот факт, что новое человечество происходит от правоверного Ноя, служит своего рода "генетической гарантией" постоянного сохранения хотя бы "минимально необходимого" для выживания людского рода количества праведников...

Что же представляют собой эти Семь Заповедей? Категорические предписания, ограниченные буквальным своим смыслом? Или же некие парадигмы нравственного бытия? Вторая точка зрения подтверждается уже самим расположением Заповедей в библейском контексте: они не изложены последовательно-догматически, а вплетены в структуру беседы Бога с Ноем. Они взаимно сцеплены, составляя как бы "живое пространство" этического бытия человечества. Именно их соблюдение и предоставляет всем нам простор для жизни духовно осмысленной и физически безопасной. И, конечно же, их смысл намного шире и глубже чисто буквального толкования. Так, Третья Заповедь, несомненно, запрещает не только прямое убийство, но и опосредованное — безразличием, словом, разочарованием... Заповеди приложимы к любым экзистенциальным ситуациям. Они конденсируют в себе самую суть гуманных законов и обычаев любого социума. Ведь их Автор — одновременно и Автор вселенной, и Автор каждой личной судьбы...

Кратко сформулированные в Книге Бытия, Заповеди сынов Ноевых более подробно излагаются в Талмуде (запись которого относится к первым векам н.э., но тексты которого фиксируют древнейшую устную традицию) и в Мидрашах — аллегорических толкованиях Торы. Эти Заповеди хорошо знакомы и новозаветному преданию: именно их в первую очередь предписывает Иерусалимский собор Апостолов тем язычникам, которые обращаются в новую веру: "Написать им, чтобы они воздерживались от осквернённого идолами, от блуда, удавленины и крови и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе: ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу" (Деян. 15, 20-21). Сравнение этих предписаний с Заповедями сынов Ноевых показывает, что постановления Апостолов содержат краткое резюме последних. Упоминание же в приведённом тексте о Законе Моисея, читаемом в синагогах, свидетельствует о доступности изучения Торы для каждого: как для желающего исполнять только Заповеди сынов Ноя, так и для принявшего решение целиком перейти в иудаизм (в данном случае — в иудео-христианство, являвшееся в то время разновидностью — "сектой" иудаизма). В ранней Церкви это происходило часто: например, Павел обрезал своего ученика Тимофея, который с того момента стал обязан

исполнять не только Семь Заповедей сынов Ноя, но и все 613 предписаний ("*мицвот*") Торы. Согласно же традиционному взгляду Иудаизма, любой человек, не принадлежащий по рождению к евреям, но исполняющий Семь Заповедей сынов Ноя, является одним из "праведников народов мира" и имеет удел в Вечной Жизни: в раю для таких праведников приготовлен "от сотворения мира" особый чертог. Этот человек именуется "*гер-тошав*" — "прозелит-поселенец", в отличие от "*гер-цедек*" — "прозелита праведности", целиком принявшего иудаизм и обязанного исполнять все 613 "мицвот", предписанных израильтянам, как "народу священников" (Исход 19, 3-6). Также и Коран, содержащий немало преданий о Ное (араб. *Нух*), предписывает мусульманам исполнение тех же Заповедей сынов Ноя, только сформулированных более развёрнуто... Таким образом, именно следование этим Заповедям объединяет последователей всех трёх монотеистических мировых религий — Иудаизма, Христианства и Ислама во всех ответвлениях и может в будущем объединить человечество в поклонении Единому Богу. Часть этих Заповедей соблюдается и приверженцами других вероисповеданий (Буддизма, Индуизма и т.д., а также и большинства сохранившихся племенных политеистических религий). Эти Заповеди не только не "устарели" в течение тысячелетий, но, напротив, необходимость их исполнения всё более осознаётся мыслителями разных направлений, по мере нравственного "восхождения-падения" человечества. Во многих современных странах развивается движение "Сынов Ноевых", основанное на исполнении Семи Заповедей каждым человеком, независимо от его происхождения, религии, социального и т.п. положения. В это движение включаются и "внеконфессиальные" верующие, и здравомыслящие гуманисты самых разных убеждений.

В противоположность всем теориям "заката человечества", — социально-экономическим, политическим, научно-фантастическим и религиозным "апокалипсисам", — пророки Танаха (Ветхого Завета) утверждают, что человечество, в конце концов, вступит в эпоху жизни подлинной, духовно осмысленной: наступит Мессианский Век. "И будет в последние дни... пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдём на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям... И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои

на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать" (Ис. 2, 2-4). Это пророчество Исайи — хрестоматийно. Но многим покажется неожиданным вполне резонный вопрос: а по какому же "закону" будет Создатель судить народы, и в чём станет Он обличать племена? Ведь если нет закона, не может быть и осуждения за его нарушение?! Ясный ответ на этот вопрос содержится в условиях Завета Бога с сынами Ноя — в том числе и со всеми нами, ныне живущими: народы будут судимы в соответствии с этим Заветом и обличаемы за нарушение Семи Заповедей, дарованных потомству Ноя, ради его духовного и физического процветания, на вечные времена!..

Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ

БЫЛ ЧЕЛОВЕК...

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.

КНИГА ИОВА, I

Сколько книг начинались этими словами, сказанными однажды. Отчего так? В чём тайна этой речи, простой, как крик прощания, весь смысл которой в самом главном: *жил человек на земле и сохранилось имя его.* Так вот что остаётся от человека, от дел его?! Иов, Иов! — восклицаем мы тайно, я такой же, и со мною так будет. Где эта страна Уц, я никогда о ней не слышал. Была целая страна Уц, но о ней никто не знает, кроме того, кто последним знал и написал эти строки. Целая страна исчезла и с нею ушёл человек по имени Иов, но куда делись другие люди, такие же, как он, они-то совсем забыты, от них даже имён не осталось...

Мы дочитаем до конца Книгу Иова, узна́ем и другие имена, но утешение будет невелико: и они были правы и не правы, но правые и неправые, праведные и грешные, они все стали прахом, пылью веков.

В чём суть еврейской этики? Да почти вся она в этом: *был человек.* Но приходим мы однажды или многократно? Мы уходим навсегда или чтобы вернуться? И если нет, то в чём смысл того, что мы здесь?

Примеры — соль повествования. И примеры из нашей жизни порой не менее значительны, чем свидетельства древних времён.

Я расскажу о моём отце, совсем коротко, как это подобает, если хочешь быть по́нятым и не привлекать слишком много внимания к себе. Но почему об отце, разве нет других людей? И это уже вопрос этики! Ибо, читая, вы подумаете: как он будет пи-

сать о своём отце, так мы будем судить о нём, но сумеет ли он написать о своём отце так, чтобы мы верно судили о них обоих?

Тогда я напомню вам притчу Франца Кафки "Перед законом", где сказано о таком человеке, как я или вы.

Его глаза всё тускнели и тускнели, и он не знал, мир ли потемнел вокруг него или собственные глаза обманывают его.

И мы этого не знаем. Это притча о человеке, который хочет войти в ту дверь, за которой Закон, высший Судия, тот, перед кем предстанут прямодушные, у которых нет ничего, кроме чистой души.

— Что ты хочешь узнать?— спросили его.

— Каждый стремится достигнуть закона, — отвечал человек, — как же случилось, что все эти годы ни один человек, кроме меня, не пытался пройти к нему?

Стражник понял, что человек близок к своей кончине. И сказал ему прямо в ухо:

— Не кто-нибудь, а именно ты должен был добиться разрешения войти в эту дверь, так как эта дверь изобретена только для тебя...

Двери, изобретённые для нас, в каждом веке свои, и притчи нового времени мало напоминают сказания древности, но они возвращают нас к главным вопросам.

Что значит жить по закону, если человек изначально наделён свободой воли? Если бы всемирный пантеистический закон ВСЁ ЕСТЬ БОГ И ВО ВСЁМ БОГ воздействовал автоматически на всех людей, а, значит, и на евреев, не было бы греха, невинных жертв Холокоста, не было бы проклятых вопросов, на которые не отвечает ни логика, ни разум. Проникнуть в тайны высшего мышления не дано тем, кто сотворён этим мышлением и бредёт то из света во тьму, то из тьмы к свету.

...ТОГДА РАСКРОЕТСЯ МИР СОКРОВЕННОГО И ЗАСИЯЕТ И ЗАСВЕТИТ ВЕЛИКИМ И СИЛЬНЫМ РАСКРЫТИЕМ ДЛЯ ВСЕХ, НАДЕЮЩИХСЯ НА НЕГО В ЭТОМ МИРЕ И ТЕСНЯЩИХСЯ В ТЕНИ ЕГО — ТЕНИ МУДРОСТИ, А ОНА — КАТЕГОРИЯ ТЕНИ, А НЕ ВИДИМОГО СВЕТА И БЛАГА, И РАЗУМЕЮЩИМ ДОВОЛЬНО СКАЗАННОГО ("ТАНИЯ").

Категория тени... Материализм, отнявший гибкость у нашего мозга, ставит неодолимую преграду нашему пониманию высших истин, лежащих на грани слов и даже вне слов и представлений, а где-то в свечении догадок и предположений, о которых не пристало говорить мудрецам и пророкам, и этот запрет оберегал высшие смыслы этики, пределы дозволенного в мыслях и поступках.

Сколько слов я наговорил, прежде чем рассказать об отце! А всё потому, что не знаю, хорошо ли это — говорить о своём отце? Не поймут ли это, как хвастовство, восславление своего рода, а, значит, самого себя? И всё-таки я скажу. И начну теми давними, окаменевшими от времени словами.

Жил человек... Жил человек в чужой стране, и звали его Арон. У него были братья, но я не знаю их имён. Отца его звали Янкель, и были они родом из Серета, местечка в Румынии, это я знаю. Работал Арон вместе с братьями, имел с ними общее дело и как старший брат отдавал им по справедливости бо́льшую долю. Доля эта бывала так велика, что моя мать Ида говорила ему:

— Что ты так много отдаёшь своим братьям, а себе ничего не оставляешь? Ты целую неделю колесишь по сёлам, скупаешь невыделанные шкуры, выделываешь их в каракуль, который играет на солнце и в который наряжаются красавицы, а у твоей жены нет такой шубы — ты всё отдаёшь братьям!

— Они мои братья, а я их старший брат. Как же я могу отдавать им малую долю?

— Тогда я прокляну твоих братьев!

— Нет, нет, это я во всём виноват и пусть случится со мной то, что должно случиться с ними!

И случалось, говоря так, мой отец бил себя жестоко по лицу, говоря: "Вот тебе, Арон, за всё, в чём ты виноват!"

Я говорю о еврейской этике, о тех нормах жизни, которые помню с детства. *"Пусть со мной случится то, что должно случиться со всеми!"* Это был закон жизни евреев города Черновцы, в котором была большая община, наверное, одна из самых больших и самых прекрасных еврейских общин в Европе.

Запомним это правило: *"Пусть со мною случится..."* А я продолжу рассказ об отце, и всё сказанное мною — правда, как и то, что он умер в лютую стужу 1943 года в селе Шерстобитово, Пудинского района, Томской области, что могилу ему копал пра-

вославный человек по имени Партала на высоком берегу реки Чузик, а мы, сыновья Арона, Гаврилку и Меерку, несколько дней лежали рядом с отцом, умершим, *когеном*, лежали без страха, а потом, когда отца укрыли мёрзлыми комьями земли, а рядом горел костёр, возле которого грелся Партала, который тоже вскоре умер от голода, уже весной берег размыло... Вы не забыли: *Жил человек, и звали его Арон.*

...Когда за ним пришли, чтобы сослать его в Сибирь — это было 13 июня 1941 года – отца не было дома, он прятался, думая, что большевики арестуют его, владельца пошивочной мастерской, но оказалось, что ночью взяли его семью, жену и детей. И он прибежал, в чём был, на вокзал, обнял нас и сказал, как говорил когда-то: *"Я с вами, мои ягнята!"* У нас было мало вещей, а путь предстоял далёкий. И вдруг прибегает мальчик, который часто дразнил нас и бил, как толстячков из богатой семьи, и приносит роскошную английскую шубу, которая согревала нас долгие годы в Сибири. Откуда шуба?..

Жил человек... Всё у него было. Не было шубы. И он купил её, из отличного сукна, на огненном лисьем меху. Но она оказалась тяжела для его плеч. И тогда человек решил: подарю её сторожу, пусть человеку будет тепло и польза от моей покупки. И отнёс её сторожу. Тот принял дар. Потом об этом забыли. Пока не нагрянула в дом богатого беда — пришли филистимляне, отняли всё, изгнали его из дома туда, где снега глубоки, а лёд не успевал растаять даже за лето.

Опечалился богатый. Но услышал о его беде тот, кому он когда-то отдал шубу, нашёл сорванца, самого непутёвого из всех, и сказал: "Вот шуба, беги изо всех сил и передай её человеку, которого ты знаешь". И увидел человек, которому было худо, как бежит к нему вестник с дарами. И воскликнул человек: БАРУХ ГАШЕМ! БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ!

Теперь и вы знаете, что именно так всё и было в городе Черновцы с семьёй Арона Шахера, с его женой и детьми, со сторожем, которому он подарил шубу, и с мальчиком, который её принёс. Сказать по правде, меня в этой истории поразила способность человека к большим переменам в самом себе, мой детский ум был потрясён, что шубу принёс наш враг. Значит (это я сегодня думаю), есть заложенное в человеке и есть обстоятель-

ства, которые приводят в движение то, что спрятано глубоко и вдруг обнаруживает себя с небывалой силой.

Но разве это случайность? Правилом еврейской жизни в Черновцах было делать добро повседневно и неприметно. Давать было принято тайно, через кого-то, без огласки, чтобы нечаянно не обидеть того, кому делают добро. Или прийти вечером, когда никто не видит, и оставить в многодетной семье корзину с субботними калачами, яблоками, конфетами, фаршированной рыбой или курицей, бутылочкой кошерного вина. Оставить неприметно, пожелать доброй субботы и тотчас уйти. Так поступала и моя мать и те, кого мы знали. Никто не думал, что доброе к нам возвращается, просто знали, что надо спешить делать добро. ЙДН БНЕЙ РАХМУНЫС! ЕВРЕИ — ДЕТИ СОСТРАДАНИЯ! Эти слова часто повторял мой отец.

...А В СЕРДЦЕ МНОГО КАТЕГОРИЙ И СТУПЕНЕЙ, И ВСЕ ОНИ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК, ЗАВИСЯТ ОТ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ("ТАНИЯ").

Евреи и в рассеянии веками жили по законам Торы, в меру нравственного совершенства стремясь к тому, о чём Ф.Кафка так осторожно намекал: *Закон должен быть доступен для каждого человека и в любое время.*

Еврейское миросозерцание, идущее от заповедей Торы, вносит в этику новый элемент: оно приближает человека к Б-гу и вносит нравственный смысл в человеческое бытие. Любовь к Всевышнему должна быть бескорыстна! Любовь к Творцу во имя самой любви, во имя того, чтобы прямодушно предстать перед Ним, когда Он выйдет из утаения и сокрытия и откроет лик Свой. Любовь и молитва единственно во имя этого есть требование одного из самых древних и совершенных этнических воззрений мира, столь непротиворечивого, столь находящегося в сфере императива нравственности, что всякая мысль о наличии у народа книги какой-то зловещей тайны распадается в прах.

Не все знают, что манну небесную нельзя было запасать впрок, а только на один день, кроме Субботы. Кто запасал манну на несколько дней, обнаруживал, что у него её столько же, сколько у того, кто запасся на один день! Это одна из самых потрясающих страниц Торы, зовущая к умеренности и бескорыстию.

Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота?

Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты — надежда моя?

Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?

Так спрашивал безутешный Иов. И все его вопросы лежат в сфере народной этики. Они удивительно просты и доступны для исполнения. Есть 613 заповедей Торы: 365 запретов и 248 предписаний. Но еврейские мудрецы и пророки говорили, что выполнение одной заповеди — ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ — равна всем остальным, вместе взятым.

Как стать нравственным евреем? Делайте добро, евреи. Не творите благое на деньги, нажитые нечестным путём. Не приносите в жертву то, что непригодно вам самим. Помните утренние благословения:

НАДЕЛИВШИЙ СЕРДЦЕ МОЁ СПОСОБНОСТЬЮ ОТЛИЧАТЬ ДЕНЬ ОТ НОЧИ!

ДАРУЮЩИЙ ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ!

ОСВОБОЖДАЮЩИЙ УЗНИКОВ ОТ ОКОВ!

ВОЗВРАЩАЮЩИЙ СИЛЫ УСТАЛОМУ!

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШАГИ ЧЕЛОВЕКА!

Ясный день за окном. И после холодных дождей играют облака. Солнце то прячется, то выглядывает на нас милостиво, как в старые добрые времена, когда земля родила, а дождь лил, если мы об этом просили: *силы небесные...* Я смотрю на мир и думаю, как человек из притчи Кафки: *то ли мир потемнел вокруг, то ли собственные глаза обманывают меня?* Но ведь были же когда-то и Кафка, и мой отец Арон, и Иов... Были, как мы с вами. И когда-то будем ещё, а?

Земля, 1994

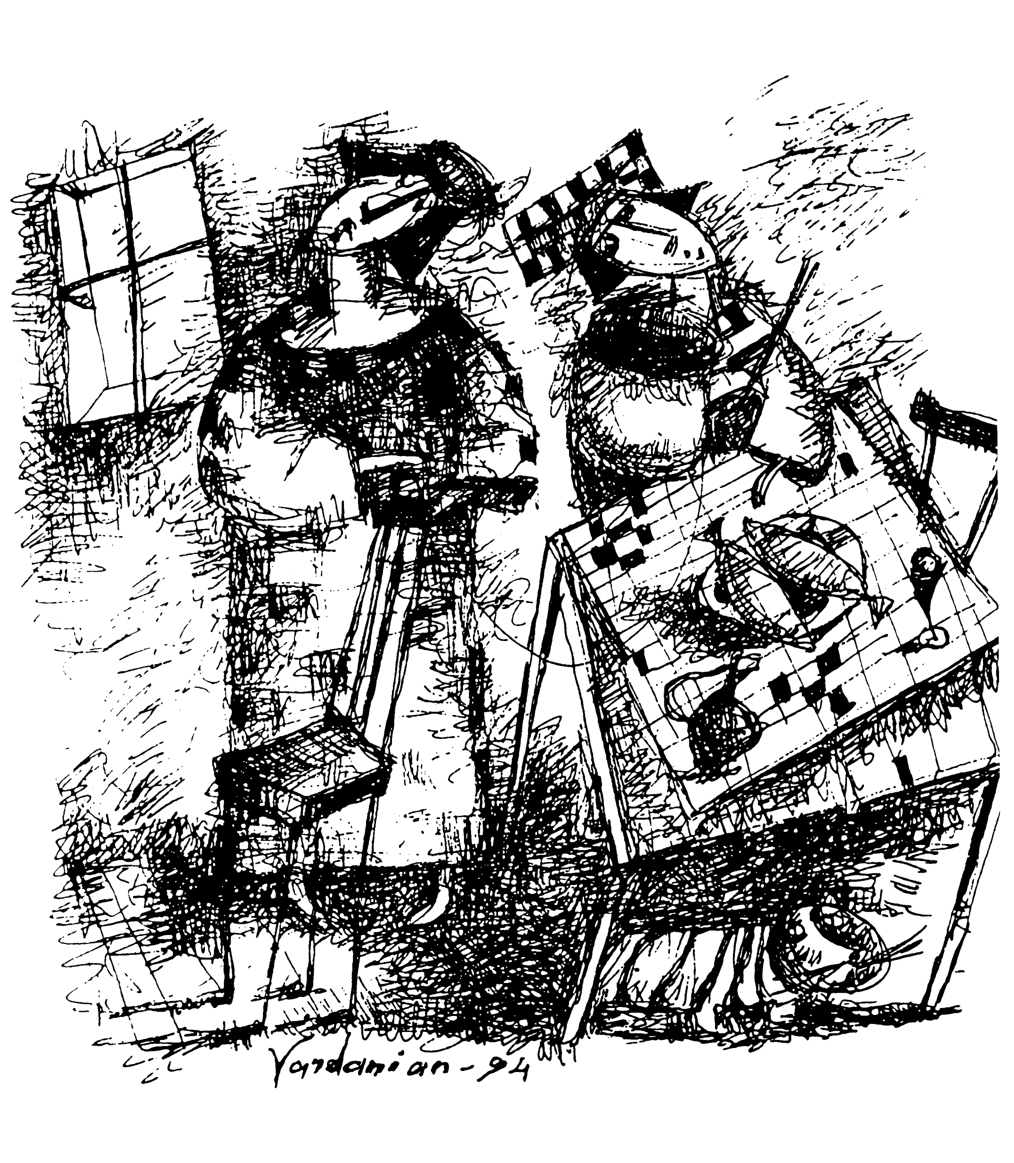


рисунок Сергея Варданяна (1962-1996)

Ардавазд ГУЛИДЖАНЯН

БЫЛ ЧЕЛОВЕК...

"С.А.Варданян принадлежит к поколению молодых современных художников, творчество которых значительно влияет на развитие современного искусства в условиях неуравновешенности, суеты и сомнений..."

Из предисловия к маленькому каталогу его графики.

Был человек... и нет его. Так случилось: попал под поезд *Москва — Брест*, упал с платформы, оступился, торопился — случайность.

Сергей Варданян был художником. Он и остался художником, потому что всё, что оставил на земле, это картины. И две девочки: одна, постарше, живёт с мамой в Калифорнии, другая, совсем крошка, в подмосковном Одинцово, со своей мамой, художницей. И картины разнесло по всему свету — Россия, Армения, США, Чехия, Германия...

Армянский художник погиб в Москве, в апреле 1996-го, как раз на армянскую пасху. Вот ведь...

Когда вся Армения превратилась в блокадный Ленинград, он уехал в Россию. Не всякий художник нужен на войне. В Америку его не пустили, жена была нелегальной эмигранткой. Шло время, появилась новая семья. Слава к нему не торопилась. Приходилось много работать. От выставок (в Москве, Праге, Ереване) и заказов он возвращался на вернисаж у Центрального дома художника. Продавал картины, чтобы писать новые. Их можно было купить по цене ужина в московском кабаке.

Я ему не был близким другом, но знаю, Сергею было трудно. Сам процесс — жизнь, давался ему тяжело...

Люди умирают. И художники тоже. Даже такие молодые и талантливые. А картины живут очень долго. Впрочем, какое это сейчас имеет значение?

Знавшим Сергея больно от того, что его не стало. Больно до сих пор.

май 1996



Геннадий БЕЗЗУБОВ

КАРТИНКИ

1

В марте станет смеркаться к шести,
А в июне — к восьми.
Видишь — фрукты в пыли, как в шерсти —
Оботри и возьми.

Пусть на кожицу отсвет сойдёт
Уходящих кровей,
Как предвестье вечерних пустот,
Только пусть поживей.

Эти штуки с ножа не едят —
Я уж лучше рукой.
Ты в окно не гляди, там закат
Быстротечный такой.

2

Дождь пошёл, которого не бывает.
Всё немедленно остывает,
То есть стремительно, как во сне,
Как подтёк на стене.

Как унылый голос, что не боится
Окончательно раствориться
В коллективном чужом бреду,
Где душа не в ходу.

Дождь пошёл, и это опять загадка:
То ли кризис миропорядка,
То ли Всевышний, презревший нас,
Откупается про запас.

Пузырями улица закипела.
Дождь пошёл, и это меняет дело
Так круто, такую кладёт печать,
Что уж лучше смолчать.

3

Стрижи кричат перед закатом
И виснут в воздухе покатом.
За раскалённую черту
Соскальзывая на лету.

Тускнеют в небе два светила.
Жизнь сумерками отплатила
И полной мерой воздала
За недоразвитость крыла.
Вдохни от сумерек зелёных
И в список радостей продлённых
Впиши безумные цвета
С полей небесного листа.

4

На рынке холодно, пустынно.
Румыны пьют у магазина,
При входе в райские сады,
Где смыты пивом все следы.

Бананы проданы и снова,
Как заместитель часового,
Пронумерованный оле́
Идёт по каменной земле

Меж соблазнительных картинок.
Арабы домывают рынок
И в шелесте вечерних вод
К Субботе город пристаёт.

5

Густеет быстро воздух тёмно-синий
И холодеет внешняя стена,
Побегами неведомых растений
Оплетена.

Так вымирает улица в Субботу.
И только наша музыка над ней
Едва сочится, делая дремоту
Ещё томней.

На полудиске, уходящем книзу,
Рельефно проступают облака,
Как некий текст. Пора захлопнуть книгу
И ждать, пока

Сольются тени разномастной флоры
В потоке нарастающей луны
В ту совокупность странную, к которой
Мы причтены.

* * *

В мутном апрельском небе
Полной луны пятак.
Я не просил о хлебе —
Дали его и так.

Я не просил свободы —
Дали её с лихвой,
Чтобы нырнуть под своды
С ходу, вниз головой.

Чтобы дышать и биться,
Вынырнув там, вдали,
Словно самоубийца,
Ежели вдруг спасли.

* * *

Вернуться на землю предков, чтобы сгореть в караване,
Чтобы быть застреленным по пути на дежурство,
Чтобы сидеть на рынке, торгуя грудами рвани,
Медленно упиваясь сладостью промежутка.

Здесь он предельно краток — земля зацветает мигом.
Растения прут наружу — кто прямо, а кто наклонно.
Вернуться на эту землю, согласно нечитанным книгам,
Быть зарытым на кладбище возле Гуш-Эциона.

Когда по его террасам, поросшим нечастым лесом,
Горячий хевронский ветер заводит глухую гамму,
Камушки на надгробья ложатся противовесом
И нет в небесах замены этому малому грамму.

* * *

Привыкший жить на верхних этажах,
Я с общим видом нет, не на ножах.
Не задыхаюсь я от этой панорамы,
Где ни одной прямой, а если где и прямы
Пути проезжие, то только до поры,
Пока не скатится с окрестныя горы

На лёгких роликах непостижимый воздух
И небо, всё в ручной работы звёздах,
Нальётся чернотой, чтоб там, над головой,
Дугою выгнуться отменно цирковой,
Как здешние шоссе — им за полночь названий
Не подберёшь, и если лоб бараний
У этого холма (ну, то есть на свету),
Они свиваются по эту и пó ту
Ночные стороны, мерцая, как мониста,
Под стрёкот дальнего мотоциклиста,
Который всё ползёт упорно по кривой,
По краю ночи — точкой световой.

* * *

Теперь я понял: нам не подошла
Восточноевропейская закваска —
Спесь польская, украинская ласка,
Ментальность русская, какая б ни была.

А раньше думалось: так близко, что вот-вот
Грань перейдём и даже сможем слиться,
Чтоб вволю накуражиться и спиться
Как раз тогда, когда начнётся счёт

Последних дней. Но выпало не так.
И если в этом был особый знак,
В чём я на сто процентов не уверен,

То он был понят. Встали и ушли.
И ключ от той покинутой земли
Теперь потерян.

май 1996

Илья РЕЙДЕРМАН

СТИХИ ЭТОГО ГОДА

БАБОЧКА

Е.Шелестовой

Дело вовсе не в том, не в том,
Что шепчу пересохшим ртом.
Может, в ритме, в паузе дело?
Слышишь — бабочка пролетела!
Не зови — не поймёт.
Все слова мои — недолёт.
На пол падают, как горох,
зарифмованный выдох и вдох.
Не моя она, не твоя
эта капелька бытия.
На пороге яви и сна
машет крыльями тишина.
Может быть, первородный грех
отделил навсегда от всех
малых сих, бесконечно милых,
бессловесных, трепетнокрылых?
Дело вовсе не в том, не в том,
что шепчу пересохшим ртом.
Что ей, бабочке, все слова?
Я не прав, а она права...

2 января 1996

* * *

Дни без цвета, без солнца, без воли
надоели, как пища без соли.
Как устали, отчаялись мы

от бессовестно долгой зимы!
Порыжелая зелень сосны
за кладбищенскою стеною.
Прорасти бы сквозь будни травою...
До чего же мы жаждем весны!
И грохочет трамвай по кривой.
И в стекле неумытом трамвая
отражается столб световой.
Ах, куда ты вывозишь, кривая,
что за даль там и ширь мировая,
и откуда ты, свет даровой?

17 марта 1996

* * *

Я опять читаю Мандельштама.
Страшно, ибо знаешь наперёд,
что ведёт строка кривая — прямо,
и никто от смерти не уйдёт.
Да хоть заговаривайся, хоть
уцепись за собственную строчку —
не обманешь знающую плоть,
смертную не бросишь оболочку.
Прыгнуть из судьбы — как из окна,
к воздуху приклеиться, прилипнуть?
Снова клятвы раздаёт весна.
Но нельзя в итоге не погибнуть.

26 мая 1996

* * *

О, как гибельно, о, как смело
всё на свете цвело и пело,
как сплеталось — как звуки в фуге,
отзывалось, нуждалось друг в друге!
Но комочки летящей плоти

исчезают в круговороте.
Ах, конечно же, всё как надо.
И глядишь, дотянув до утра:
здесь потеря, а там утрата,
здесь прореха, а там дыра.
Ничего не удержат руки.
Нынче ноша моя легка:
завершить конструкцию фуги
и запомнить форму цветка.

26 июня 1996

ДОРОГА К МОРЮ

А дорога сама — куда-то вела
и была, освещённая солнцем, бела.
А вокруг — в деревьях — клубился мрак.
И каждый шаг был всего лишь шаг.
Шаг без цели. Не измерявший длину.
Раздвигавший пространство, как будто волну.
Погружавший во всё, что было окрест.
Приближавший к истине этих мест.
Напрягал сухожилья древесный ствол,
не стоял неподвижно — а в небо шёл;
он хотел быть больше себя самого,
и усилие преображало его.
Был, как скульптура: борец, атлет!
Я улыбался ему в ответ,
я отзывался ему душой,
ибо и я здесь был не чужой.
Шёл по дороге — и вместе с ней,
и с каждым шагом был ей родней.
Так вот куда дорога вела?
Приблизилась даль и меня обняла.
Так вот куда уводила меня?
В горячую сердцевину дня.

Вот и обрыв. Постой. Вглядись.
Море и небо. Две бездны слились.

1-2 июля 1996

ПАМЯТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

"Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит..."

И.Бродский

Но когда тебе уже привычно
на краю стоять и ледяную
воду пробовать ногой, — какую
смерть избрать — и вовсе безразлично.
Хоть старались храбро до сих пор мы
пребывать, присутствовать, являться,
но в итоге — разрушенье формы,
ничему уже не срифмоваться.
Ибо смерть есть способ вычитанья.
Что имелось? Две руки. Два глаза.
А в остатке — пустота, зиянье,
никому не слышимая фраза.
Если б в ней последний смысл могли бы
угадать — и усидеть на стуле.
Но ушедшие молчат, как рыбы,
и — в такую глубину нырнули!
Лишь сорвётся пузырёк воздушный
из пространства доязыкового,
переполнен тишиною душной,
что непостижима для живого.
Ах, поэты! Где же губы ваши
шевелящиеся? Мир сей бросив,
оставляете дыру в пейзаже,
как однажды обронил Иосиф.
Ах, какое это было счастье —
говорить! Воздушными шарами
те слова ещё летят над нами.

...Частью речи стать. Всего лишь частью
речи. Обойдёмся без вопроса,
всё ли исчезает без остатка.
Да не упадёт летящий косо
на картине дождь. Пасует проза.
У искусства лёгкая повадка.

...Словно дым отстал от паровоза.
Он горчит. Но отчего-то сладко.

4-6 февраля 1996



"Иосиф Бродский". Памятная медаль; аверс, реверс. Бронза, литьё.
Скульптор Нина Посядо, 1991.

Михаил ВИРОЗУБ

НА СМЕРТЬ БРОДСКОГО

Кружится ночь над русской равниной,
падая в холод, в стынь января,
и заглушает звуки старинной
флейты, свистящей песнь Снегиря.
— Умер. — Пропелось жалобой длинной
в честь ли поэта, в честь ли царя?

Море чужое, гальку подбросив,
схлынет, и новый выступит год.
В мире не будет новых вопросов,
больше любви и больше свобод.
Умер сегодня Бродский Иосиф,
и не замедлило время ход.

— Смерть — это точка пересеченья
армий, — сказал один генерал. —
Он не послал на смерть ополченье,
страны чужие не воевал.
Выбрав однажды своё отраженье,
Господу скажет: "Я сочинял!"
Прожил, избегнув рабского званья,
что-то узнав о добре и зле;
творчество — это конец изгнанья,
новый огонь в остывшей золе,
это кратчайшее расстоянье
между точками на земле!

ФОТО

Фотография Я.Соболя.
Увеличение портретов.
Негативы хранятся.

В Гомеле, в Одессе, может статься,
в праздники, которых больше нет,
прадед мой с прабабкой шёл сниматься
на фотографический портрет.

Чёрного сукна надел он брюки,
а она — муаровый платок,
и фотограф Соболь вскинул руки
и большое кресло приволок.

Усадил, поставил и поправил,
и пластинку вдвинул в аппарат —
в этом деле много всяких правил,
Соболь всё учёл и свет прибавил —
и в альбоме карточки лежат.

На меня похожи эти лица,
только чей тут брат, и дядя — чей?
Видно, время — это вереница
незнакомых мельников, врачей.

Я как будто жду: на чашку чая
бородатый прадед зазовёт,
спросит, как я Тору изучаю,
хорошо ли сапоги тачаю,
сахар в чай кладу я или мёд.

Мы ведь просто маленькое племя,
есть меж нами сходство и родство;
на качелях я качаю время —
юное, трёхлетнее всего.

И фотограф Соболь умилился:
— Как назвали, — спросит, — пацана?
...Жаль, что время сохраняет лица,
но не сберегает имена.

Максим ГЛИКИН

КАК ДЕЛА

— Как дела?
— Как тела
листьев
на мостовой.
Норму тепла,
норму счастья превысив,
бросаются вниз головой.

— Что слышно?
— Что вышло
боком.
И то не тем.
Выжжено,
пробито током
чувство прочности стен.

— Как сам-то?
— Как сальдо
в расчётах
дождя за окном, —
каскадом
сплющенных чёток
высохло, став нулём.

Марина ГВИЛЬДИС

* * *

Наташе Ляховской

Ослепили — и вывели за руки;
Был скворец на плече и свисток;
Продавали воздушные шарики,
Ветер флюгер навёл на восток.

Только флейты, рояль и гармоника!
Где вы, розовый и голубой?
Утром пахнет портвейном от дворника —
И фиалками этой весной...

* * *

Мне кажется, платье должно быть из хлопка,
А рядом стоять бутылка и стопка.
И солнечным утром горячей волной
Войдут двести грамм, но сперва — по одной.
Сперва мы пропустим похмелия ради,
Затем "День второй" регистрируй в тетради.
А чтобы нам было светло и спокойно,
Мы пьём по системе, разумной и стройной.
Нам много не надо — и мало не надо,
Поэтому нету с душою разлада;
И радостно нам по наклонной катиться,
Я — в платье из хлопка, ты в платье из ситца.

Борис АСТАФЬЕВ

* * *

Виктору Сербскому

Строки ложатся на белый лист...
Я выбиваю ковёр во дворе
И хлещут наотмашь слова
По друзьям и врагам,
По ушедшим и покинутым,
По любимым и любящим.
Я прошу у них прощенья
И говорю:
"Потерпите ещё немного!
Удары сильны и больно бьют.
Пыль вылетает облачком,
Оседает столбом;
Но вот — её уже нет
И краски снова светлы..."
Я выбиваю ковёр во дворе —
Свою жизнь.

23 августа 1996
Братск

Ардавазд ГУЛИДЖАНЯН

* * *

Господи, как же мне здесь одиноко!
Но без меня как пусто было бы здесь.

28 ноября 1996

Дмитрий ЛЕПЕР

* * *

Предмет поэзии всё тот же,
каким он был ещё при Моисее:
по-прежнему так радостно смотреть
в высокое изменчивое небо,
то синее,
то в рваных чёрных тучах,
то в перистых прозрачных облаках.
По-прежнему глаза горе возводим,
хотя в провалах
башнеобразных белых облаков,
в косом сияньи солнечных лучей
уже не видим лестницы на небо,
не различаем хоры херувимов
и Господа немыслимое Имя
не шепчем благодарными губами.

* * *

Как ласково касанье осени.
Неярким солнцем осиян,
рассеянно иду по просеке,
потомок скифов и древлян,
потомок скорбных иудеев,
тевтонов
(и кого ещё?).
Сам разговор с собой затеяв,
иду,
и ветерок мне в щёку еле заметно поддувает
и складывается в слова,
и лиственные дерева щемящий шум обуревает.
Иду под скудным небосводом своей единственной страны,
и мира розные народы
во мне одном совмещены.

1971

Анатолий КУДРЯВИЦКИЙ

БАЛЛАДА О БОРЬБЕ

Борец и некий ангел
Боролись до утра.

Эмили Дикинсон

Пастух Иаков пас чужой скот
семь лет и ещё раз семь.
С женой любимой жил он не год —
семь лет и ещё раз семь.
Мечтал о сестре её робкой, как лань,
семь лет и ещё раз семь,
вставал по утрам в кромешную рань
семь лет и ещё раз семь.
Тучнели тестя большие стада
семь лет и ещё раз семь.
Хотите розу? Вам резеда
семь раз и ещё раз семь.
Но руль перемен движет судьбой
семь раз и ещё раз семь.
Вот ангел. Он занимался борьбой
семь лет и ещё раз семь.
С ним надо ухо держать востро
семь раз и ещё раз семь.
Пастух бросил ангела через бедро
семь раз и ещё раз семь.
Победу обмыли кислым вином
семь раз и ещё раз семь.
В награду Иакову Бог дал гуртом
семь стад и ещё раз семь.
Отныне пастух с двумя жёнами жил
семь лет и ещё раз семь.
Добро наживал, детей наплодил —
семь чад и ещё раз семь.

Кто знает, что лучше — праведным быть
семь лет и ещё раз семь,
иль жить в грехе и не слишком тужить
семь лет и ещё раз семь?
Коль в час испытанья Господь нашлёт
семь бед и ещё раз семь —
сражайся, с чела проливая пот,
семь раз и ещё раз семь!

1993

Артур КЁСТЛЕР

ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД

роман

часть первая. П Р И Е З Д .

Я знаю, что меня сломает ваша сила,
Я знаю, что меня ждёт страшная могила,
Вы одолеете меня, я сознаюсь...
Но всё-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь!

Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак
Пер. с франц. Т. Щепкиной-Куперник.

1.

"Поехали!" — подумал молодой человек, неловко подался вперёд, словно потерял равновесие, а не действовал намеренно, и прыгнул. От палубы до тёмной поверхности воды было метров пять. Он рассчитал — из любопытства и любви к точности — что прыжок займёт полторы секунды, но на деле получилось быстрее. Падая с прижатыми к животу коленями, он успел лишь дважды подумать "поехали", и ударился о воду, сперва ступнями, потом — больнее — задом. По лицу ударил клеёнчатый свёрток, висевший на шее. Он услышал шум тёмной воды, глотнул горькую пену, смешанную с кровью из разбитых свёртком губ, долго (как ему казалось) погружался, помня свет иллюминатора, промелькнувшего, пока он падал, и вынырнул в трёх метрах от чёрного корабельного корпуса.

Впереди неподалёку выступала из воды якорная цепь, выходя почти вертикально из клюза и проходя у него над головой. Он осторожно подплыл, схватился за цепь, прислушался. На пароходе было тихо. В

четверти километра от него так же тих был берег, освещённый фонарями. Фонари стояли вперемежку с пальмами и обрамляли прямую дорогу мягкой, сияющей лентой, бегущей параллельно взморью. Высокие пальмы своими стройными, слегка изогнутыми стволами напоминали гигантские мётлы, воткнутые в землю через определённые промежутки. На обочине стояла машина с потушенными фарами; другие, сияя огнями, плавно и беззвучно ехали мимо. О том, что в двух километрах отсюда находится город, напоминало лишь розовое свечение неба.

Держась за цепь и забросив свободной рукой свёрток за спину, молодой человек высматривал подходящее укрытие на берегу. В небольшой бухте в километре от него виднелись тёмные силуэты пляжных кабинок. Он отпустил цепь и медленно поплыл к берегу нейтральной страны. Было около трёх часов безлунной ночи весной сорок первого года.

2.

Метрах в тридцати от берега он нащупал ногами дно и встал. Вода доходила до горла. Он оглянулся и увидел пароход, неподвижно стоящий на фоне звёздного неба. Вязкое дно под ногами быстро поднималось. Он шёл, пригнувшись, боясь выдать себя неосторожным движением, всплеском. Последние метры пришлось ползти на четвереньках. Наконец он встал и прислушался.

Бухта была тиха и безлюдна. Пляжные кабинки стояли в ряд, как пузырьки с лекарствами, и выглядели удивительно неуместно. У воды дети выстроили песочные замки, их залило приливом, и они напоминали промокшие кротовые кочки. На одном из замков косо торчал флажок с древком не толще зубочистки. Слышались лишь вздохи прибоя, мягко набегающего на ничейную полосу земли между сухим песком и морем, и отступающего назад.

Он вышел на берег, инстинктивно пригибаясь, хотя его никто не видел, и побежал к ближайшей кабинке.

Это был простой квадратный ящик из неструганных досок, без крыши, вместо четвёртой стены — занавеска из яркого, в синюю и красную полоску, ситца. Напротив занавески — сиденье; справа — полка с крючками, слева — зеркало и реклама зубной пасты, написанная золотыми буквами. Сквозь щели в полу пробивался песок, пахло сухим деревом и гнилыми ракушками.

Молодой человек задёрнул занавеску, снял с шеи свёрток и положил на полку. Потом сбросил мокрую рубашку, брюки, трусы, носки и повесил на крючки. Развернув свёрток, вынул носовой платок и как мог вытерся. Ночь была тёплая, в кабине — душно от испарений порис-

того дерева досок, источавших ночью накопившийся за день зной. Он вынул из свёртка часы и прислушался — они исправно тикали. Вынул плитку шоколада и печенье и стал медленно жевать, стоя голым в узкой кабине и по-прежнему напрягая слух, опасаясь подозрительных звуков снаружи. Но ночь была тихая, не слышалось даже бриза. Он нащупал в свёртке зажигалку и чуть дрожащими руками зажёг сигарету.

После двух-трёх глубоких затяжек к нему вернулась энергия. Он свернул куртку и положил вместо подушки, поставил ботинки рядом на полу и сложил на полке остальное имущество: бумажник, перочинный нож, карандаш. Затем лёг на спину, согнув колени, как в сидячей ванне, укрылся клеёнкой и исполнил ритуал, который проделывал каждый вечер, защищаясь от дурного сна: коснулся обоими указательными пальцами трёх шрамов от ожогов — на правой пятке, на бедре и под коленом. Затем докурил сигарету. С каждой затяжкой её огонёк на секунду вспыхивал, а в зеркале появлялось отражение с тёмными впадинами глаз.

Он отложил окурок. Звёзды над ним сияли живее и ярче, чем когда-либо в жизни. Он тихо лежал на спине, чувствуя, как напряжение постепенно покидает мышцы. Слух больше не напрягался, ловя звуки приближающихся шагов; мозг подчинился завораживающему ритму набегающих и отступающих волн, медленному пульсированию космоса; он закрыл глаза и впервые со времён детства заплакал. Он чувствовал, как слёзы бегут по неглубоким впадинам вдоль носа со сломанной переносицей, стекают в рот сквозь остатки выбитых зубов.

3.

Солнце ещё не поднялось над кабиной, но воздух уже источал тепло. Он проснулся внезапно, весь в поту под своей клеёнкой. Дурной сон не приснился, но перед тем, как проснуться, он увидел, что снова прячется в тёмном, душном трюме "Сперанцы" среди бухт просмолёных канатов, тюков с рисом и кофе и ящиков изюма. Пахло всеми запахами бакалейной лавки, колоссальная высота трюма подавляла, как громада собора, где сторож погасил огни и запер дверь. Пятнадцать неотличимых друг от друга дней он жался к этим тюкам, дышал их запахами, блевал и прислушивался к стуку двигателя и треску ящиков; пытался определить местонахождение судна и ждал момента, когда загремит якорная цепь и в несколько минут решится его судьба. И вот теперь — всё это позади. Небо над кабинкой было ярко-голубое, какого он никогда не видел на родине, и это не было сном.

Он вскочил с лавки и, забыв осторожность, отдёрнул рывком занавеску. Пляж был залит солнцем, кабинки с полосатыми занавеска-

ми выглядели нарядно и весело. Было восемь часов и пока — никого вокруг.

Он сбежал вниз по пляжу и, разбрызгивая воду, нырнул. Его можно было принять просто за раннего купальщика, беспокоиться не о чем. Разве лишь о том, что он без плавок. Он поплыл вдоль берега, подальше от того места, где, ожидая прилива, чтобы попасть в порт, стояла на якоре "Сперанца" — единственное тёмное и враждебное пятно в окружающем блеске. Он лёг на спину и поплыл, положив руки под голову. Течение медленно развернуло его ногами к солнцу, так что пришлось зажмуриться от яркого света. Веки изнутри сияли прозрачно-розовым. Он снова ощутил прилив чувств, охвативших его прошлой ночью. Всхлипы рождались где-то в области диафрагмы и поднимались к горлу, но на этот раз он сдержался. Он перевернулся, сделал в холодной воде сальто и поплыл назад.

Пробегая по мокрому песку мимо детских построек, он увидел в лужице, образованной отступившей волной, бумажный флажок, который заметил вчера на одном из разрушенных замков. Поднял его и вздрогнул, поняв, чей это флаг. Торопливо оглянулся и, взяв тонкое древко двумя пальцами, как редкое и хрупкое насекомое, побежал к кабинке.

Вещи на крючке высохли. Одеваясь, он посматривал на флажок, воткнутый в рамку зеркала над рекламой зубной пасты. В той стране, откуда он прибыл, флаг этот означал измену и смерть, а здесь детям разрешалось украшать им свои замки. Дети, конечно, могли выбрать и другой флаг, но всё равно — зрелище было фантастическим.

Его позабавило, что он снова одевается перед зеркалом. Во внутреннем кармане пиджака хранился чистый воротничок, он тщательно повязал галстук. В целом, вид его не внушал подозрений. Ботинки — в порядке. Брюки, правда, мятые, но на тёмной фланели это не так заметно. В трюме "Сперанцы" он жил в одних трусах. Пиджак потрёпан, рубашка разорвана под мышками и довольно серая, но чистый воротничок выручал. Другое дело — лицо. Оно слишком бросалось в глаза, и полицейский, однажды его увидев, помнил его приметы наизусть:

овал лица — продолговатый;
волосы — рыжие;
лоб — высокий, в веснушках;
глаза — большие, карие;
нос — обычный, но с перебитой переносицей;
губы — полные, верхняя — вздёрнута, обнажая дёсны и зубы, два передних выбиты;
возраст — двадцать два года.

Теперь он готов. Рассовал своё имущество по карманам, закурил сигарету и, поколебавшись, воткнул в петлицу флажок, что выглядело совершенно естественно. Если им играют дети, значит это неопасно. Это же Нейтралия, страна, не знающая затемнения.

4.

Он шёл по широкой, посыпанной гравием, дороге, ведущей в город, вдоль одинаковых пальм и фонарей. Первый замеченный им житель страны оказался дворник — дряхлый пережиток лошадиной эпохи, аккуратно собиравший в ведёрко редкие кучки навоза. Он заволновался, но прятать флаг было поздно. Поравнявшись с ним, дворник поднял глаза, увидел флаг, улыбнулся и прикоснулся к фуражке. Молодой человек улыбнулся в ответ, смущённо обнажив зубы. Ясно, что он имеет право носить флажок.

Движение усилилось; крестьяне на запряжённых мулами повозках везли в город овощи и фрукты; мчались авто ярко-розового, жёлтого и кремового цвета. На повороте он вдруг увидел полицейского. В белом мундире, в белом шлеме, с чёрными усами и ботинками, полицейский стоял на деревянном помосте под зонтом и дирижировал движением, а в это время мальчишка, устроившись прямо посреди дороги, чистил ему ботинки. Молодой человек, успокоившись, пошёл дальше.

Он достиг пригорода и теперь шёл кривыми улочками, среди прилавков, заваленных апельсинами, бананами, виноградом. На железных балконных перилах и подоконниках развешено бельё, напоминая флаги в китайском городе. Яркое солнце, фрукты и женское бельё вызывали смутные желания. Он отметил давно забытое ощущение: упругость собственного шага. Ожоги на ноге, хоть и зажившие, слегка изменили его походку. Годами он нёс по улицам свои шрамы, как тайные стигмы. И теперь, проходя мимо парикмахерской с зеркалами в витрине, он уловил свой позабытый облик — долговязый студент со страусиным шагом и слишком быстро выросшим, нескладным телом, изредка взглядывает на проходящих женщин и, застигнутый врасплох, опускает глаза.

Немного погодя он увидел бюро по обмену валюты. Стеклянная дверь была открыта. Он пересёк улицу, подождал, пока выйдет очередной посетитель, увидел, как тот обменял валюту и вышел: ни паспорта, ни других документов не предъявлялось. Ободрённый, он вошёл в бюро и выложил содержимое бумажника на прилавок. Служащий с чёрными блестящими волосами отсчитал несколько красочных местных купюр со скачущими конями и сурового вида девами в античных одеяниях. Пожалуй, на две недели ему хватит, а за это время он уладит свои дела в Нейтралии и будет уже далеко за морем, в аккурат-

ном мундире с заломленной фуражкой. Отсчитав деньги, служащий предложил ему лотерейные билеты, опять же — с конями и девами. Он выбрал голубой — с номером, кончавшимся семёркой, и стал срочно искать, где бы хорошо позавтракать перед тем, как явиться в консульство для мобилизации.

Он пришёл в центр города. Дороги превратились в широкие проспекты с пальмами, ещё величественнее прежних, с кубами белых домов, отражающих ослепительно резкий свет. Магазины были на провинциальный лад роскошные, специализируясь, в основном, как казалось, на шёлковых мужских рубашках и шляпах. Странного вида трамваи, сигналя, как автомашины, катились по покоробленным солнцем рельсам, а юркие нарядные машины для перевозки мороженого пересекали взад-вперёд рельсы, застревая в них шинами, будто участвуя в спортивных гонках.

Он вышел на просторную площадь с фонтаном посредине. Вокруг расположились кафе. На тротуаре под парусиновыми тентами стояли столики с плетёными стульями. Большая часть была занята мужчинами, смуглыми жителями Нейтралии, с галстуками бабочкой и в пиджаках с подложенными плечами; они пили чёрный кофе из маленьких чашек, курили сигареты, зажигая их вощёными спичками, вспыхивающими, как фейерверк, или оцепенело жарились на солнце, как ящерицы на скале. За другими столиками сидели вместе мужчины и женщины, явно иностранцы, беженцы из охваченных войной стран: говорят тихо, лица кривит тик, склонились над столиками, сдвинув головы, как вороны во время бури.

Молодой человек прошёл мимо двух кафе и сел на террасе третьего — с ярко-голубыми столиками и со стульями с мягким кожаным сиденьем. Едва он сел, как один из грязных мальчуганов, снующих, как тараканы, среди столиков, стал ему чистить ботинки. Он попытался отдёрнуть ногу, но мальчишка схватил другую и спокойно продолжал свою работу. Пришлось уступить, и чувствуя себя довольно глупо, он попросил у официанта, приветствовавшего его по-французски, кофе со сливками, два яйца всмятку, масла, мёда и фруктов. Пожилой плоскостопый официант отнёсся с уважением к такому серьёзному заказу и всё записал в маленький блокнот. Когда он ушёл, молодой человек дал чистильщику монету, явно переплатив, потому что мальчишка трижды почтительно поклонился и убежал, довольно хихикая.

Молодой человек покосился на соседний столик, занятый иностранцами — худым, средних лет мужчиной, пожилой женщиной с озабоченным лицом и скучающей молодой особой. Они наблюдали за его действиями — с чистильщиком и с официантом — дама, вероятно, француженка, сочувственно улыбнулась: "Вы совсем недавно *оттуда*?"

"Оттуда" означало любую захваченную врагом страну и касалось всего континента. Он ответил утвердительно, мысленно благодаря гувернантку-француженку, нанятую для него родителями в давние времена. Взгляд его переключился на молодую женщину или девушку, и он решил, что это девушка. Она тянула сок через соломинку и глядела поверх его головы.

— А вы здесь давно? — спросил и он, обращаясь скорее к девушке. Она секунду смотрела на него, но ответила дама, — что они с Одетт (так звали девушку) уже три месяца ждут американскую визу. Молодой человек сообразил, что такой ускоренный способ знакомиться — обычное дело в Нейтралии, где беженцы связаны общей судьбой, как путешественники, идущие одним караванным путём, и собравшиеся в оазисе возле колодца.

— Вы уже были в консульстве? — спросил худой человек. Он казался усталым и больным, и его жёлтые навыкате глаза с завистью остановились на флажке в петлице молодого человека.

Молодой человек почувствовал себя самозванцем.

— Нет ещё, — ответил он, — пойду после завтрака.

— Не спешите, — сказал болезненный мужчина, — там никто не торопится.

— Говорят, что вашей армии нужны врачи, — объяснила француженка, — доктор Хакстер предложил свои услуги, но в вашем консульстве ему твердят, что решение ещё не получено.

Появление официанта, торжественно несущего поднос, избавило молодого человека от необходимости отвечать. Официант поставил на стол кофе, молочник, яйца, ветчину, масло, мёд и большую вазу с фруктами, а он от смущения почти забыл о голоде. Перед прочими посетителями на террасе стояло лишь по маленькой чашке чёрного кофе или по стакану холодного вина; на него бросали любопытные взгляды. Француженка тактично заговорила с доктором Хакстером.

Молодой человек решительно стиснул зубы, сказал себе: *поехали*, налил осторожным, рассчитанным движением кофе и молоко в чашку, положил два куска сахару, помешал ложкой и сделал первый глоток. Горячая, сладкая жидкость обласкала нёбо, гортань, она струила по телу жар и радость. Какое счастье, подумал он. И оно было бы полным, если бы сожрать всё это в одиночку, чтобы никто не глазел. Он положил яйцо в рюмку, широким концом вверх и точным движением ножа его обезглавил. Поднял верхушку и выудил чайной ложкой белок. Отломил кусок булки, вытер жидкий желток, стекающий по скорлупе, посолил и проглотил. Намазал маслом половину булки, зачерпнул ложкой яйцо, откусил от булки, глотнул кофе, затем, сделав над собой усилие, поднял глаза от тарелки.

Он не ошибся: Одетт смотрела на него. Застигнутая врасплох, она не отвела глаз, а заговорщически улыбнулась, выпятив в насмешливой гримасе нижнюю губу. Губы её были, как у хмурого мальчишки, полные и сухие, слегка потрескавшиеся и без помады. Цвет глаз — светло-серый, обнажённо-прозрачный.

— Видно, что вы получаете большое удовольствие, — сказала она. Голос её был хриплый, как нежная ткань со слегка шершавой поверхностью. Он кивнул и улыбнулся. Но когда он снова поднял глаза, она опять сидела со скучающим видом, глядя невидящим взглядом на вазу с фруктами. Он подвинул вазу, и она подняла глаза.

— Не хотите ли апельсин?— спросил он с сильно забившимся сердцем.

— А я думала, вы собираетесь съесть всё, даже чашки и тарелки.

— Могу вам один пожертвовать,— сказал он, протягивая апельсин через вазу. Она сложила руки, как при игре в мяч, и он быстрым движением бросил апельсин через оба стола. Она поймала, снова иронически выпятив нижнюю губу. Пожилая женщина, прервав болтовню, оглянулась:

— Вы очень щедры, — сказала она сухо.

Он покончил с ветчиной и намазал на бутерброд ещё и мёд, стараясь, чтобы мёд не растекался. На девушку он уже смотрел не отрываясь. Плечи щуплые, мальчишеские, тесный джемпер, позволявший видеть кончики грудей. Он подумал, что она, наверное, без лифчика, и видение её грудей, белых, молодых, с острыми сосками, связалось с вкусом мёда. Она чистила апельсин, и взгляд её вновь стал равнодушным.

Он молча завершил трапезу. Внезапно ему захотелось скорее достичь цели своего путешествия — того самого консульства, которое в тёмном трюме "Сперанцы" и месяцы перед этим казалось ему единственным якорем спасенья. Через час его судьба решится. Он позвал официанта и заплатил по счёту. Сумма оказалась удивительно небольшой. Его денег определённо хватит на две недели, а к тому времени он уже уедет. Ставя стул на место, он снова взглянул на девушку, но она не обращала на него внимания.

— Счастливо, — сказала француженка.

— Надеюсь, мы ещё встретимся, — сказал он, обращаясь и к ней, и к Одетт.

— Безусловно, — ответила женщина, — мы здесь сталкиваемся друг с другом минимум раз в день. В какой гостинице вы остановились?

— Я живу у друзей, — ответил молодой человек.

— У друзей? Хотела бы я знать кого-нибудь из местных. Они вежливы и милы, но живут в другом мире.

— Не скажите ли, как пройти в консульство? — спросил он.

— В ваше? По проспекту до почты, потом вторая улица направо — узкая и крутая, которая идёт вниз и пахнет рыбой. Там увидите флаг.

Молодой человек поблагодарил, неловко протиснулся между столиками и поспешил прочь, будто стараясь наверстать потерянное время. Француженка, доктор и девушка смотрели, как он удаляется по тротуару своим широким шагом — высокий, руки в карманах, рыжие волосы горят на фоне белого блеска площади.

5.

Француженка мадам Телье была права, сказав, что в этом городе, где беженцы посещали одни и те же кафе, комитеты, консульства и места для прогулок, люди неизбежно сталкивались друг с другом. Молодого человека, пока он шёл через площадь и по главному проспекту, узнали незаметно для него несколько человек, которые, независимо друг от друга, встречались с ним в прошлом и знали о нём, по крайней мере, так они считали.

Один из них был невысокий человек лет тридцати с широченными плечами. Он стоял в очереди перед главным почтамтом рядом с высокой невзрачной женщиной с растрёпанными волосами и в очках. Очередь двигалась к окошку, где выдавали корреспонденцию до востребования.

— Ты его заметила? — спросил невысокий человек.

— Кого?

— Петра Славека?

— А он здесь? — спросила женщина взволнованно.

— Только что прошёл, — сказал крепыш, цедя слова сквозь тонкие губы спокойным, невыразительным голосом — привычка, выработанная долгим опытом.

— Я рада, что он выбрался, — сказала женщина. Очередь продвинулась на ступеньку. — Ты знаешь, я никогда его не встречала... Когда я вступила в партию, он возглавлял ячейку в университете и его только что арестовали. Он был страшно популярен.

Невысокий человек пожал плечами:

— Он был смелый, но не мог приспособиться к изменившейся тактике. Поэтому ему пришлось уйти из партии.

Они продвинулись ещё на одну ступеньку, и женщина робко заметила:

— Не так-то легко было понять, почему мы сохраняли нейтралитет после всех призывов к борьбе и даже заключили с ними пакт.

Невысокий скривил губы:

— Кто нам нужен, так это люди с трезвым, научным подходом к реальности. В войне приходится иногда поддерживать одну сторону, потом другую, как в игре на бирже.

— Я помню... — начала было женщина.

— Вспоминают иногда в неподходящий момент или в неподходящем контексте, — заметил мужчина.

Они молча двигались вместе с очередью. Женщина сжимала в кулаке скомканный носовой платок. Платок стал совсем мокрый, а она всё продолжала его нервно теребить. Потом заметила:

— Нам рассказывали, что с ним творили: сломали переносицу, выбили зубы, жгли сигаретами, но он никого не выдал...

Они зашли в помещение.

— Революции нужны не герои, а железные исполнители, — сказал невысокий человек таким тоном, словно закрыл дело и отправил в сейф вместе с другими закрытыми делами.

Вторым, кто узнал Петра Славека, была высокая статная женщина, сидевшая с белокурым молодым человеком на террасе кафе на другой стороне площади. На ней был элегантный полотняный костюм, подчёркивающий её моложавую, хорошо сохранившуюся фигуру: широкие, но стройные бёдра, пышную, высокую грудь. Она была без шляпы, мягкие волосы зачёсаны назад, мочки ушей оттягивали тяжёлые серьги. Лицо её, при девичьих чертах, выдавало лёгкую томность опытной женщины.

Она была врачом и звали её Соня Болгар. Улыбаясь, она с удовольствием смотрела, как Пётр бежит из кафе, и провожала его взглядом через всю площадь, пока он не свернул за угол у почты.

— Случай невроза. Я дружила с его матерью. Думала, они его убили.

— Кто это "они"?

— Ваши люди. Мы обычно вас называем "они".

— Откуда он?

— Откуда и я, — из тех мест, что между Дунаем и Балканами.

— Почему же у него в петлице этот флажок?

Доктор Болгар с интересом спросила: "Флажок? Очень похоже на него!"

Белокурый молодой человек заказал питьё. Он был высок, хорошо одет и строен, с нервным, напряжённым лицом классного теннисиста или велогонщика. Движения его были быстры и слегка судо-

рожны; время от времени он ерошил волосы длинными, гибкими пальцами.

— Вы не боитесь себя скомпрометировать, сидя со мной в кафе, доктор Болгар? Всё же я один из "них".

Она встретила его взгляд спокойной усмешкой:

— Я всегда вежлива со своими пациентами, Бернард, к тому же мне нравится шокировать моих друзей.

— Не расскажете ли вы мне побольше про своего молодого земляка?

— Ничего особенного. Случай из медицинского учебника. Когда ему было пять лет, в семье по его вине произошло несчастье. Родные вели себя довольно разумно, но мальчик пережил шок и всё, чем он с тех пор занимается, идёт оттуда, хотя, конечно, он этого не знает. В университете он вступил в революционную организацию; был избит полицией и дважды сидел в тюрьме — в последний раз уже при вашей оккупации. Были слухи, что его расстреляли, а он является с флажком в петлице, явно стараясь снова попасть в переплёт.

Бернард зажёг сигарету.

— Жаль. Похоже, он хороший парень. Ему бы следовало быть с нами.

— Этого никогда не будет, — сказала женщина в белом, — он всегда на стороне побеждённых.

— Какой анахронизм, — заметил Бернард.

Женщина пожала плечами.

— Студентом он написал пару приличных стихотворений. Их напечатали в каком-то левом журнале.

— Это довершает картину, — сказал белокурый молодой человек.

6.

Около полудня Пётр снова оказался на проспекте. Визит в консульство был позади.

Войдя в здание с флагом и гербом над воротами, он испытал смутное чувство, что всё это уже с ним было. Как в тумане, он поднялся по лестнице, вытер обувь о половик и позвонил. Швейцар, украшенный медалями за участие в прошлых битвах, открыл дверь и направил его в приёмную, где уже ждали два-три человека. Он заполнил бланк, и немного погодя его вызвали. Он вошёл в комнату побольше, разделённую на отсеки невысокой деревянной перегородкой. Его послали в один из отсеков, где бледная женщина, видимо, страдая от головной боли, бесцветным голосом сообщила о существующих ограничениях и

правилах передвижения: он должен принести паспорт и другие документы, заверенные полицией его страны, а также рекомендации из страны назначения и справку о средствах к существованию. Пётр решил, что его не поняли, и попытался объяснить, что он — не турист, что он хочет вступить в армию, но она вежливо и терпеливо повторила, что он должен принести паспорт и ждать ответа; а когда Пётр, всё больше волнуясь, снова попробовал объяснить, чего он хочет, она прибавила с некоторой досадой в лишённых ресниц глазах, что её время ограничено, поскольку её страна воюет.

На мгновение Пётр замолчал, затем, краснея, выпалил, что именно поэтому он и пришёл. Он довольно сильно волновался и повысил голос, другие девушки в комнате подняли головы от машинок и смотрели на него с ничего не выражающими лицами. Бледная женщина сжала губы, встала и, не говоря ни слова, скрылась за дверью. Пётр не знал, что будет дальше, и не слишком об этом беспокоился. Но через несколько минут она вернулась и, не глядя на Петра, сказала своим бесцветным голосом, что он может пройти в соседнюю комнату, где его примет господин Вильсон.

Господин Вильсон сидел за столом, перед которым стояло глубокое кожаное кресло для посетителей. Это был человек с мягким, озабоченным лицом. Он сказал: — Пожалуйста, садитесь, господин Славек, — и, к удивлению Петра, даже пожал ему руку, протянув три тонких костлявых пальца. Четвёртый был скрючен подагрой. Пётр заговорил о том, что не может предъявить паспорт и прочие документы, но господин Вильсон мягко его прервал.

— Я знаю, — сказал он с озабоченной улыбкой и махнув похожей на клешню рукой, — эти девушки никак не могут привыкнуть к тому, что мы воюем.

На это Пётр ничего не сказал. Кожаное кресло было глубоким и удобным. Всё теперь должно уладиться.

— Как я понимаю, вы прибыли вчера зайцем на "Сперанце" и ночевали на берегу?

— Да.

— И у вас нет никаких документов?

— Почему же? — вежливо ухмыльнулся Пётр, — у меня есть справка об освобождении из тюрьмы.

Он вынул из бумажника смятый документ. На нём были отпечатки пальцев, фотография и несколько синих и красных печатей. Господин Вильсон взял документ двумя самыми здоровыми пальцами обеих рук, подержал на свету, сравнил быстрым взглядом фотографию и оригинал и повертел под разными углами, пытаясь прочесть странные надписи на круглых печатях.

— Для меня этого достаточно, — сказал он, наконец, со слабой улыбкой, — но вот достаточно ли для властей... это вопрос.

Он вернул справку и стал ходить перед Петром взад-вперёд по ковру. Пётр наблюдал за ним из своего удобного кресла. Через минуту господин Вильсон сел снова.

— Сколько времени вы пробыли в тюрьме? — спросил он.

— В общей сложности около трёх лет.

— А всего вам двадцать два года?

— Да.

— А вам не хочется, для разнообразия, просто пожить в своё удовольствие, как живут другие молодые люди? Почему бы вам не попробовать добраться до нейтральной страны, например, Америки?

— Мне сказали, что вы воюете, — ответил Пётр.

Снова наступило молчание. Затем господин Вильсон усталым и почти официальным тоном сказал:

— Нам надо запросить власти в стране. Что касается меня — вы можете ехать хоть завтра, но... — Он стал копаться в бумагах.

— Сколько времени понадобится для ответа, господин Вильсон?

— О, это когда как. Если не будет решения через месяц-другой, приходите опять, и мы пошлём напоминание.

— Понятно, — сказал Пётр. Внезапно ему захотелось выпрямиться в этом кожаном кресле, но оно было слишком глубоким, и он почувствовал себя увязшим в его податливой мягкости.

— Это из-за вашего гражданства. Если бы вы явились из дружественной страны, было бы другое дело.

— Почему — другое? Ведь моё правительство не спрашивало меня, когда вступило в войну. И нас бы всё равно оккупировали.

Но он знал, что все разговоры напрасны, и тоже вдруг почувствовал усталость.

Господин Вильсон беспомощно пожал плечами.

— Я сделаю для вас всё, что смогу, — пообещал он, вставая из-за стола, — сегодня же пошлю докладную записку. Заходите время от времени и справляйтесь в справочном бюро, нет ли для вас новостей. И если их не будет, скажем, через месяц, загляните ко мне снова.

Он протянул три пальца, и Петру пришлось побарахтаться, чтобы выбраться из кресла. Пройдя к двери, он услышал странный звук — то ли кашель, то ли прочистка горла, а обернувшись, услышал, как господин Вильсон сказал, не отрываясь от бумаг:

— Вы знаете, господин Славек, я бы на вашем месте всё же подумал насчёт Америки.

— Спасибо за совет, — сказал Пётр и вышел. Когда он проходил через большую комнату, где печатали машинистки, ни одна из них не подняла головы.

7.

Оказавшись снова на сверкающей улице, Пётр зажмурился от яркого блеска стен и мостовой. Он поискал в грудном кармане сигареты и нащупал в петлице флажок. Машинально спрятал флажок в карман и медленно пошёл вверх по крутой узкой улице к главному проспекту.

К полудню ему захотелось полежать в прохладной тёмной комнате, закрыть глаза и всё спокойно обдумать. Это, конечно, было невозможно. Он не мог явиться в отель, не отметившись в полиции, а в полиции не мог отметиться, так как въехал в страну незаконно. Только сейчас, устало ковыляя под пыльными пальмами, он понял смысл слов господина Вильсона.

Внезапно он остановился: из витрины на него уставился ненавистный символ, прибитый к верхней планке оконной рамы. Толстое чёрное кольцо на красном фоне, в середине — крест с перебитыми лапами, превратившийся в паука. Давно он его не видел, целых три недели, но всё ещё чувствовал страшную власть свастики.

Пётр неподвижно стоял у витрины. Это была табачная лавка, где продавались также газеты, лотерейные билеты и дешёвые писчебумажные принадлежности. Заодно хозяин, как видно, предоставил свою витрину для *их* пропаганды. В глубине витрины, на площадке метра в полтора, лежала рельефная карта континента. На ней была надпись: "Новая Европа — счастливая семья народов". Карта была отлично сделана, смотреть на неё было приятно. Длинные, прямые, блестящие автострады устремились из пункта, расположенного на северо-востоке. Крошечные, обтекаемой формы электропоезда с миниатюрными горящими фарами выбегали из туннелей; серебряные пассажирские самолёты и летающие корабли свисали на резинках с неба или покоились на тёмно-голубом стекле озёр. Население каждой страны, как и её продукция, урожай, скот, уголь, минералы, текстиль, дерево, вино, машины — обозначались соответствующими фигурками и символами; серьёзной статистикой подкреплялись колониальные притязания, потребности в сырье и рынках сбыта. Поверх всей этой заманчивой картины помещался фотомонтаж, объясняющий, что было плохо в печальные старые времена: безработный труженик с искажённым ненавистью и голодом лицом бьёт окна; женщины и дети задыхаются в тисках налогов; аграрные страны ошибочно увлечены промышленной конкуренцией в то время, как крупнейшая промышленная страна лишена естественных рын-

ков сбыта; революция крупного капитала и мировая революция — обе связаны с ненавистной расой, дёргающей все нити за сценой, подстрекая народы друг против друга и деля добычу с кровавой улыбкой.

Наконец на последнем стенде показано, как пробуждается сознание угнетённых. Народы Европы впервые в истории объединились под суровым, но справедливым руководством самого сильного народа. Восемь лет назад эта передовая нация пребывала в состоянии крайнего унижения — раздавленная, беспомощная, деморализованная; а ныне те, кто в своём безумии пытаются ей противостоять, хрустят как спички под её железным кулаком. Цифры, фотографии и крошечные блестящие фигурки демонстрировали непобедимость её чудо-армии на земле, на море, под водой и в небе. И надо всем макетом, под флагом, распростёртым, как крылья, по обеим его сторонам, возвышался портрет Сверхчеловека, того, кто творил чудеса, совершал невероятное, — гения Новой Европы и благодетеля человечества со стальным взглядом, но с обезоруживающей улыбкой, романтической чёрной прядью над бледным лбом и с ребёнком на руках.

Возле Петра собралась толпа. Люди глядели на витрину, иронически улыбаясь, но постепенно улыбки застывали на лицах. Он выбрался из толпы и пошёл дальше под пыльными пальмами, устало волоча ноги. У него, наконец, появилась цель: выяснить, представлена ли в городе пропаганда другой стороны. Кажется, на одной из главных улиц, где он проходил утром, в витрине среди шёлковых рубашек и панам, он видел флаг и портрет короля. Может, там были и другие экспонаты, но он не заметил; надо выяснить.

Он без особого труда нашёл улицу. А вот и магазин, с флагом и с королём. Человека два с сонными лицами смотрели на витрину. Это тоже была табачная лавка, но у хозяина той, другой лавки, дела явно шли лучше. А с этого, наверное, брали высокую ренту, а может, он старался из убеждений.

Экспонатами были, в основном, фотографии, вставленные в прорези серого картона, как в семейном альбоме: пожилые женщины вращали с бодрой улыбкой непонятные предметы на фабриках; королева-мать созерцала карету скорой помощи; ряд военных кораблей напоминал картинку из детского журнала; свояченица короля глядела на походную кухню с чаем и бутербродами; пилот получал орден; девушки в военной форме маршировали, размахивая руками; родственник короля инспектировал иностранных лётчиков; член правительства выходил из самолёта с букетом цветов, приподнимал котелок и изображал двумя пальцами букву V; солдат вонзал штык в мешок с песком; девушка в брюках доила корову. Под фотографиями были четыре строчки из пат-

риотической поэмы прошлого века, написанные готическим шрифтом, в рамке тех же цветов, что и государственный флаг.

К Петру, который глядел на витрину, обратился человек с закрученными усами и тростью в руке. Говорил он быстро и взволнованно, потрясая руками и тыча в фотографии тростью; потом ударил в отчаянии себя тростью по голове. Пётр не знал слов, но смысл понял и улыбнулся вежливой и виноватой улыбкой, будто он отвечал за то, что было в витрине. Наконец, человек вздёрнул плечи чуть не до ушей, постучал двумя пальцами себя по лбу и удалился, яростно тряся головой.

Пётр продолжил свои скитания, вернувшись на главный проспект с его пальмами. Горели ноги; из-за дыр в носках на пятках появились волдыри. Страдальческая, виноватая улыбка, как бы по рассеянности, оставалась у него на лице. Он плёлся по усыпанной гравием дорожке посреди проспекта; от пота прилипла к спине рубашка; под мышками пиджака появились тёмные подтёки. Ещё не было часу, надо было убить восемь или девять часов, пока можно будет вернуться на пляж и лечь на лавку в вонючей кабинке. Он попытался обдумать план действий, но не мог сосредоточиться; небо было, как печь, а солнце — как её открытая дверца, откуда пламя испускало жаркое дыхание.

На другой стороне проспекта он заметил ресторан. За стёклами виднелись кисейные занавески. Внутри, как видно, было темно и прохладно. Только он собрался перейти улицу, как почти столкнулся с невысоким человеком из очереди на почте.

Секунду они молча смотрели друг на друга. На родине они после того, как началась война, встретились однажды на улице и сделали вид, что не узнали друг друга, но тут оба от неожиданности растерялись. Молодая женщина стояла в стороне, затаив дыхание и глядя на Петра широко открытыми глазами.

— Что ж, — сказал Пётр, принуждённо улыбаясь, — вот мы и встретились снова, товарищ Томас.

— Я видел тебя утром, — сказал невысокий человек. К нему вернулось самообладание, и он стоял перед Петром с решительным видом, его ноги выходили из тротуара, как трубы.

Наступило молчание. На мгновение Петра охватило братское чувство, горячая волна воспоминаний об их совместной борьбе в прошлом захлестнула его. — Пойдём, пообедаем вместе, — предложил он робко.

— Нам надо в консульство, — сказал товарищ Томас.

— В какое именно? — спросил Пётр.

— В американское, — ответил товарищ Томас. Очевидно, он сохранил свою привычку — отключать эмоции, как воду в кране.

— Это твоя жена? — спросил Пётр, взглянув на женщину, стоявшую на кромке тротуара, комкая в руке платок. Она сделала нерешительное движение, как для рукопожатия, но сдержалась, продолжая комкать платок.

— Да, — ответил товарищ Томас. Снова наступило молчание.

— Утром у тебя в петлице был флажок, — зиметил товарищ Томас с чуть заметной улыбкой. Пётр покраснел:

— Я его подобрал на пляже. Из всех он самый симпатичный.

— Ты всегда был романтиком, — сказал товарищ Томас, — ну, нам пора.

Оставшись один на тротуаре, Пётр проводил их взглядом. Даже отдаляясь, спина товарища Томаса сохраняла квадратность и прямизну, ноги чётко двигались, а женщина, что-то взволнованно говоря, клонилась вперёд и в сторону, к своему спутнику, стараясь приспособиться к его шагу.

Пётр пересёк улицу и через вращающуюся дверь вошёл в ресторан. Играл оркестр. Он увидел толпу официантов в белых пиджаках на фоне зеркал в позолоченных рамах и множества пальм в кадках. На секунду он заколебался — видно, это дорогое заведение. Но отступать было поздно, да и наплевать ему. Официант проводил его к столику с цветами в вазе и с белыми салфетками на тарелках, похожими на остроконечные клоунские колпаки.

Он решил поесть в своё удовольствие, а мысли отложить на потом. Но от музыки и вина, которое, не спросясь, принёс в графине официант, он ещё сильнее почувствовал своё одиночество; и чем больше пил, тем всё более одиноким себя чувствовал. Отчего он всегда попадал впросак? Не помог ему флажок, и товарищ Томас ему больше не союзник. У Движения, видно, были серьёзные причины резко изменить тактику; и если завтра возникнет новая ситуация, будут такие же серьёзные причины изменить её снова; но то, что за этим стояло — великая мечта века — мертво, задушено их серьёзными причинами, и нечем было эту мечту заменить.

Оркестр играл нежную местную мелодию, официант принёс ещё вина к мясу. Вино было молодое и крепкое, словно с каменистых виноградников его родины, оно смягчало печаль, делало её не такой личной, придавало ей цвет и глубину. Может, была своя логика в том, чтобы всегда попадать между стульев? Кто же виноват, если у всех — сломаны сиденья или спинки, как у старых кресел на толкучке? Ты доверчиво садишься, и — трах — проваливаешься телом, душой и иллюзиями.

Он вспомнил дни, проведённые в тёмном трюме "Сперанцы". Только вчера он спрыгнул с её палубы, но, оглядываясь на те дни, он

признал: счастливое было время, когда он верил, что стоит ему ступить на благословенный порог консульства с известной эмблемой над входом, и всё будет в порядке. Как часто, лёжа на измазанных дёгтем канатах и жуя сухое печенье с инжиром, он мечтал об этом! Он ведь хочет за них драться, так пусть они о нём позаботятся. У вас нет документов, господин Славек? О, мы это уладим! Вы живёте в кабинке на пляже? Мы вас устроим — отведите молодого человека в казарму для иностранных добровольцев; он пришёл издалека, откуда-то с Балкан. Слушаюсь, сэр! Прошу сюда, дружище. Уж мы о вас позаботимся. Приятно встретить такого парня, как вы, узнать, как обширно наше братство, охватывающее все страны и народы.

Официант принёс на тарелочке счёт. Он составил половину его денег. Если ему хотя бы позволили немного посидеть в этой чудной, прохладной комнате, и, может, положить голову на стол и поспать. Но музыка стихла, все прочие столики, кроме одного, опустели, и на строгом, как всегда перед закрытием, лице официанта было написано: кончен бал.

Воздух снаружи был влажный. Проспект казался пустым и мрачным, пальмы ревниво охраняли святость сиесты. Идти по горячим ущельям улиц в это время дня значило нарушать неписаный закон. Голова была тяжёлой и тупой, шея стала тонкой и с трудом держала голову. Было три часа; ещё шесть часов бродить, пока он сможет забраться в свою кабинку.

Через десять минут тёмные круги у подмышек его пиджака появились снова. Он рассчитал, что если будет осторожен, его денег хватит на неделю-десять дней. Ему казалось, что голова его — как тяжёлый глобус на палочке. На правой пятке, возле шрама от ожога, лопнул волдырь, и он незаметно для себя захромал.

— Если не будет для вас новостей в течение месяца, — сказал г-н Вильсон, — приходите, поговорим.

часть вторая. НАСТОЯЩЕЕ.

Было три часа; очередь тянулась со второго этажа на первый и вдоль улицы до угла. Пётр собрался стать в конец очереди, как его кто-то тронул за плечо. Он оглянулся: это была доктор Болгар. Она стояло впереди него на четыре-пять человек, с книгой в руке, выделяясь белым жакетом и юбкой и возвышаясь над болтающей толпой. В эти пять недель после приезда он часто видел её на улицах, но каждый

раз переходил на другую сторону, избегая её так же, как он избегал товарища Томаса, мадам Телье и прочих знакомых.

— Привет, Петя, — окликнула она, называя его уменьшительным именем, — а ты не ошибся? Это же американское консульство. — Так как он молча пожал плечами, она прибавила, захлопнув книгу: — Становись рядом.

Она говорила через головы стоявших между ними людей. Восточного вида пара с подвижными, похожими на мордочки хорьков лицами, бурно запротестовала.

— Ай-яй-яй, — сказал, потрясая руками мужчина.

— Соблюдайте очередь! — сказала женщина.

— Мы все в одинаковом положении, — сказал мужчина.

— У всех — одна беда, — сказала женщина.

Доктор Болгар пожала плечами, оставила своё место и стала в конец очереди, рядом с Петром. Кое-кто в очереди с любопытством на них уставился. Пиджак Петра был застёгнут до верха, руки он держал в карманах, как будто было холодно. Казалось, его пошатывает. Он слабо улыбнулся, обнажив верхние зубы. Она взяла его под руку и слегка встряхнула:

— У тебя проблемы, Петя?

— Ну и что? — Она присмотрелась:

— Где ты живёшь?

— У меня такое чувство, что когда-то мне уже задавали этот вопрос. Но каждый раз его задаёт не тот, кто надо.

— Ты хочешь сказать, что это не моё дело? — Она говорила на их родном языке, на котором её голос звучал ещё мягче и мелодичнее. Так как он молчал, она повторила:

— Ты хочешь сказать, что это не моё дело?

— Да, это не твоё дело. А те, чьё это дело, меня не спрашивают.

Они молча двигались вместе с очередью, и она заметила, что он хромает. Помедлив, спросила:

— Как ты выбрался?

— Не так уж это было трудно. Я отбыл срок, когда началась война. Через несколько недель меня снова схватили. Доказать ничего не смогли и через год выпустили, надеясь использовать как приманку. Друзья нашли мне работу кочегара на пароходе, ходившем вниз по Дунаю. Остальное просто: два дня под товарным вагоном до Чёрного моря и две недели в трюме грузового судна "Сперанца" с уймой инжира для пропитания.

Очередь продвинулась и вынесла их к самым воротам.

— Чем хороши здешние очереди — так это тем, что двигаются они быстро, — сказала доктор Болгар, — и знаешь почему?

— Нет.

— Ты приходишь на почту: "Есть письма?" — "Нет, мадам. Следующий, пожалуйста". Приходишь в консульство: "Виза прибыла?" — "Нет, мадам. Следующий, пожалуйста". В транспортное агентство: "Есть места?" — "Нет, мадам. Следующий, пожалуйста". Быстро и просто. Над Европой — жёлтый флаг, а мы все — в чумном карантине.

Пётр окинул её быстрым, холодным взглядом: чистейшее, хрустящее полотно костюма, сумку, чулки, туфли — как сержант, осматривающий новобранца на параде.

— Что ты говоришь? Не поверю, что **ты** не получаешь столько писем, виз и мест, сколько тебе хочется.

Они подошли к лестнице. Доктор Болгар снова взяла его под руку и не отпускала. Она мягко ответила:

— Ладно, Пётр. Я ведь не претендую на роль мученицы. А теперь скажи, почему ты изменил намерение?

— Ничего я не изменил.

— Я слышала, ты собирался воевать.

— Я и сейчас собираюсь.

— Но Америка не воюет, а это консульство американское.

— Говорят, надо, на всякий случай, и здесь попытаться.

— На какой же случай?

— На всякий.

— На тот случай, если тебя не захотят? Если им не понадобятся вояки вроде тебя? Если их понятия о войне не совпадут с твоими?

Они дошли до площадки между этажами. Всего десяток человек отделял их от заветного святилища. Пётр прислонился к перилам, придерживая поднятый воротник пиджака.

— Слушай, Соня, — сказал он, — мне безразлично твоё мнение и мнение моих бывших товарищей. Мне безразлично даже то, хотят ли меня на этом их острове. Я служу определённому делу и собираюсь быть верным ему несмотря ни на что. *Несмотря*, а не *из-за*. Ты понимаешь? Это вроде брака: влюбляются из-за чего-то, а продолжают жить *несмотря*. Так что не трать усилий на споры.

Он говорил слегка лихорадочно. Она рассматривала его, пробегая взглядом от глаз к губам и обратно.

— Пётр, — сказала она, помолчав, — я поняла, что с тобой. У тебя не просто проблемы, ты голодный.

Не успел Пётр ответить, как дверь консульства открылась. Швейцара не было. Большая комната с выходом прямо на площадку,

выглядела как новейшего образца транспортное агентство с длинной полированной стойкой во всю ширину комнаты. Вдоль стойки очередь шла в один ряд и обслуживалась по принципу конвейера. Лица у людей в очереди были серьёзные и растерянные, как в церкви. Отправляли службу за стойкой молодой человек и девушка. Со строгими, бесстрастными лицами они исповедывали паломников, просматривая картотеки и книги судеб. Девушка в роговых очках — темноволосая, полная, некрасивая. Молодой человек — худой, белокурый, анемичный. Оба знали почти всю свою паству по именам. Люди приходили каждый день, больше им нечего было делать.

Подошла очередь пожилой пары восточного типа. Теперь они не жестикулировали, были серьёзны, вели себя прилично, приблизились мелкими шажками, вежливо кланяясь девушке в роговых очках.

— Господин Абрамович? Пока ничего. Следующий, пожалуйста, — сказала девица.

Господин Абрамович поднял брови и развёл руками, как бы отмечая, что для него это — полная неожиданность, что у него были все основания ожидать, что разрешение придёт сегодня, и что только непредвиденная административная ошибка могла вызвать задержку.

— Госпожа Абрамович? Пока ничего. Следующий, пожалуйста.

Маленькая женщина попыталась возразить. Их транзитная виза истекла, объяснила она, их могут в любой момент арестовать, посадить в тюрьму и выслать туда, откуда они приехали.

— Пожалуйста, — сказала строгим тоном девица, — пожалуйста, поймите, что вы не должны с нами спорить.

Очки увеличивали её глаза и ресницы до гигантских размеров. Под их стеклянным взглядом госпожа Абрамович чувствовала, что ведёт себя очень дурно. В то же время она ощущала странный покой. Ей хотелось бы провести, забившись в угол, весь день в этом сияющем убежище, где с человеком не может случиться никакого безобразия. Вздохнув, она вышла мелкими, суетливыми шажками.

Анемичный молодой человек обратил тем временем внимание на Соню. — Доктор Соня Болгар, — сказал он. — Да. — Получены положительные отзывы. Консул вас примет в ближайшие дни. Следующий, пожалуйста.

Следующим, однако, был пожилой господин с воротничком священнослужителя. Пока Соня говорила с молодым человеком, Пётр ушёл из очереди и выскользнул из комнаты. Доктор Болгар с несвойственной ей живостью поспешила вниз по лестнице. В воротах она увидела Петра и за углом догнала. Взяла под руку и сказала, переводя дыхание:

— На этот раз ты не уйдёшь, глупый. Ты пойдёшь и попьёшь со мной чаю.

Пётр не ответил. Теплота и мягкость женского прикосновения вызвали в нём давно не испытанное чувство покоя и защищённости. Соня была другом его матери; он помнил её у них в гостиной под хрустальной люстрой с чашкой чая на внушительной ляжке.

— Теперь скажи мне, когда ты приехал.

— Когда? — переспросил Пётр, — около пять недель назад.

— И спишь на скамьях в парках, я полагаю?

Он устало улыбнулся: — Бродяги больше не спят на скамейках и в парках, полицейские тут же их схватили бы.

— Где же ты всё-таки жил всё это время?

— Я нашёл на пляже купальную кабинку, где можно спать.

Они прошли площадь, почту и улицу с модными лавками. Свернули в тихий чистенький переулок с белыми аккуратными коттеджами.

— Проблема в том, — прибавил он с нарочитой небрежностью, — что в полнолуние люди купаются допоздна. А рано утром надо убираться. Утомительно целый день скитаться.

— И так ты провёл все пять недель?

Пётр не ответил.

— Пётр, — спросила Соня, — когда ты в последний раз ел горячую пищу?

Пётр снова улыбнулся, его рассмешило слово "горячая".

— Вчера.

— Ты лжёшь, — сказала Соня и,свернув на посыпанную песком дорожку, высвободила руку и вытянула ключ из сумки. — Вот мы и пришли.

2.

У доктора Болгар был дар — находить в любом городе, где бы она ни жила, определённого типа меблированные комнаты, в которых себя сразу чувствуешь как дома. Комната, где сейчас жил Пётр, была обставлена в той приятной, практичной и банальной манере, превратившейся в международную, которая предназначалась для обитателей многоквартирных домов с центральным отоплением, спящих на диванах, а не на кроватях. В квартире было ещё две комнаты: одна — спальня, другая — с французским окном, выходящим в сад, служила гостиной.

Люди заходили в любое время — утром, днём, вечером. Говорили об угрозе оккупации, постоянно висевшей над Нейтралией, о

консульствах и комитетах, о родных в *земле Обетованной* и родных, застрявших в завоёванных странах. Как колония белых на чёрном континенте, они выработали свой жаргон, свои обычаи, свои интриги и предрассудки. Все они бежали от прошлого и стремились к некоему безопасному берегу в будущем. Настоящее, в котором они жили, было нейтральной территорией. Возможно, именно это придавало им призрачный, нереальный вид. Они проехали через десяток европейских стран, ни разу не глянув в окно. Их зрение было обращено внутрь, как у слепых на воскресной прогулке.

В них было что-то непрактичное — не потому, что они были вырваны из своего прошлого, а потому, что они тащили его за собой. Прижимаясь друг к другу в бесконечных очередях или в кафе на Площади, они напоминали пыльные комнатные цветы на рынке, с обнажёнными корнями, ещё не стряхнувшими комья почвы: в какую землю их высадят?

Они приходили к Соне под разными предлогами — за советом или просто поболтать. Возможно, Соня привлекала их тем, что она, единственная из них, была прочно устроена в настоящем. Все они жили в гостиницах и пансионах, а у неё была своя квартира; уже это представлялось чудом, чем-то устойчивым, вроде плота среди брёвен, сброшенных для сплава по реке.

— Мне тошно от их болтовни о будущем, — сказала она однажды за обедом Петру, — это для них, как наркотик. Те, кто к нему привык, мертвы. Проблема в том, чтобы настоящее сделать самодостаточным, оградить его протекционистскими тарифами.

Пётр пытался ей объяснить, что она говорит вздор. Она чистила банан и глядела на него через стол.

— Послушай, Петя, — сказала она, откусив кусок банана и медленно, с томно чувственным выражением лица, пережёвывая его, — этот кусок у меня во рту реальнее любого будущего.

Пётр пожал плечами; он перестал с ней спорить. Но среди всех призраков она-то была реальной, с обилием крепкой, тёплой плоти. Космополит по натуре и воспитанию, она всюду чувствовала себя как дома.

— Таких, как я, — сказала она Петру, — называют лишёнными корней. А мы просто как растения с воздушными корнями. При этом мы не хуже других питаемся и устойчивы не меньше других. — И необыкновенная лёгкость, с какой она несла своё крупное тело, казалось, подтверждала её слова.

Другой причиной, почему к ней тянулись люди, была её профессия. Она специализировалась в той области исповедальной психологии и препарирования снов, которая делает тайное явным, а явное

окружает ореолом тайны. Несмотря на небрежную и сонную манеру, а может и благодаря ей, ореол этот её окружал всегда. Как крестьяне к деревенскому священнику, тянулись к ней беженцы за советами во всём, что касалось их забот, от самых потаённых и серьёзных, до пустяков. Во время бесед с ней они смущались, казалось, они мнут на коленях невидимую шляпу. Они ждали откровений, внезапного раскрытия тайны или иного вмешательства неведомых сил, воплощённых в виде печати в их паспортах. Того, за чем пришли, они никогда не получали, но уходя, ощущали душевный подъём и встряску. Их не смущало даже то, что в своей профессии она не считалась с политическими соображениями. Среди её пациентов был Бернард, белокурый нервный молодой человек, сотрудник вражеской миссии в городе. Пётр его встретил однажды в дверях квартиры и с особенно неприятным чувством отметил вежливую ироническую улыбку. В другой раз он видел Бернарда с Соней в кафе. Это шокировало людей, но потока её гостей не уменьшало. Соне гости наскучили, но она этого не показывала, с добродушной покорностью она несла ореол своей профессии, приставший к ней, как запах антисептика к зубному врачу или духов — к проститутке.

Пётр не понимал, почему она взяла его к себе жить. Он знал, что филантропия ей чужда. Сначала он подумал, что у неё есть на него виды, но в её обращении с ним была фамильярность, лишённая всякой игривости. В жару она надевала за обедом просторный китайский халат с узорами из птиц и цветов, и её обильная плоть дышала свежестью хорошего туалетного мыла. Однажды, в пышущий жаром час сиесты, после обеда, за которым они выпили больше, чем обычно, крепкого молодого местного вина, она сказала, лениво потягиваясь на кушетке и закинув руки за голову, словно сладострастная Юнона, отдыхающая на ложе из облаков:

— Помнишь, Петя, что говорила своим любовникам Екатерина Великая: "Мой друг, у меня было больше десяти тысяч мужчин, но когда доходит до сути, поверь — разница между вами ничтожна..."

Пётр подозревал, что у Сони было не меньше любовников, чем у Екатерины Великой; в злую минуту он представлял, зачарованно вздрагивая, её бёдра в виде насекомоядного цветка, прихлопывающего и поглощающего свои жертвы.

Как бы то ни было, не это или не одно это заставило её бежать за Петром, когда он ретировался из консульства. Возможно, поступок этот имел отношение к её теории воздушных корней, и она обнаружила их у Петра... — Ты — чокнутый, Петя, — сказала она ему в другой раз, — но ты — *реален*, почти так же реален, как я. Во всяком случае, чем дольше ты здесь живёшь, тем реальнее становишься.

Он пожал плечами. Если Соня нашла между ними что-то общее, это её дело. Его пребывание в квартире было основано на практических соображениях. Своим гостям доктор Болгар представила его как юного компатриота, с родителями которого она дружила. С матерью Петра она была даже в отдалённом родстве. То, что Пётр у неё жил, было вполне естественно. И хотя об их отношениях поползли обычные сплетни, но это были лишь завитушки к респектабельной вывеске.

В самом деле, с его стороны было бы самоубийством и глупостью отказаться от гостеприимства Сони и от предложенной ему ссуды на покупку костюма, нескольких рубашек и носков. Соня связала его с организацией, помогающей политическим эмигрантам, там обещали ему сумму, которая позволила бы вернуть долг. Совесть его была совершенно чиста. Он ждал отправки на войну, и в этих обстоятельствах выбора у него не было.

С его первой встречи с господином Вильсоном прошло шесть недель. Дважды в неделю он приходил и спрашивал, есть ли новости, ему отвечали: пока новостей нет. Остальное время, до встречи с Соней, он проводил, бродя по улицам или сидя в церквах и парках, всё время опасаясь уснуть и попасть в полицию. Сначала он жил на хлебе, фруктах и сыре, потом отказался от фруктов и, наконец, существовал хлебом единым; но проблема была в том, что хлеб продавали только буханками, которые приходилось повсюду с собой таскать, завернув в газету. Каждой буханки должно было хватить на четыре дня, из расчёта, что прожить надо месяц.

Ровно через четыре недели он пришёл к Вильсону во второй раз. К тому времени он так опустился, что не заметить этого было нельзя. Рубашка на нём истлела. Пиджак пришлось застегнуть до самого верха под нелепым предлогом, что он простужен. В глазах стояло тусклое выражение, свойственное затравленным и голодным. Господин Вильсон принял его с тем же мягким и огорчённым видом, что и в первый раз; казалось, он не заметил перемен во внешности своего визитёра, вежливо протянув три действующих пальца правой руки через стол. В присутствии Петра он продиктовал своему секретарю письмо, прося власти в стране ускорить решение. Он также предложил Петру сигарету и повторил свой совет — обратиться "на всякий случай" в американское консульство.

В этом месте Пётр, борясь с гипнотическим влиянием кожаного кресла, спросил, не значит ли этот совет, что его просьба отвергнута, но господин Вильсон его весьма энергично разуверил. Решение по его делу, сказал он, может занять много времени, но всегда приходит определённый ответ: "да" или "нет". И пока не получено "нет", можно надеяться на лучшее.

После этого Пётр подождал ещё неделю, и дважды получив в информационном окошке ответ: "Нет ещё, господин Славек", — решил, наконец, послушаться совета господина Вильсона и стать в очередь в американское консульство. Соню он встретил в первое же посещение консульства и бежал оттуда в порыве стыда и отвращения. В кармане у него оставалось денег всего на три буханки хлеба.

Да, совесть его чиста. Он сделал всё, чтобы попасть на войну. Его не приняли, но и окончательно не отвергли; надежда оставалась. Приходилось ждать и набираться сил. Волдыри зажили, новый костюм сидел отлично, силы быстро возвращались. Растянувшись ночью между прохладными простынями, он с тихим удовольствием ощущал, даже во сне, опрятность комнаты, тёмный силуэт дерева в оконной раме, хрустящую чистоту пижамы и подушек. Он много ел, подолгу спал и чувствовал, как притекали силы в истощённые ткани тела, словно подымающийся по дереву сок. В самом деле, он не мог припомнить времени, когда бы так полно жил в настоящем. Иногда это пульсирующее ощущение своего тела становилось таким острым, что он ощущал не только стук сердца, но и биение крови в кончиках пальцев и её очищение во влажных лёгочных тканях.

Он исправно ходил дважды в неделю в консульство. Входя в дверь под флагом, он каждый раз испытывал торжественное чувство. Но вновь уходя со звенящим в ушах, как отпущение грехов, "всё ещё нет ответа", — он вздыхал со смешанным чувством досады и облегчения и, морально подкрепившись строгим соблюдением ритуала, выходил из дверей, не спеша поднимался по крутой узкой улице и, оставив позади прошлое и будущее, возвращался с чистой совестью сквозь жидкий лунный свет в настоящее.

3.

Одетт, молодая француженка с мальчишескими губами, была из самых частых гостей Сони. Иногда она приходила к чаю, чаще всего после обеда, когда были и другие люди. Обычно она усаживалась в углу кушетки, поджав ноги и прижавшись спиной к стене, смотрела невидящим взглядом и редко вмешивалась в разговор. Казалось, она оживляется только говоря с Соней; поток жизненных сил словно вливался в неё и она становилась одушевлённой, живой. Ко всем прочим она проявляла полное равнодушие.

Как рассказала Соня, жених Одетт, офицер-резервист, был убит во время разгрома французской армии. До войны он был киноактёром, и Пётр даже два раза видел его в фильмах; обычно он играл во французских комедиях светских и несколько женственных молодых лю-

дей. Родители Одетт были разведены; она жила с отцом — старым, больным, довольно известным учёным. Во время эвакуации они бежали на машине и, пока она вела машину, он, сидя рядом, умер от потери сил. Сейчас она едет в Америку к матери.

Это всё, что Соня рассказала ему об Одетт после того, как он её встретил в квартире. Почему-то ни Соня, ни Пётр больше никогда об Одетт не говорили. Если она приходила к чаю и других гостей не было, Пётр обычно под каким-нибудь предлогом уходил. Его не задерживали, и ему бывало довольно неприятно представлять, закрывая за собой дверь, как они обе на секунду провожают его взглядом, а затем обращают внимание друг на друга, не говоря о нём ни слова. А может, они и говорили о нём. Обе мысли были Петру одинаково неприятны.

Зато во время послеобеденных сборищ в гостиной, когда гости разваливались на диванах и креслах, куря, болтая и попивая холодные напитки, он всегда старался найти такое место, откуда мог бы смотреть на Одетт в своё удовольствие. Она любила обтягивающие свитера вроде того, в каком Пётр впервые увидел её на террасе кафе. Когда они встретились в квартире Сони, она спросила его с обычной иронической улыбкой:

— А где флажок, который был у вас в петлице?

Он что-то пробормотал и протянул ей охлаждённый напиток. Это оказался оранжад. Он тут же вспомнил, как бросил ей через стол апельсин, и увидел по её лицу, что и она о том же подумала; но они об этом не заговорили. Казалось, сцена с апельсином и для неё имела особое значение, но Пётр не был в этом уверен. Он чувствовал, что между углом кушетки и его стулом создаётся магнитное поле, нарушаемое присутствием Сони. Он знал, что Одетт, даже не проявляя к нему внимания, ощущает его присутствие, но сомневался, что она знает то, что знает он. Одно было ясно: Соня об этом знает всё, и даже больше, чем он сам.

Его новое ощущение настоящего стало ещё интенсивней. После их второй или третьей встречи он мог мысленно представить колено Одетт, сидевшей, свернувшись, в своём углу, линии её джемпера, трещины на губах. Ему казалось, что желание, которое он чувствовал при их первой встрече, растворилось в жгучей покровительственной нежности. Всё, чего бы он хотел — это сидеть с ней рядом на кушетке и гладить её волосы, но это желание было так сильно, что он способен был применить силу, бить и крушить, лишь бы иметь право гладить её и чувствовать, как доверчиво бьётся жилка у неё на шее, словно птенец в ладони.

Он никогда не говорил с нею наедине. Раза два видел её на улице, но она лишь кивала, отчуждённая и строгая, не давая повода к

ней подойти. Порой его желание было так невыносимо, что он часами ходил по проспекту в надежде встретить Одетт, — с тем же упорством, с каким прежде он избегал центра города из страха, что она увидит его в доверху застёгнутом пиджаке. Он пытался выяснить, только ли с ним ведёт она себя так резко или и с другими тоже. Если справедливо первое — это хороший признак, предполагавший особое отношение, пусть и отрицательное, даже и неприязненное. Но отдельные наблюдения не складывались в цельную картину, а выводы менялись со дня на день. Он пытался также представить, что она думает о его обитании у Сони; есть ли у неё подозрения, и если есть, как она реагирует: с любопытством, с отвращением или ревнует? Но если она ревнует, то к кому именно? И этот вопрос вёл к другому — тягостному и двусмысленному вопросу — об отношениях Одетт с Соней. Это занимало его, как шахматная задача, все варианты которой необходимо просчитать, как задача, захватившая его мозг целиком, ставшая манией. Чем-то это напомнило ему прошлое, а именно — его состояние при вступлении в Движение и совсем недавно — когда он с ним порвал. Тогда также, утратив душевное равновесие, он был одержим желанием решить некую проблему. Движение приучило его объяснять эмоции логически, создавать из страстей геометрические схемы. С чувством унижения и стыда вспоминал он те дни, когда жил в состоянии, близком к опьянению, с той разницей, что треугольники эвклидовой лихорадки складывались тогда из исторических сил, из борьбы классов и народов. Счастливое время, полное смысла и деятельности, но как далеко оно сейчас. Оно принадлежит даже не прошлому, а давно прошедшему. Никогда оно не было настоящим, а лишь проекцией будущего и прошедшего. Лихорадочное, но бесцветное, как мир в представлении физика. Может, Соня права, и только те, кто живут настоящим, действительно живы; лишь настоящее имеет цвет, запах и вкус. При виде Одетт он чувствовал, что в воздухе стало больше кислорода. Ему казалось, что прежде он, сам того не замечая, жил в состоянии удушья.

4.

Соня ушла обедать с друзьями, и Пётр остался один в квартире.

Он только что вернулся из американского консульства. Это был его третий визит туда. С господином Вильсоном дело явно не продвигалось, а слухи о возможном вторжении становились всё зловещее. Было бы безумием не попытаться обеспечить себе тыл — на всякий случай. Американские родственники, запрошенные по наущению Сони, неожиданно согласились поручиться за Петра, даже прислали денег и

нашли работу. Им принадлежало туристическое бюро, специализирующееся на экскурсиях для учёных и студентов. Если бы не война, предложение было бы довольно соблазнительным. Таким образом, в последние полмесяца Пётр проводил по четыре мероприятия в неделю вместо двух: по два благочестивых визита в здание с гербом над дверью и по два нечестивых — в американское консульство.

Хорошо быть одному в квартире. Он принял душ, закрыл ставни от яркого полуденного света и читал, лёжа на кушетке, дневник пилота тех самых военно-воздушных сил, куда он так стремился. Книга была замечательна тем, что рассказывала о великом мужестве и самопожертвовании совсем просто, даже буднично, без всяких вдохновляющих идей. Пётр был так захвачен этим парадоксом, что даже забыл об Одетт. Вдруг раздался звонок в дверь. Заложив пальцем книгу, он открыл дверь и столкнулся с ней лицом к лицу. Она стояла в ярком свете на пороге в белом джемпере с короткими рукавами и чертила носком туфли линии на песке.

— Соня дома? — спросила она.

— Нет,— ответил он. — Не зайдёте ли выпить чего-нибудь холодного?

На секунду она поколебалась, затем, пожав плечами, вошла в гостиную и села на своё любимое место в углу кушетки. Она смотрела, как он достаёт из холодильника лёд и наливает сок.

— Похоже, вы всегда стараетесь меня накормить или напоить, — сказала она.

Он дал ей стакан и сел у её ног. Если бы он знал, что она придёт, он бы сейчас был в смятении и обливался от волнения потом, каждое движение и слово были бы заранее тщательно взвешены. Но так как по невероятно счастливой случайности она упала с неба, когда он о ней даже не думал, он чувствовал себя радостно и свободно, просто блаженствуя.

Она взглянула их своего угла на него, распластанного перед ней, как большой верный пёс.

— Почему вы всегда стараетесь меня накормить? — повторила она.

— Потому что вы мне нравитесь, — ответил он.

— Вы — забавное существо, если всё, что о вас говорят — правда. — Её светлые глаза, улыбаясь, встретились на мгновение с его взглядом, затем снова стали безучастными. — Ну, мне пора.

— Не уходите, — быстро сказал он, — подождите Соню, — и в панике прибавил: — Она не вернётся до обеда.

Она засмеялась:

— Вы — тонкий дипломат!

— Пожалуйста, не уходите, — повторил он, немного успокоившись, потому что она пока ещё не двинулась с места. — Я заведу вам граммофон. Я начну умный разговор. Я дам вам замороженного вина с чаем.

Она снова засмеялась:

— Вы хотите меня соблазнить?

Он смотрел на неё отчаянно и преданно, пробегая взглядом от знакомого изгиба её губ до пушка на коже её согнутого локтя, упираясь подбородком в край кушетки и приблизив лицо к её колену.

— Послушай, Одетт, — вдруг выпалил он, — ты ведь знаешь, что я тебя люблю, правда? Ты должна была это знать все эти вечера, сидя, где ты сидишь сейчас, и никогда на меня не глядя...

— Перестаньте. — Она резко выпрямилась, и улыбка ушла из её голоса. — Я отвечу на ваш вопрос. Мне осточертело, что вы на меня всё время пялитесь. С первого раза, когда я увидела вас с вашим смешным флажком, я увидела, что вы так же изголодались по женщине, как и по еде. Может, вы считаете, что это мне льстит? Теперь, надеюсь, мы закончим эту мелодраму, и вы меня отпустите.

Она соскользнула с кушетки и поискала глазами сумку. Он был слишком ошеломлён, чтобы ей помешать. Он даже не встал, а только повернул голову и смотрел, как она шла к двери, в таком глубоком отчаянии, какого не испытывал никогда. "До свидания", сказала она, открыв дверь и не обернувшись. Дверь скрипнула. Знакомый звук вывел его из оцепенения и он понял, что через секунду она уйдёт, а он останется безнадёжно один. Он вскочил на ноги, бросился к двери и настиг её в холле. "Ради Бога, не уходи", выдохнул он, и, словно дверь была смертельной ловушкой, а ей угрожало в неё попасть, прижал её к себе, словно защищая, и захлопнул дверь ногой.

— Ты сошёл с ума? — прошипела она, яростно вырываясь. От её сопротивления его объятие сжималось, как петля аркана.

— Но разве ты не понимаешь, — задыхался он, — если ты уйдёшь, ты никогда не вернёшься! — Теперь ей действительно показалось, что он сошёл с ума, а он крепко прижимал её к себе, будто им обоим угрожала ужасная опасность, и нельзя спастись.

Секунду они стояли неподвижно, парализованные ощущением полной нереальности происходящего. Затем он стал постепенно приходить в себя и через секунду очнулся бы и опустил руки с чувством смущения и стыда, но в эту самую минуту она начала с удвоенной яростью бороться, и это заставило его усилить хватку. — Ради Бога, послушай, — задыхался он, напуганный больше, чем она, — я только хотел...

— Пусти меня! Пусти или я закричу!..

Она отчаянно сопротивлялась, колотя по его груди кулаками. Если бы она хоть на секунду успокоилась, то поняла бы, что ему от неё ничего не надо. Её волосы пахли сухим мхом, растущим в расщелинах горячих от солнца скал. Она откинулась назад, пытаясь освободить руки, чтобы бить его и царапать, но только тесней прижимала к нему своё мягкое и горячее тело, вызывая в нём пожар, словно они стояли в горящем кусте. Если бы она успокоилась, выслушала... Но вместо этого своей отчаянной борьбой она заставляла его уводить её всё дальше от двери. Его губы бормотали бессвязные слова, рассчитанные на то, чтобы успокоить; но уже было поздно — пламя вспыхнуло, обволакивая его своим горячим облаком и запахом её волос. Ничего не видя, он упал, споткнувшись о кушетку, тем же каким-то замедленным, вневременным падением, как при прыжке с палубы "Сперанцы" в ночное море, ушибаясь коленом о её ноги, чувствуя, как они подаются, и через секунду всё её тело обмякло, голова медленно повернулась к стене, а лицо зарылось в подушку. Едва он, наконец, осознал, что не во сне он ею обладает, как это уже кончилось, и остался лишь пьяный аромат горячего, сухого мха на выжженных скалах...

Она лежала, отвернувшись к стене, со странно закинутой головой, словно кукла со сломанной шеей. И он, наконец, мог гладить её волосы, мягко, нежно, как ему всегда хотелось. Вдруг он понял, что она плачет, её плечи вздрагивали от бесслёзных и беззвучных рыданий. Продолжая ласкать её волосы и плечи, он пробормотал:

— Видишь, ты не хотела меня слушать.

Внезапно она напряглась и перестала всхлипывать:

— Что ты сказал?

— Я сказал, что я только хотел, чтобы ты не уходила и позволила мне гладить твои волосы, дать тебе выпить чего-нибудь холодного. Правда.

Её плечи затряслись от нервного смеха:

— Ей Богу, большего психа я не видела.

— Ты на меня сердишься? Не сердись, я не нарочно.

Она подобрала колени, отодвинувшись от него, и свернулась у стенки.

— Оставь меня. Пожалуйста, отойди и оставь меня ненадолго в покое.

Она снова заплакала, на этот раз тише. Он соскользнул с кушетки, сел на корточки на ковре, как прежде, и взял её руку, вяло лежащую на подушке, неподвижную, влажную, горячую, как от лихорадки.

— Ты знаешь, — сказал он, ободрённый тем, что она не отдёрнула руку, — когда я был маленький, у нас был чёрный котёнок, с которым я всегда хотел играть, но он слишком пугался и всегда убегал.

Однажды я разными хитростями заманил его в детскую, но он спрятался под шкафом и не выходил. Тогда я отодвинул шкаф от стены и злился на него всё больше и больше, потому что он не давал мне себя гладить. Он спрятался под стол, и я опрокинул стол и разбил две картины на стене, гоняясь за котёнком со стулом по всей комнате. Тут вошла мать и спросила, чем я занимаюсь, и я сказал ей, что я только хотел приласкать этого глупого котёнка, за что получил ужасную взбучку. Но я сказал правду.

Он тихо засмеялся, отметив с радостным облегчением, что её плечи больше не дрожат, а горячие пальцы в его руке, хотя и безответны по-прежнему, но стали живее.

— Господи, ты ненормальный. И надо же мне было сегодня прийти!

— Ты знаешь, — продолжал он, — я совсем не уверен, что ты не перестанешь об этом жалеть, хотя сейчас ты на меня злишься. В наше время часто так начинают — то есть, с конца. В старину людям приходилось ждать годы, прежде, чем отправиться в постель, и тогда выяснялось, что они вовсе друг другу не нравятся, что их обманули их желания. Если начать с другого конца, не понадобится так долго выяснять, надо ли тебе это.

Она всё ещё лежала к нему спиной.

— Это и есть обещанный умный разговор? Теперь, я полагаю, очередь за граммофоном!

— Одетт, — взмолился он, сжимая её пальцы, — не сердись. Я сделаю всё, что ты захочешь, я уйду и...

— Ах, перестань, — сказала она нетерпеливо, одним движением повернувшись и усаживаясь на диване. Её лицо округлилось и припухло, как у ребёнка с повышенной температурой — со вздутыми губами, горячими щеками, с отпечатком подушки на правой щеке.

— Ладно, прекрати стонать, — повторила она. — Всё это разговоры, да и сама я тоже виновата, хотя, видит Бог, и невольно. Дай мне сумку.

Он вскочил, дал ей сумку и сел с ней рядом на кушетку. Она достала зеркало и занялась своим лицом, слегка опираясь на его плечо. Он поймал её взгляд в зеркальце и заметил в нём лёгкую улыбку, ироничную, как всегда, но не такую безличную. Она закрыла сумку, отодвинула её и снова легла расслабившись.

— Что ж, — сказала она, как бы думая вслух, — может, ты и вправду довольно симпатичный именно потому, что совершенно чокнутый, хотя чёрт меня возьми, если ты мне нравишься.

Она улыбнулась и,помолчав,добавила:

— Это всё проклятое "Почему бы и нет". Ты понимаешь, что я имею в виду? — спросила она, внезапно садясь и глядя на него с любопытством.

— Не очень, — ответил он. Она снова легла, улыбаясь озорной улыбкой.

— Да уж, конечно, ты не понимаешь. Видишь ли, если достаточно долго донимать женщину, действовать ей на нервы и изматывать её, наступает момент, когда она внезапно чувствует, как нелепа вся эта борьба, размахивание руками и весь этот шум из ничего. И в этот момент она думает — вернее, где-то внутри неё возникает мысль: "А почему бы и нет?" Ты, наверное, думаешь: "Какой я неотразимый соблазнитель!" А на самом деле ты просто довёл женщину до точки, когда она говорит: "А почему бы и нет?"

Пётр молчал. Он чувствовал лёгкое прикосновение её колена к своему и не смел шевельнуться, чтобы это не прекратилось. Немного погодя он робко спросил:

— Так сильно я тебе не нравлюсь?

Она не сразу ответила, взяла его руку, рассеянно поиграла с ней и отпустила. Затем задумчиво сказала:

— Не знаю. Во всяком случае, ты мне не противен, а это уже что-то. Как подумаешь, — добавила она с озорной улыбкой, — это много, учитывая...

Внезапно она снова села и посмотрела на него удивлённо:

— Ты знаешь, мне казалось... я думала, что не смогу вынести прикосновения мужчины, а оказывается...

Её глаз были широко открыты, она смотрела на него, словно увидев впервые. "Странно", сказала она, наконец.

Она выглядела озадаченной, её губы слегка раскрылись. Нагнувшись ближе к неё — а она не шевельнулась — он был поражён незнакомым ему по-детски милым выражением её лица. Медленно, слепо, слыша шум в ушах, он склонился ближе, целуя её в губы, чувствуя, как они слабо шевельнулись от его касания, а рука её слегка обвила его шею. Они снова заскользили вниз, и он услышал её насмешливыё голос:

— А почему бы и нет? — Затем, слегка задохнувшись, она прибавила: — Только не делай мне на этот раз больно.

5.

Одетт снимала комнату в старой части города, на холме. Это была чистенькая комната с побелёнными стенами. Окно выходило во двор с тёмными кипарисами, которые стояли так близко, что можно бы-

ло достать рукой ветку, взять иголки и пожевать. Комната, похожая на келью — с узкой железной койкой, умывальником, шаткой полкой, простым сосновым столом и стулом. На стене висел календарь с изображениями святых, над умывальником — мутное зеркало.

Сама комната была для Петра источником захватывающего дух очарования. По контрасту с её аскетической, монастырской суровостью, все принадлежавшие Одетт вещи — губка на умывальнике, чулок на стуле — особенно волновали. Всё в этой комнате, даже пустые белые стены, напоминало о живущей здесь молодой женщине, как жёсткий каркас кринолина напоминает о молодом теле танцовщицы. Это была *чуткая* комната. Букетик цветов в стакане для полосканья зубов озарял комнату, как зажжённая в темноте спичка. Эхо слов и шёпота, казалось, звучало в ней ещё долго после того, как замирал звук. Ничто из сказанного и сделанного, даже тайные образы, возникавшие в сознании, не исчезали совсем, оставаясь среди молчащих стен. Комната не терпела лжи и полуправды, стряхивая их, как штукатурку со стен. Это была голая, нескладная комната, без тайников, где можно спрятаться душе и телу. Её чистота не допускала двусмысленности, недомолвок или стыда. Не допускала ни сравнений с прошлым, ни мыслей о будущем. Белая и унылая, но живая, как раковина с заключённой в ней хрупкой жизнью — она ревниво берегла настоящее.

Они выходили из комнаты обычно к вечеру, щуря глаза. Горели огни. Толпа лениво фланировала по проспекту под театрально освещёнными пальмами, задерживаясь перед кафе и у газетных стендов, читая военную хронику с недоверчивым интересом, как новости с другой планеты. Пётр и Одетт смешивались с толпой в самой гуще. Они чувствовали себя неуверенно, как выздоравливающие, впервые выйдя на прогулку, жадные до шума и суеты жизни. Они покупали вечерние газеты, чтобы пробежать заголовки, останавливались у входа в кино — посмотреть на фотографии за стеклом, сидели на террасе своего любимого кафе, глядя, как жёлтый абсент в стаканах мутнеет вокруг кусочков льда и чувствуя, как к голове медленно поднимается алкоголь, словно цветной дым бенгальских огней. Обнаружив, как сильно они голодны, они спешили по проспекту вниз к гавани и ели в саду таверны моллюсков и дешёвых раков, запивая крепким местным вином, которое называлось *зелёным*, под благосклонным взглядом небритого хозяина.

Как-то вечером Одетт, глотая устрицу, заметила, что Пётр смотрит на неё с необычным блеском в глазах. Он уже несколько минут молчал и даже забыл о еде.

— Что с тобой? — спросила она, приблизив к нему через стол лицо.

— Ничего, — ответил Пётр, — мне нравится смотреть, как ты ешь. Мне нравятся сложные движения твоих губ и зубов. Мне нравится в тебе всё. Мне нравится кончик твоего языка, украдкой мелькающий между губ. Я люблю твои дёсны. Мне бы хотелось ощутить вкус вина у тебя во рту. Мне бы хотелось опьянеть от твоей прозрачной слюны.

— Господи, ну и псих! — мягко сказала Одетт. Она поставила локти на стол, положила лицо на ладони. У неё была привычка смотреть на его губы, а не в глаза, слегка кося от близости его лица.

— Знаешь, Петя, ты мне очень симпатичен, но не воображай, что я в тебя влюблена. Во всяком случае, не так, как ты в меня.

Пётр допил вино.

— Ничего, — сказал он, — может, так даже лучше. Чем больше товара, тем ниже цена. Это закон, и никуда от него не денешься. Одна чаша весов всегда идёт вверх, а другая вниз. Но я только рад бросить всё на одну чашу.

— Но это больше, чем обычно требуется.

— Ничего, — сказал Пётр, наполняя стакан, — давай напьёмся.

Они молчали. Сад почти опустел, слабо освещённый китайскими фонариками, развешенными на проволоке среди пальм. Хозяин принёс ещё вина. Далеко в море жалобно, словно раненое животное, заревел пароход.

6.

Через несколько дней Пётр решил уйти от Сони. Ему было бы трудно объяснить своё решение. Между ними не было ничего, что дало бы Соне право ревновать — ничего, кроме смутной неопределимой двусмысленности. Что до отношений Одетт и Сони — то они также были двусмысленны и более тревожны. Но, может, главной причиной было то, что от Сони нельзя было ничего скрыть; она ни в чём не обвиняла, всё знала, и взгляд её насмешливых, всевидящих глаз вызывал в нём чувство неловкости и вины.

Комитет платил ему небольшое еженедельное пособие, на которое он мог бы попытаться прожить. Поскольку у него всё ещё не было документов, пришлось бы снова спать на пляже, но эта перспектива не пугала его теперь, ведь днём он мог быть с Одетт. По правилам её пансиона, гостям не полагалось оставаться после ужина. Но днём он мог у неё себя чувствовать как дома.

Однако на следующее утро за завтраком, когда он выжидал момента, чтобы сказать Соне о своём решении, она сама вдруг спросила:

— Ну как, Пётр, ты счастлив?

Спросила невзначай, наливая ему чай в чашку.

Захваченный врасплох, он промямлил:

— О чём ты говоришь?

— Ах, пожалуйста, не красней, — сказала она с некоторым раздражением. — Я только хочу сказать, что с Одетт надо обращаться осторожно, она перенесла много ударов и ещё не совсем оправилась. Учти, она — деликатное создание, не то, что привычные тебе немытые революционерки.

Пётр почувствовал смущение и протест:

— Что ты знаешь о моих товарищах!

— Ладно, я не собиралась задевать твои чувства. Возьми ещё тост.

— Но я рад, что ты об этом заговорила, — продолжал Пётр, чувствуя враждебность, что значительно облегчало задачу. — Я как раз хотел сказать, что мне лучше оставить твою квартиру.

— А это уже ребячество. Ты хочешь, чтобы полиция тебя сцапала и снова упрятала в тюрьму?

— Никто меня не сцапает. Но я думаю, что моё пребывание здесь может создать неловкую ситуацию.

Она вздохнула и насмешливо передразнила его: "Неловкую ситуацию!"

— Почему ты всё драматизируешь? Почему не воспринимаешь вещи, как они есть?

Пётр сглотнул, раздумывая, как бы огрызнуться, и вдруг его осенило, что "ситуация" её и в самом деле не волнует. Он был задет, но почувствовал огромное облегчение.

— Ты, действительно, не возражаешь? — спросил он робко.

Она закончила завтрак и встала, лениво потягиваясь своим закутанным в халат телом.

— Ты ещё многое узнаешь, Петя, когда вырастешь, — закруглила она разговор, закурила сигарету и проследовала в сад.

Пётр посмотрел ей вслед. Он был слишком сконфужен, чтобы протестовать или продолжать тему. Но чувство облегчения росло, а обида теряла свою остроту. Стоя к нему спиной, она обрывала сухие ветки с куста, и её бёдра и икры просвечивали на ярком солнце сквозь халат. Пётр испытывал тревожное замешательство, глядя на знакомый силуэт женщины в саду с чувством вины и с любопытством; смутный образ плотоядного цветка снова пришёл ему на память, как отзвук кровосмесительного сна.

Через несколько часов у Одетт в комнате он заговорил об этом снова. Чувствуя потребность в самооправдании, он пытался ей объяснить, как он хотел уйти от Сони и как она ему этого не позволила.

— Но почему ты хотел уйти? — спросила Одетт. Собираясь выйти, она приводила себя в порядок перед тусклым зеркалом.

— Понимаешь, — сказал он, снова ощущая странную вину, — я думал, что Соне может не понравиться, что я живу у неё, а мы с тобой...

Одетт улыбнулась, как ему показалось, почти с жалостью.

— Думаешь, её это волнует?

Опять он почувствовал себя смешным и задетым. Она посмотрела на него в зеркало — любимый её трюк.

— Ты не знаешь Соню.

— Да уж, наверное, — сказал он сердито, — ты её знаешь лучше.

— Ну вот, теперь ты начинаешь занудствовать, — заметила Одетт, кончая возиться со своим лицом. Наступило неприятное молчание, затем она резко обернулась и сев рядом с ним на постель, сказала уже мягче:

— Не стоит говорить с тобой о Соне, Петя. Ты всё равно не поймёшь. Но ты не должен ревновать и делать из себя дурака.

— Дураком я уже себя чувствую.

— Если бы вы, мужчины, не были так глупы! — сказала она, — Как вы не понимаете, что можете иной раз опротиветь — и вы, и ваши смешные, дикарские замашки — сплошь похоть, пот и пыхтение и грубые посягательства. Любовный акт — это, в конце концов, лишь насилие по взаимному согласию.

— Ненавижу твои "в конце концов". К тому же это неправда. Помнишь мой рассказ о котёнке, которого я хотел погладить?

Она улыбнулась и встала:

— Это и есть мужское понятие о нежности. Так или иначе, пойдём, я голодная. Что мы будем есть?

— Мидии с зелёным вином.

— Мидии с зелёным вином... — она одобрительно щёлкнула языком. Но пока он причёсывался перед зеркалом — он любил пользоваться её гребнем, её щеткой для ногтей, её полотенцем — она сказала, как бы продолжая свою мысль;

— Ты знаешь, я всегда думаю о Соне как о представительнице вымершего племени амазонок, знавших магические секреты — древней породы женщин-гигантов, распутных и матерински заботливых.

На это ему нечего было ответить. Они вышли на улицу и были захвачены ленивой предвечерней толпой. Кафе были забиты, страст-

ные звуки танца живота с барабанами и кастаньетами неслись из репродуктора. Фонари лили каскады света на запруженную толпой мостовую. Они протискивались, рука об руку, через проспект и чувствовали себя безмолвными статистами оперетты, которую разыгрывал народ Нейтралии посреди Апокалипсиса. А чёрные всадники ночь за ночью проносились за лучом света, встающим от города...

7.

Последний день — но Пётр не знал, что день станет последним — они провели в её комнате всё время после полудня. Он несколько раз ловил в её глазах тот отсутствующий взгляд, который он ненавидел и которого безотчётно боялся. Пётр старался его погасить, но он возникал снова. В сумерках она села, опираясь на подушку характерным для неё резким движением:

— Как глупо дать убить себя на войне, — сказала она.

— Обычно туда идут, не собираясь погибать.

— Но какое отсутствие воображения! — продолжала она с детской настойчивостью, снова ложась и поворачиваясь к нему. — Будь у меня пять жизней, я бы две отдала за родину, революцию и подобные вещи. Может, даже три. Но чтобы все пять...

Она придвинулась ближе, так, что их колени соприкоснулись.

— Ты действительно хочешь туда? — прошептала она, обдавая дыханьем его губы. — Почему бы тебе вместо этого не поехать со мной?

До этого она никогда не говорила о будущем. Не успел он ответить, как она отодвинулась и встала.

— Всё это вздор, — сказала она обычным голосом, — идём в кафе.

Он смотрел, как она натягивает чулки.

— Ты опять запаковываешься и исчезаешь по кусочкам, — сказал он с сожалением, пока она застёгивала юбку. — А я только начал привыкать к тебе такой, какая ты есть. — Он растянулся на постели, обращаясь то ли к ней, то ли к потолку.

— Знаешь, какой это шок — увидеть в первый раз женщину, в которую ты влюблён, раздетой? Ты вдруг видишь знакомое лицо принадлежащим чужому, незнакомому телу. А от наготы её и лицо меняется, и сбивает с толку. "Ты думал, ты меня знаешь? Но это и есть правда, дурачок". А больше всего смущает безликость нагого тела. Прежде, в твоих мечтах, была в нём сокровенная тайна, и вот оно оказалось лишь живой скульптурой. И внезапно ты открываешь другое, архаическое лицо, с сосками вместо глаз, глядящими на тебя бесстрастным, от-

странённым взглядом. В первый раз тебе почти жутко. Но постепенно начинаешь дружить с этим вторым лицом...

Одетт покончила с одеждой и надела туфли.

— Ну, и ты подружился с ним? — спросила она улыбаясь.

— Когда я вижу тебя всю закутанную, как сейчас, я даже не могу поверить, что оно существует.

— И я тебе меньше из-за этого нравлюсь?

— Нет, но по-другому.

Он схватил её руку и, наклонившись, спрятал лицо в её ладони.

— Если бы ты знала, как сильно я тебя люблю, случилось бы что-то страшное.

— Почему страшное?

— Не знаю. Всё равно, как если бы ты видела себя в зеркале и вдруг поняла, что зеркала нет...

Она стояла неподвижно, глядя на него сверху вниз.

— Ты знаешь, — сказал он ей в ладонь, — до того утра, когда я увидел тебя в кафе, я не был живой. Если ты уйдешь, будет то же самое. Но не так, потому что нельзя не родиться, можно лишь умереть.

Она пожала плечами и медленно отняла руку.

— Собирайся, Пётр, и пойдём, — сказала она мягко. Пока он мылся под умывальником, она перегнулась через подоконник, жуя сосновую иголку и гладя невидящим взглядом во двор.

8.

Это продолжалось десять дней. На одиннадцатый, когда он в обычное время постучал к Одетт, ответа не последовало, и едва он открыл дверь, как сознание того, что случилось, ударило его между глаз как дубиной.

Комната была пуста. Абсолютной, полной, вызывающей пустотой склепа. Губка, мыло и щётка для ногтей исчезли с умывальника. Постель была покрыта свежим белым покрывалом, пахнущим крахмалом. Окно закрыто, дерево изгнано назад во двор. В углу, где всегда стояли её чемоданы с брошенными сверху чулками и другой одеждой, осталось только белое круглое пятно на каменных плитках, которые он раньше не видел. Стены белели, как мёртвая, обесцвеченная солнцем раковина. Единственным живым предметом был квадратный конверт на столе, прислонённый к стакану с осадком зубной пасты, и вся пропавшая жизнь комнаты словно сосредоточилась в нём. На конверте зелёными чернилами, которыми она всегда пользовалась, написано его имя.

Он достал письмо и прочёл его, стоя у стола и опершись рукой на подушку, оскалив верхние зубы и бессознательно втягивая и выпуская со свистом воздух. Ему не пришлось перечитывать письмо дважды; абсолютная пустота комнаты не позволяла осознать то, что случилось. Он читал:

"Мой пароход отходит через час, надо спешить. В тот день, когда ты открыл дверь Сониной квартиры, я пришла ей сказать, что получила билет. Я не хотела нам портить эти несколько дней, я также не хотела влиять на решение, которое ты должен принять.

От тебя зависит, встретимся ли мы снова. Но если ты приедешь, то приезжай скорее, пока не слишком изменишься в моей памяти так, что когда реальный Пётр появится, я его не узнаю. А если не приедешь, то вспоминай меня некоторое время — наши беседы и прогулки, и то другое лицо: мне нравилось, что оно тебе нравится..."

Когда он в тот день вернулся домой, его ждало ещё одно письмо — от господина Вильсона, который был рад сообщить г-ну Славеку, что его просьба о визе удовлетворена властями, и предлагал явиться в его контору как можно скорее.

часть третья. П Р О Ш Л О Е.

"Здоровья в мире нет, — врачи твердят. —
Не слишком болен ты? так будь же рад".
Но есть ли тяжелей недуг, чем знать,
Что исцеленья нам напрасно ждать...

Джон Донн. Анатомия мира.
Пер. с англ. Дм. Щедровицкого

1.

Остаток дня Пётр провёл на кушетке в свой комнате. Соня ушла обедать, и он был рад, что остался один; было невыносимо разговаривать. Он опустил жалюзи, закрыл дверь и лежал неподвижно на спине в тёмной комнате.

Пока он лежал спокойно, можно было терпеть. Как при ревматизме или переломе, неподвижность притупляла боль. Сама мысль о движении вызывала такой страх, что когда настала ночь, он был не в состоянии ни поесть, ни раздеться. Он лежал, словно опутанный оцепенением, как сетью, которую осторожно старался не порвать. Он знал: то, что он сейчас чувствует, лишь предупреждение о боли, а настоящая боль затаилась, но вот-вот набросится.

Дни, проведённые с Одетт, проходили в его памяти с настойчивостью галлюцинаций. Время текло, он заметил, что вокруг — темнота, и понял, что задремал. Тьма и тишина были благом для ушей и глаз; он решил, что худшее позади, но через секунду всё вернулось с неистовой яркостью и только через несколько минут отпустило. Потом он задремал снова.

Он проснулся от звука Сониного ключа в двери подъезда и вспомнил странный и приятный сон, который он только что видел. Он стоял, погружённый в очень яркую, прозрачную влагу, которая просачивалась в его тело, и знал, что это влага есть время, и что он находится в самом его центре, в настоящем. Затем он понял, что влага эта холодная и сухая и громко произнёс вслух: "Я — окаменелость в кристалле времени". Он испытал острое чувство прохлады и чистоты и произнёс безмятежным тоном: "Я — пленник, замурованный в настоящем, которое есть кристаллизованная пустота".

Он очень жалел, что его разбудили посреди сна, в момент, когда он находился на пороге некоего блаженного и важного открытия. Он пытался удержать сон, чтобы рассказать его завтра Одетт, но сон быстро распался в памяти. От этого он опять пришёл в отчаяние. Он громко бормотал: "Больше никогда, никогда", и боль набросилась на него. Он судорожно вздохнул и прислушался к странному, свистящему звуку своего дыхания, затем повернулся лицом вниз и вцепился зубами в мягкую, податливую ткань подушки.

Потом ему стало лучше, и он разделся. Из своего сна он помнил только ощущение вибрирующей, пронизывающей пустоты и фразу: "Узник пустого времени". Часы пробили одиннадцать; ещё восемь часов до рассвета.

2.

Он спал дольше обычного и проснулся от плеска воды в ванной, где мылась Соня. Едва открыв глаза, он снова осознал тёмную угрозу, затаившуюся в его теле. Единственной защитой от неё было скрыться среди мятых простыней. Он снова лёг, наметив себе последнюю отсрочку — пока Соня не выйдет из ванной. Он услышал, как она

вынула пробку, как стала вытекать вода, сначала медленно, потом, когда уровень её понизился и над дыркой закружился водоворот, — с тревожным бульканьем и сипеньем. Ноги Сони топтались на коврике; потом дверь за ней хлопнула, в ванне предсмертно захрипело и смолкло.

Он с усилием встал, нашарил туфли и поплёлся в ванную. Он чувствовал странную шаткость — не головокружение, а какую-то слабость в ногах. Обычно он принимал по утрам холодный душ, но сегодня ему не хотелось. Он наполнил умывальник и опустил голову в воду. Это его освежило, но вдруг его правая нога подогнулась. Он схватился двумя руками за умывальник. Нога казалась деревянной, ощущалось лишь странное онемение на сгибе колена, вокруг шрама от ожога. Это длилось меньше минуты и прошло, но не совсем. Он помылся, вернулся, пошатываясь, в комнату и оделся.

Соня сидела за завтраком. Когда он вошёл, она взглянула и вскрикнула:

— Что с тобой, Пётр, ты болен?

Он покачал головой:

— Ничего особенного, только странное ощущение в ноге. Но это уже прошло.

— Что с твоей ногой?

— Ничего. Я думаю, это из-за шрама, который остался у меня после допроса.

— Ты мне никогда об этом не рассказывал.

Он пожал плечами и съел кусок тоста. Во рту была сухость, и тост отдавал известью. Соня понаблюдала за ним, затем вернулась к своей газете. Он боялся, что она заговорит об отъезде Одетт, но она довольно долго молчала и, казалось, полностью была занята едой и газетой. Он с усилием проглотил тост и выпил чай.

— Ты собираешься идти? — спросила Соня.

— Да. Пришла моя виза.

— Правда? — посмотрела на него с любопытством Соня. — Хорошая новость!

— Да, надо сходить к господину Вильсону, но я, пожалуй, немного полежу, передохну.

Ему необходимо было вернуться в свою комнату, лечь на диван и укрыться с головой одеялом, скрыться в тёплой тьме, подальше от всех.

— А раньше этот шрам болел? — спросила Соня, помолчав.

— Болел? Нет, никогда, — ответил Пётр рассеянно.

— Понятно, — сказала Соня. Она взяла банан и, снимая шкурку, прибавила со слегка искусственной небрежностью в голосе:

— Постарайся не разболеться в такой момент. Это было бы глупо.

— А я и не собираюсь, — сказал Пётр, вставая из-за стола. Он старательно сложил салфетку, соображая, как ему одолеть шесть шагов до своей комнаты. Ну, поехали, сказал он себе, чувствуя спиной взгляд Сони. На третьем шагу он ощутил, как недавно в ванной, что вся сила и жизнь ушли из его правой ноги. Она свисала с бедра, как посторонний предмет, не чувствуя под собой пола; если бы штанина была пустой, разницы бы не было. Он качнулся, едва успев схватиться за дверь. Он ожидал, что Соня попытается помочь, но, обернувшись, увидел, что она не сдвинулась с места. Она продолжала есть банан, наблюдая за ним.

— Голова кружится? — спросила она, наконец.

Пётр держался за дверь.

— Это опять нога. Кажется, я не могу идти. — Его сердце дико стучало.

— Чушь, — сказала Соня. — Отпусти ручку.

Голос её был холодный и резкий.

Он отпустил ручку, и тут же пол под ним потерял плотность, косо встал и провалился. Он опять схватился за ручку.

— Я не могу идти, — сказал он хрипло.

Соня неторопливо поднялась и подошла к нему. Оторвала его пальцы от ручки и положила его руку себе на плечо. Она вела его к дивану, и он видел, что правая его нога волочится за ним, как кукольная. Зрелище это оставило его на удивление равнодушным. Опираясь на её тёплое тело, он чувствовал уверенность и покой, как в тот день, когда после бегства из американского консульства она привела его за руку к себе в дом.

Она уложила его на диван и пощупала пульс. От её пальцев исходило и растекалось по всему телу облегчение. Опустив запястье, она тыльной стороной ладони потрогала его шею:

— У тебя жар. Надень пижаму, я сейчас вернусь.

Когда она вернулась, он тихо лежал под простынёй. Он думал об Одетт, но острая боль прошла и осталась только тяжёлая сосущая пустота, словно тяга, идущая от её пустой комнаты и лишающая жизни всё вокруг.

— Я звонила доктору Хакстеру, — сказала Соня. — Он обещал прийти. Тем временем посмотрим твою ногу.

Она откинула одеяло и закатала пижамную штанину. Он, как посторонний, с любопытством смотрел на свои ноги, спокойно белеющие на голубой простыне, потом спросил:

— Это правда, что звери отгрызают себе лапу, если началась гангрена?

— Бывает. Хочешь попробовать?

Она подняла его правую ногу и обследовала шрам на сгибе колена — круглое бордовое пятно, похожее на родимое, размером с флорин.

— С этим, как видно, всё в порядке, — сказала она, — согни колено.

— Как? — спросил Пётр. Она взяла ногу за лодыжку. Нога безжизненно висела.

— Что значит — как? Согни её.

— Но я не могу, — сказал он с удивлением, глядя на эту странную вещь — собственную ногу.

— Смотри, это очень просто. — Она несколько раз согнула и разогнула его ногу. — А теперь попробуй сам.

Он закрыл глаза и стал думать о том, как согнуть ногу. Нога не двигалась. Он услышал глухой стук и открыл глаза. Нога лежала на простыне, куда Соня её бросила, рядом с другой, и выглядела так же странно и мирно, как прежде. Соня стояла в изголовье, глядя на него.

— Попробуйй ещё раз! — приказала она.

Он попробовал поднять ногу, но она осталась неподвижно лежать на простыне.

— Ты не стараешься.

— Я стараюсь, — устало ответил Пётр, — но...

— Что — но?

— Я словно забыл, где выключатель, понимаешь?

— Понимаю, — медленно ответила Соня.

Пётр опять закрыл глаза. Он ощущал большую усталость и хотел спать. Во рту было сухо, а в сердце что-то непрерывно дёргало и сосало; похоже на то, когда приложишь руку к трубе пылесоса, только было это в груди, причиняя нудную боль под рёбрами. Он знал, что это тянет пустота, клубящийся узкий поток, оставляющий после себя смерть.

— Ну, что будем делать? — спросила Соня.

Он снова открыл глаза и посмотрел на неё. Она возвышалась как башня. Халат на груди сбился в сторону, приоткрыв мягкую округлость. Только в этой груди была жизнь посреди окружающего мёртвого мира.

— Ты не слишком волнуешься, — заметила Соня. Он слабо пожал плечами.

— А вдруг что-то действительно не в порядке с ногой и её придётся отрезать?

Он покосился на свою мёртвую ногу, лежащую на простыне, и не почувствовал никакого сожаления.

— Что ж, если это необходимо... — сказал он. Она засмеялась и прикрыла его ноги одеялом.

— Я шучу, глупый. С ногой этой всё в порядке.

Он пожал плечами и снова закрыл глаза. В голове тупо стучало. У него температура, сказала Соня. Какое облегчение — заболеть, чтоб тебя оставили в покое, чтобы ни о чём не думать и только чувствовать, как что-то тихо ноет в груди и вдыхать сладостный аромат утраты. Он услышал звонок в дверь. Звук разорвал темноту. Он знал, что на пороге в своём белом свитере стоит Одетт, сияя в текучем свете полдня. Боль, внезапно разбуженная в своём тёмном укрытии, зашевелилась, вонзила когти в его плоть. Он тяжело дышал и прислушивался, как прошлой ночью, к резким звукам своего дыхания. Вдруг открылась дверь, Соня вошла вместе с доктором Хакстером, жёлтым и сморщенным, как грустная обезьяна. Вот они оба встали у его кровати, доктор Хакстер дико трясёт градусник и суёт ему в рот. Немного погодя вынимает.

— Довольно высокая, — говорит доктор Соне.

Его просят сесть на край постели и положить ногу на ногу. Он устал, но раз им так хочется — он сел, свесив ноги вниз.

— Теперь положи правую на левую, — сказала Соня. Он слегка зол на неё за то, что она просит невозможного. Он нагнулся, взял правую ногу двумя руками и бросил её, как свёрток, на левую. Доктор Хакстер вынул из кармана маленький молоток и ударил им несколько раз ниже колена. Пётр ничего не почувствовал и удивлённо посмотрел, как мёртвая нога слегка дёргается, когда по ней ударяет молоток, будто кукла чревовещателя, которая подскакивает у него на колене. Потом доктор Хакстер ударил по сухожилию над пяткой, и каждый раз мёртвая нога слегка дёргалась. Затем он уколол колено иголкой, и Пётр увидел, как его мёртвые пальцы сжались. Ему стало смешно, и он усмехнулся, обнажив зубы и наблюдая за выходками своей мёртвой ноги.

— Рефлексы в порядке, — сказал доктор Хакстер.

— Так я и думала, — заметила Соня.

Его попросили лечь и закрыть глаза, и Соня прикрыла их рукой, словно шла игра в прятки и ему мешали подсматривать; рука была прохладная и приятно пахла мылом. Ну, сейчас он её, наверное, оттяпает, подумал Пётр. В здоровой ноге укололо, потом ещё раз. И каждый раз нога дёргалась. Потом Соня сняла руку с его глаз, и он увидел, что доктор Хакстер поочерёдно колет то правую ногу, то левую. Это показалось ему довольно глупым — ведь ясно, что мёртвая нога ничего не чувствует.

Потом доктор Хакстер перестал колоть его ноги, обследовал шрам от ожога, заглянул в горло, сделал выстукивание груди и спины, послушал сердце, где работала вытяжная труба, и наконец, к облегчению Петра, они оба вышли. Но дверь осталась открытой, и он слышал, как они говорили в гостиной, хотя ничего не понял из разговора.

3.

— Вот беда, — сказала в соседней комнате Соня, медленно покачиваясь в качалке со стаканом вермута в руке.

— Очень жаль парня, — сказал доктор Хакстер. Он ходил взад-вперёд по комнате, заложив большие пальцы в карманы жилета. — Во всяком случае, я рад, что мы согласны в диагнозе.

— Что-то рано или поздно должно было с ним случиться, — сказала Соня, — он для этого созрел. Одетт стала лишь последней каплей.

— Когда вы уезжаете?

— Через четыре недели, — сказала Соня, — и отложить нельзя.

Доктор Хакстер сложил ладони и снова их раскрыл, словно ловил мух, держа большие пальцы в карманах.

— Если его отправить в местный госпиталь, он останется на всю жизнь калекой. И его выдадут полиции.

— Я постараюсь не отправлять его в госпиталь.

Из соседней комнаты послышалось судорожное дыханье Петра.

— Он спит, — сказал доктор Хакстер, — непонятно, как он умудрился заполучить, кроме паралича, ещё и температуру. Есть только лёгкое воспаление в горле.

— Я помню, что в детстве он часто болел ангиной. А сейчас это вернулось.

Доктор Хакстер удивлённо покачал головой.

— Я встретил несколько таких случаев. И каждый раз они кажутся совершенно фантастичными.

— Потому что вы слишком многое принимаете на веру. А между тем — почему вывих разума фантастичнее любого другого? В особенности в юном безумце, размахивающем духовными гирями, которые ему не по силам?

Доктор Хакстер продолжал ходить взад-вперёд по комнате.

— Вы думаете, вам удастся его вытащить? — спросил он погодя.

— Посмотрим. Четыре недели — слишком короткий срок.

Из комнаты Петра послышались странные звуки, смешанные с судорожным дыханием.

— Давайте глянем,— предложил доктор Хакстер.

Он вошёл вместе с Соней в комнату. Пётр сидел, напряжённо выпрямившись, на постели, с пылающими щеками, вперив глаза куда-то вдаль. Он был похож на больного ребёнка и имел крайне серьёзный вид. Одна рука сжимала невидимый руль, резко вращая его вправо и влево, и тело каждый раз отклонялось, будто в машине на крутом вираже. Другая рука потрясала невидимое копьё, и снова тело раскачивалось взад-вперёд, словно балансируя на спине взбрыкивающего коня. Время от времени он прикрывал один глаз и прижимал указательный палец к большому, а из сжатых губ вырывался звук, похожий на приглушённую пулемётную очередь. Вдруг он прижал к лицу ладони, закрыл правый глаз и повалился на спину, издавая нечленораздельные звуки. Доктор Хакстер поднял его веки; зрачки закатились вверх и были расширены.

— Он вёл самолёт, — сказала она, — и конечно, его сбили. Как же иначе будет с дурачком?

— Но каков спектакль! Лучше профессионального актёра.

— Да уж конечно, — сказала Соня.

Они стояли в головах постели, глядя на неподвижно лежащего Петра.

— Вы заметили, куда попала пуля? В правый глаз. Это мне напомнило случай у него в семье, когда он был ребёнком.

— Может, его надо перевернуть? — спросил доктор Хакстер, чувствуя неловкость.

— Лучше оставить его, как есть, — сказала Соня. Видно, она себя чувствовала совершенно спокойно, глядя вниз на восковое лицо, и доктору Хакстеру показалось, что она больше обычного оживлена.

— Жаль, что мы пропустили начало припадка. Это могло бы дать нам ключ. Но я уверена, что он повторится. Последовательность действий уж слишком своеобразна.

Оказавшись снова в гостиной, доктор Хакстер виновато сказал:

— Я всего лишь терапевт старой школы. В этих тёмных сферах я чувствую себя некомпетентным.

— Я понимаю, — сказала Соня, покачиваясь в кресле, — для вас это всего лишь тёмная сфера, хотя минуту назад вы восхищались его вдохновенной игрой. Но были времена, когда истерические язвы считались щелями в коре, сквозь которые прорывался священный огонь.

Доктор Хакстер покорно пожал плечами:

— Знаете, я — старый еврей, от дионисийских мистерий у меня лишь мурашки пробегают по коже и начинается изжога.

Соня улыбнулась:

— Вот так вы всегда. Одна кора, и никакой магмы. Поэтому язычники и преследуют вас, они инстинктивно чувствуют, что эти ваши две доски, скрижали, портят им всё удовольствие.

— Если это считать удовольствием... — Хакстер кивнул головой в сторону Славека.

— Нет, это цена, которую платишь за отказ от удовольствия. Ядовитые курения — вместо яркого пламени.

Доктор снова стал ходить взад-вперёд и ловить мух, раскрывая и закрывая ладони. Ему была несимпатична эта пышная амазонка и её панибратские отношения с запретной сферой, где живут допотопные чудища — Бегемот, Левиафан и ещё Бог знает какие звероголовые божества, бесстыдно валяющиеся по ночам в грязи. Сказано — *да не будешь смотреть на них*. Нечистое дело — возмущать мутные воды и давать ядовитым пузырям всплывать на поверхность. Вид здорового парня, который свалился в таком сомнительном недуге, вызывал у доктора Хакстера большое желание тщательно вымыть с мылом руки, надеть резиновые перчатки и белый крахмальный фартук, резать, чистить и зашивать под ярким светом операционной лампы, пока изъян не будет удалён. Но, увы — ничего реального с пациентом как будто не случилось, и, тем не менее, он стал за ночь калекой; увы, такие явления имеют место, и отмахнуться от них нельзя. Но самое отвратительное в них то, что лечение, которого они требуют, так же сомнительно, как и сама болезнь; вместо того, чтобы применить анестезию и отсечь заражённую ткань, пациента принуждают распространять заразу вширь и вглубь и втирать гной под кожу.

— Он выглядит таким крепким и смелым парнем, — сказал с сожалением доктор Хакстер. — Его не сломили пытки. В нём сошлось всё лучшее в его поколении — скептицизм, беззаветная преданность делу, лишённая сантиментов жертвенность. И вот теперь...

Он запнулся, раздражённый ленивой манерой Сони раскачиваться и её улыбкой.

— И вот герой развенчан, — докончила она, — заклеймён, опозорен, запятнан. И всё потому, что благодаря стечению обстоятельств он обнаружил некое расстройство, которое в его товарищах надёжно скрыто.

— Ах, ради Бога, — воскликнул доктор Хакстер, прекращая своё хождение, — вы ведь не хотите сказать, что за ценностями, которые нас восхищают, всегда скрыта патология?

Его тошнило от покачивания и скрипа качалки.

— "Ценности", — повторила Соня своим ленивым раздражающим тоном, — "смелость", "преданность", "жертвенность". — Казалось, она берёт каждое слово в рот, как пралине, и обсасывает до полного растворения. — И "патология". — Это слово она произнесла, кисло поморщившись. — Я этих слов не употребляю, они из словаря ваших пророков, хотя я слышала, что и среди них случались эпилептики. Я просто имела в виду, что в наш век все воители — с отметиной. Они пытаются это скрыть, притворяясь догматиками, циниками или грубиянами, но в одиночку и нагишом все они сочатся кровью. — Её улыбка стала злой. — Дорогой Хакстер, вам не пришлось побывать в постели с радетелем о благе человечества, иначе вы бы знали, что я имею в виду.

— Надеюсь, Пётр поправится, — сказал сухо доктор Хакстер. Он взял шляпу, желая кончить разговор. Строки о вавилонской блуднице всегда казались ему самым сомнительным местом Библии.

— Если он на этот раз уцелеет, это сделает его взрослым. Пережить такой кризис — всё равно, что окунуться в мифический источник: либо погибнешь, либо родишься заново.

Из комнаты Петра послышалось неясное бормотание.

— Интересно, в каких забытых странах своего прошлого он сейчас бродит, — сказала Соня.

Они оба прислушались. Бормотание смолкло.

— Я загляну завтра, — рад был ретироваться доктор Хакстер.

4.

Лихорадка и бред длились три дня. Ему снились самые странные в его жизни сны, но они обычно испарялись прежде, чем он просыпался. Бульканье воды в ванне, от которого он проснулся в первый день болезни, стало звуковым фоном некоторых его видений. Это мог быть шум далёкого водопада, к которому он, задыхаясь, бежал, то вприпрыжку, то летя, но не зная, влево повернуть или вправо; пробуя то одно направление, то другое, всё время сознавая, что любое будет неверным и не приблизит к цели.

В другой раз журчание ванны превращалось в звук, с каким морская вода уходила сквозь дыру в дне, к которой он стремился любой ценой; он погружался глубже и глубже, но не приближаясь к цели. Но он помнил, что должен достигнуть дна и заткнуть дыру, иначе уйдёт вся вода из моря, и рыбы и все прочие живые существа будут лежать и задыхаться в грязи, воздевая к небу кто плавники, кто щупальца — как скорбные семафоры.

Он хотел пить, и Соня его поила. Возвращаясь из своих странствий, он заставал её сидящей рядом — смутной в контурах, но плотной в массе — как маяк в тумане и мраке. Когда она над ним склонялась, он видел, как на него направлялись два сигнальных огня, два смуглых, округлых бакена. Иной раз она казалась египетской богиней с головой коровы и глазами навыкат. Но проблема была в том, что у неё имелась масса других глаз и все они вперялись в него; возможно, на всём её теле были глаза с бесстыжими влажными зрачками, зыркающими во все стороны.

Потом вода опять журчала ему в уши, он знал, что её нельзя остановить, пока он не заткнёт дыру. Пробка была круглой, бордового цвета, величиной с флорин, и вынута была из шрама на сгибе его колена, поэтому из ноги его ушла вся сила, как воды из Сониной ванны. Но теперь она действует снова, и он несётся, то скачет, то летит, вперёд к водопаду, и на этот раз знает, куда ему надо: он знает, что за водяным каскадом его ждёт Одетт и чистит апельсин, он должен её найти. Его путь ведёт вниз, по бесконечной лестнице в форме подковы, похожей на римский амфитеатр; и чем быстрее он бежит, тем реже касаются его ноги ступеней, прыжки — всё выше и дальше, вот он уже парит и плывёт по воздуху и удивляется, что не знал до сих пор, как это просто.

Он не заметил, что спустился и вдруг оказался рядом с Одетт на земле, почти на расстоянии протянутой руки от неё. На ней — белый плащ, скреплённый на шее пряжкой; и он знает, что если пряжку расстегнуть, плащ упадёт на землю. Она ждёт, выпятив нижнюю губу, и его плоть трепещет. Но лишь только он двинулся, пылая от радости и желания, как пряжка превратилась во флажок, подобранный им на берегу в день приезда; и едва он протянул руку, чтобы расстегнуть, как получил удар мечом. Тело его поражено страхом и виной, в ушах звучит странный голос, произносящий тёмные, грозные слова псалма: *Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня, десница моя.* И вот уже нет Одетт, и его одинокая плоть трепещет в отчаянии, и бульканье воды стало громче, пока, наконец, заглушило все звуки.

И ещё один сон вновь упрямо возвращался, как зловонное извержение прошлого. Это был Дурной сон, и он обладал странным свойством: он никогда не помнился целиком, хотя события, его составлявшие, остро врезались в память. Но начинался он всегда с шести пыхтящих людей в чёрных сапогах и котелках, пристёгивающих его, голого, к столу, и кончался протяжным волчьим воем, когда горящую сигару зажимали у него под коленом, насильно сгибая ногу.

Услышав в первый раз этот вой, Соня растерялась. Она склонилась над Петром и вытерла ему лицо. Он ещё не проснулся, и его выгнутое дугой тело, упираясь головой и ногами в постель, билось в рит-

мической дрожи, сквозь стиснутые зубы пробивались мельчайшие пузырьки и собирались в клочья пены. Вдруг тело обмякло и бессильно упало на матрац, дыхание стало ровным и, всё ещё с закрытыми глазами,он пробормотал сквозь сжатые зубы несколько слов.

— Нет, — сказала Соня, — это не мама твоя, это я.

— Я знаю, — сказал Пётр, открыв глаза и скривив губы в виноватой улыбке.

5.

На третью ночь лихорадка прошла, так же внезапно, как и началась, но нога осталась парализованной, и Пётр чувствовал такую слабость, что мог сесть в постели только с помощью Сони.

— Что со мной? — спросил он слабым голосом, впервые выразив удивление по поводу своего состояния.

— Ничего особенного, — сказала Соня. — В основном — это запоздалая реакция не пережитое тобой. Англосаксы вежливо называют это *нервным срывом* и обычно предпочитают терять память, а не способность пользоваться своими конечностями, вверив себя заботам энергичных констеблей. Но в медицинских учебниках есть названия похуже.

— Когда я смогу ходить? — спросил Пётр.

— Когда сам решишь, куда идти.

Он вопросительно на неё посмотрел.

— Именно так, — сказала Соня и помолчав, добавила: — Знаешь, что ты всё время повторял во сне?

Она наклонилась к нему ближе и, откинув волосы с его влажного лба, прошептала, словно обращаясь к спящему ребёнку:

— *При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы... Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня, десница моя.*

Он закрыл глаза и откинулся на подушку.

— Я это говорил? Почему?

— Иногда ты произносил только последнюю строчку. И говорил: "нога" вместо "десница".

Он слабо передёрнул плечами: — Как глупо!

— А тебе ничего не напоминают эти слова?

— Нет.

— Образ какой-нибудь? Что-то из прошлого?

— Нет. Там всё пусто.

— Что ж, вот мы заполним пустоту, и ты пойдёшь.

— Правда?

— Твою память отравляет яд, Петя. Надо его вывести наружу.

— Как?

— Да также, как суют в горло палец. В горло своего прошлого. Ты будешь говорить, а я слушать. Это очень просто!

Он молчал. Тёмные воды зашумели опять, и он заснул.

6.

—...Это надо же, чтобы я читал во сне псалмы! — сказал Пётр назавтра. Он лежал на спине, а Соня сидела у постели на стуле. Было время сиесты, ставни закрыты, в комнате полумрак; из сада доносился самодовольный стрёкот цикад.

— Не напоминают ли тебе псалмы что-нибудь из прошлого? — спросила Соня.

— Нет.

Наступило молчание. Затем он сказал:

— В детстве мне нравились псалмы. Я до сих пор помню, как там дальше.

— Как?

Он откашлялся:

— *Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего*. Смешно.

— Что смешно?

— Что я до сих пор это помню. С этим связана история, о которой я не вспоминал все эти годы. Смешно, что именно сейчас я о ней вспомнил.

— Расскажи мне.

— Ну что ж... — начал он нерешительно. — У нас в саду были кролики. Один из них — белый и пушистый с красными глазами, я его особенно любил. Однажды я услышал, как повар сказал, что недели через три мы его съедим. Я решил спасти кролика. Я не сказал об этом ни матери, никому, но целыми днями бегал к клетке, чтобы проверить, на месте ли он; и если, заигравшись, я о нём забывал, то чувствовал себя страшно виноватым, поскольку мне взбрело в голову, что пока я думаю о кролике, он в безопасности, что сами мои мысли способны его защитить. И поэтому, когда однажды вечером мать прочла мне псалом — "Если я забуду тебя, Иерусалим... если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего" — я сразу понял, что *Иерусалим* это и есть белый кролик. С тех пор мать должна была мне каждый вечер читать эти строчки, и содержащаяся в них ужасная угроза заставляла меня потеть

от страха, поскольку я был в ответе за *Иерусалим*, только об этом никто не знал.

Его охватило волнение, и он замолчал. Прошло несколько секунд.

— Продолжай, — сказала Соня, — прелестная история!

— А через некоторое время я потерял интерес к *Иерусалиму*, который не выказывал ко мне ни малейшей благодарности, и подходил к клетке только два раза в день. И поскольку он оставался на месте и только прыгал и таращился своими глупыми красными глазами, я решил, что опасность миновала, и он там так навсегда и останется. И вот однажды в парке, куда нас с братом водила няня, я встретил маленькую девочку. Она стояла на берегу пруда и глядела, насупившись, на флотилию игрушечных корабликов, и, должно быть, я сразу в неё влюбился. У неё был голубой шёлковый бант в волосах, похожий на пропеллер, и мне казалось, что она вот-вот улетит. Мы поиграли вместе в мои кораблики, и я в первый раз не вспоминал об *Иерусалиме* целое утро. Мы вернулись домой к обеду. Я раскраснелся и проголодался и съел большую тарелку коричневого жаркого, считая, что это курятина. После обеда я пошёл к клетке; *Иерусалим* исчез. Я побежал на кухню, чтобы расспросить кухарку; она ухмыльнулась всем своим жирным, тестообразным лицом и предложила мне на память его лапы и хвост...

— Ну?

— Кажется, меня стошнило прямо на кухне. Знаешь, меня мутит даже сейчас, когда я об этом говорю. И даже сейчас я чувствую вину — будто я предал *Иерусалим*.

— И что было потом?

— Не знаю. Да, вспомнил. Я заболел и пролежал несколько дней в постели.

— Что с тобой было?

— Тонзиллит, наверное.

— Как сейчас?

Пётр замолчал. Странно, все годы он не вспоминал случай с белым кроликом, почему же сейчас это его так потрясает, что он чувствует опустошённость и слабость, как после тяжёлой работы? Взгляд его скользнул с потолка к жалюзи, от жалюзи к Соне. Она сидела на стуле очень тихо, боком к нему и казалась занятой своим вышиванием — редкое для неё занятие. В комнате тишина, только цикады в саду продолжали стрекотать свою тонкую, серебристую хвалу жаркому дню.

7.

— Расскажи мне побольше о *Иерусалиме*.

— О кролике?

— Нет, — сказала она, не подымая головы от работы, — я имею в виду т о т *Иерусалим*, за измену которому с Одетт ты себя обвинял.

Пётр ответил не сразу. Затем сказал:

— Есть вещи, которых тебе не понять. Ты многое понимаешь лучше моего, но не это.

Соня перекусила нитку и вдела новую. С тех пор, как начались эти беседы с Петром у его постели, он не видел на ней её затасканного халата. Она сидела на стуле прямо, всегда на том же месте, в белом костюме, с чётким профилем, с бесстрастным выражением лица.

Немного погодя Пётр сказал:

— Ты помнишь конец псалма? "*Разрушайте, разрушайте до основания его*". Но тебя там не было, когда шло разрушение, поэтому ты не знаешь, что это такое. Я помню, когда мы встретились в консульстве, ты что-то сказала про жёлтый флаг, поднятый над континентом. Это литература, Соня. Ты вовремя выбралась, ты не была там, ты не сидела и не плакала на реках вавилонских. Ты читала об этом, но для тебя это — пустой звук. Больной зуб у тебя во рту для тебя значит больше, чем тысячи мёртвых в Сионе.

Он выпрямился, опираясь на подушку, и хрипло, с раздражением, продолжал:

— Тот, кто этого не пережил, понять не может. Террор, зверства, гнёт — это всё слова. Статистика не кровоточит. Знаешь, что важно? Детали. Только детали важны...

— Я знаю.

— Нет, ты не знаешь. Ты не знаешь деталей. Ты не ездила в *смешанном транспорте* и не знаешь, что это такое.

— Смешанный транспорт?

— Да. Это — деталь. Есть поезда, которые ходят без расписания, но они ходят по всей Европе. Десять-двадцать товарных вагонов, запертых снаружи. Возит их старый паровоз. Их мало кто видел: они уезжают и приезжают ночью. Я ехал в одном из них.

— Ну? — Соня перекусила нитку и завязала узелок.

— Я никогда об этом не говорил. Поезда эти называются *смешанный транспорт*, так как они содержат груз разных категорий. В нашем сначала было семнадцать вагонов...

Он замолчал и откинулся на подушку. И когда заговорил снова, голос его звучал монотонно и ровно, а взгляд был неотрывно прикован к еле заметной трещине в потолке.

— Мы не знали, куда нас везут. Ночью открыли камеру и велели выйти. Через весь коридор тянулся длинный строй заключённых со связанными за спиной руками, соединёнными одной верёвкой. Меня привязали, строй двинулся и остановился у следующей камеры, где позади меня привязали ещё несколько человек. За воротами тюрьмы нас погрузили в машину и отвезли на станцию. Поезд уже прибыл. Пятнадцать товарных вагонов были заперты снаружи и казались мёртвыми и брошенными. Лишь паровоз пыхтел и рассеивал искры среди ночи. Мы пытались узнать у конвоя, куда нас везут, но они отвечали, что не знают, что это — *смешанный транспорт*. Они построили нас на платформе и встали вокруг с факелами в руках, читая списки и крича друг на друга. В это время из последнего и, как нам казалось, пустого вагона послышался крик. Потом мы узнали, что в последних семи вагонах были евреи. Это был протяжный, отчётливый крик, похожий на призыв муэдзина с минарета. Я не понял смысла слов, но потом мне перевели:

Что мы будем делать, когда придёт Мессия?

Из других вагонов тут же ответили громом голосов:

Мы устроим пир, когда придёт Мессия.

Голос спросил:

Кто нам спляшет, когда придёт Мессия?

И невидимый груз в товарных вагонах пропел:

Давид, наш царь, нам спляшет,
И мы устроим пир, когда придёт Мессия.

— Кто-то в нашем строю сказал что-то, конвоир ударил его в живот, и он упал, увлекая за собой остальных, связанных с ним одной верёвкой. Пока мы подымались, голос в вагоне спросил:

Кто прочтёт закон, когда придёт Мессия?

— Начальник конвоя крикнул: "Заткните им рты, ради Бога", — и несколько солдат прыгнули через рельсы и застучали палками в двери вагонов, но это не помогло, тогда один из солдат разрядил обойму

сквозь вентиляционную решётку. На секунду вагон замолк, потом послышались крики, потом пенье раздалось с новой силой:

Моисей, наш учитель, прочтёт нам,
Давид, наш царь, нам спляшет,
И мы устроим пир, когда придёт Мессия.

— Наконец, нас погрузили в вагон — в третий от паровоза, задвинули двери, заперев их снаружи; поезд несколько раз дёрнулся и поехал.

Как я сказал, в последних семи вагонах были евреи: в двух вагонах — полезные евреи, которые ехали рыть траншеи, и пять вагонов — бесполезных, посланных на смерть. Кроме того, было два вагона политических, в том числе и мой, два вагона с молодыми женщинами для армейских борделей: один для офицеров, другой для сержантов и солдат; и шесть вагонов с рабочей силой для фабрик и лагерей. Поэтому это и называлось "*смешанный транспорт*".

Через час поезд остановился на станции и стал маневрировать. Отцепили один вагон с политическими и прицепили два вагона с иностранными рабочими. Потом мы двинулись дальше, старый паровоз рассыпал искры, и всё ржавое железо наших вагонов дребезжало, как разбитые горшки. Часа в два ночи мы снова остановились, опять начались манёвры. На этот раз отцепили вагоны с рабочими, а в конец, позади поющих евреев, прицепили два новых вагона. В них были женщины с детьми из разгромленных местечек, где мужчин убили или забрали. На следующей станции мы оставили полезных евреев и получили вместо них два вагона цыган, которых, как говорили, везли стерилизовать. Всё это мы узнавали, слушая крики и команду на станциях. Везде на станциях было темно и пустынно — одни охранники с пулемётами на платформах. На каждой станции нас сортировали и перетасовывали, словно играя в почту — ведь они любят организацию. Нам никому не давали ни есть, ни пить, кроме женщин, которых везли в бордели. На каждой станции двери чуть отодвигали, солдаты забирали полные параши, возвращали пустые и продезинфицированные, потом подавали в каждый вагон по корзине с большими буханками, а в один вагон ещё и бидон кофе — женщинам, предназначенным для офицеров.

Вагон наш двигался то в одном направлении, то в другом. Мы не знали, куда нас везут; кругом стояла заполненная лязгом темнота. Но на рассвете паровоз стал пыхтеть и задыхаться, мы поняли, что едем в гору, к границе.

Наконец мы совсем остановились на открытом месте. Судя по холоду, было высоко и пахло иначе: то есть вонь в наших вагонах как бы изменила субстанцию. Я забыл сказать, что в вагонах не было па-

раш, а людей в них было так много, что можно было только сидеть, а поскольку мы всё время старались глянуть через вентиляционную решётку, то приходилось ступать по кучам экскрементов.

Через некоторое время снова раздался лязг, и мы поняли, что паровоз отцепляют от поезда. Скоро мы увидели, как он уезжает по другим рельсам, затем он исчез в долине, откуда мы приехали. Казалось, что отделившись от нас, он шёл легко и весело. А мы, оставшись без паровоза, ощутили отчаяние. Через несколько минут мы услышали из долины прощальный свисток.

Скоро рассвело, и мы увидели, что стоим у заброшенного карьера. Может, ты знаешь, что наши горы в этом месте — сплошные скалы, известняки и валуны, всё мёртво, как лунные кратеры. Пока не рассвело, мы видели только гальку, покрытые щебнем склоны и небо. Потом рассеялся туман, и мы увидели два автофургона. Огромные — в таких перевозят мебель — они стояли одиноко и вроде бесцельно, на дороге, ведущей к краю карьера. Мы слышали раньше об этих фургонах, но точно ничего не знали; их выхлопные трубы выглядели совсем обычно. Они стояли на повороте, дорога была без признаков жизни, стояли одиноко, уставя слепые фары в небо.

Несколько часов мы простояли возле карьера, и ничего не случилось. Солнце поднялось выше, от скал и камней пошёл жар, и воздух над рельсами начал дрожать и дымиться. Вонь в вагоне стала нестерпимой. Над головой раздалось царапанье и стук, и вскоре мы заметили, что на крыши вагонов уселась стая больших птиц. Их, как видно, привлекала вонь, идущая от поезда. Они кружились и парили среди камней. Время от времени одна из них приближалась к вентиляционному отверстию, просовывала жёсткий клюв сквозь решётку и хлопала крыльями; я никогда не видел этих птиц: у них были лысые жуткие головки и длинные, морщинистые шеи, словно у ощипанных кур. Мы попытались их подбить чем-нибудь, что нашлось в карманах, но они всегда улетали.

Когда потеплело, конвоиры спустились в карьер, выставив сначала на его краю пулемёты. Они взяли с собой корзинки с едой и, вероятно, устроили пикник подальше от нашего вида и запаха. Проходили часы, и не было ничего, кроме жары, вони, щебня и птиц. Сначала мы пытались общаться с соседними вагонами, поскольку нам казалось, что другие знают больше нашего о том, что с нами сделают. Но приходилось очень громко кричать в вентиляционные отверстия, чтобы тебя услышали и поняли в соседнем вагоне, поскольку решётки были сбоку; и скоро мы бросили попытки. Казалось, что в поезде все спят или умерли. Ближе к полудню женщины в одном из вагонов стали кричать. Сначала — один-два голоса, потом весь вагон, и птицы поднялись с крыш

вагона в воздух. Я слышал, как кричат мужчины, когда их бьют или ещё что-нибудь делают, но это было совсем иначе. Крик проникал тебе прямо в мозг и заставлял дрожать от желания тоже завопить изо всех сил, вскочить и биться головой о железную стену вагона. Поэтому некоторые из нас прижались к решёткам и стали осыпать женщин бранью. Прибежала из карьера охрана, стреляя из пистолетов в воздух. Но отодвинуть двери вагонов они не посмели, достали из угольного тендера резиновый шланг, прикрепили к баку на крыше цыганского выгона и до тех пор поливали женщин из шланга, пока они не замолчали. Позже мы узнали, что у одной из них, медсестры, имевшей со времён Первой мировой войны орден, была с собой бритва. В вагоне оказалось несколько девушек, пожелавших умереть, чтобы не попасть в бордели, но они не знали, как это сделать. Медсестра предложила помочь — вскрыть им вены и уже помогла так десятку; те уселись в ряд в углу вагона, ожидая смерти и чувствуя дурноту, а остальные стояли в очереди. Но другая партия женщин испугалась, что их накажут за то, что они не донесли о происходящем. Они спорили и ругались всё время. Одна из женщин попыталась отобрать у медсестры бритву; партия самоубийц за неё вступилась, и поднялась драка. Одна из женщин порезала лицо и стала кричать; другие присоединились, принялись вопить, топать ногами и биться головой о стену.

После того как женщин успокоили с помощью шланга, солдаты вытащили тех, кто пытался покончить с собой, положили их на рельсы, забинтовали, связали им за спиной руки, чтобы они не могли сорвать зубами бинты, и отнесли одну за другой в солдатский вагон и там заперли. Мы видели, как их проносили мимо нас, они уже были вялые и притихшие, только одной пришлось заткнуть рот.

Потом конвоиры стали бегать вдоль вагонов и кричать через решётки, что если обнаружится хотя бы один мёртвый, о котором не будет доложено, то весь вагон накажут. У цыганского вагона они остановились, стали смеяться и звать друг друга, потом сгрудились у решётки, стараясь заглянуть внутрь. Причина была в том, что в вагоне были цыгане обоего пола, и так как они слышали, что их будут стерилизовать и не знали точно, что это такое, то они дружно занялись любовью, считая, что это их последний шанс. Солдаты подзадоривали их криками и шутками, пока им не надоело. Потом они продолжили пикник в карьере. Поезд затих, солнце пекло всё жарче, и птицы вернулись.

Прошёл ещё час, и на дорогу, ведущую к краю карьера, въехала спортивная машина с двумя офицерами и остановилась позади фургонов. Солдаты выстроились и офицеры устроили им смотр, как на параде. Офицеры поговорили между собой, затем солдаты стали в два ряда, образуя проход от фургонов к последнему вагону с бесполезными

евреями. Двое солдат влезли в кабину фургона и включили мотор. Мы смотрели на выхлопные трубы фургонов; сперва выходила серо-голубая струя, затем, когда мотор согрелся, струя стала бесцветной, но по дрожанию воздуха было видно, что газ выходит.

Дверь последнего вагона открылась, и бесполезные евреи стали парами идти по проходу и забираться в фургон. Задняя стенка фургона не откидывалась, как это бывает у мебельных грузовиков — в ней была узкая дверь с приставленной деревянной лесенкой, чтобы евреям, из которых иные были очень стары, не пришлось затрудняться. У каждой лестницы стоял офицер со списком в руках, который выкрикивал фамилии и делал отметку карандашом каждый раз, как мужчина или женщина исчезали в фургоне. Иногда в имени или годе рождения в списке встречалась ошибка, об этом сообщали офицеру, и тот исправлял. Было много старых супружеских пар, они шли вместе мимо солдат по проходу, старая дама шла под руку со старым господином, а он галантно к ней склонялся, словно в день свадьбы. Выглядели они очень аккуратно и нарядно, и мы удивлялись, как им это удалось в их вагонах. Ещё больше нас удивило, что старики, в основном, были в чёрных фетровых шляпах или маленьких шёлковых ермолках, которые, вероятно, пришлось долго оттирать рукавом. Иные мужчины шли сквозь строй солдат, читая молитвы громким певучим голосом, и не кротко, а скорее гордо и гневно, словно споря с собою; на солдат они не смотрели. Иные еле брели, иные — торопились, словно назначили в этом фургоне свидание.

Когда оба фургона наполнились, один из офицеров дал знак, и двери закрыли. Мы видели, что эти двери были очень толстые и сложной конструкции, вроде сейфа — для герметичности. Когда их закрыли, офицер подал другой знак — шофёрам, которые глядели назад со своих сидений. Оба мотора взревели в полную силу, но фургоны не двинулись. Мы смотрели на выхлопные трубы и видели, как выходит бледно-голубой газ. Затем офицер вынул часы и подал третий сигнал водителям. Мотор ревел по-прежнему, но фургоны стояли как вкопанные, а струя газа из выхлопной трубы исчезла. Солдаты сели на насыпи у поезда и скрутили сигареты. Офицер всё стоял между двумя фургонами и смотрел на часы. Ничего не было слышно, кроме рёва моторов двух неподвижных фургонов. Это длилось несколько минут, и ничего снаружи, казалось, не изменилось и не сдвинулось. Было только солнце, рельсы, небо, камни. Затем один товарищ в нашем вагоне сказал, что он чувствует запах газа, и его вырвало. И нескольким другим товарищам тоже стало дурно; тогда мы достали нашу последнюю сигарету и по очереди выкурили её.

Минут через двадцать, может, больше или меньше — часов ни у кого уже не было — офицер положил часы в карман и глянул в глазок сначала в один фургон, потом в другой. Затем он снова дал знак; шум мотора стих, и фургоны поехали. Они двигались по узкой тропинке, покрытой шлаком и пылью, подпрыгивая на рытвинах. От этого вида нас опять затошнило, так как мы подумали о том, как трясётся и прыгает содержимое машин по такой дороге. Птицы взлетели и отправились за фургонами. Потом фургоны и птицы скрылись из глаз, и всё снова успокоилось.

Но через полчаса фургоны вернулись, трясясь на дороге и оставляя за собой клубы белой пыли. Они были пусты, их выхлопные трубы весело пыхтели, как у нормальных здоровых грузовиков. Они развернулись и заняли ту же позицию, что и раньше. Задние двери открылись, выставились лесенки, снова в два ряда встала стража. В тот раз они кончили последний вагон с бесполезными евреями и занялись предпоследним.

Это продолжалось всю вторую половину дня и часть ночи. Когда стемнело, стоявшие строем солдаты зажгли факелы. Оставшиеся евреи в ожидании своей очереди снова запели. Странные у них были песни — весёлые с грустным мотивом и грустные, звучавшие почти весело. Одна песня начиналась с описания очага, в котором нет огня, спиной к нему сидит старый рабби и крутит пейсы, вокруг него — замёрзшие дети, он учит их старинной азбуке, и они хором, нараспев, повторяют буквы и раскачиваются, и от этого им становится теплее, и вдруг они видят, что в очаге сам собой зажёгся большой, чудесный огонь. Но любимой их песней была та, что мы слышали, когда садились в поезд. Так как двери их вагонов были открыты, сейчас она звучала громче. Когда каждый из бесполезных евреев шёл сквозь строй, то от факелов, которые держал конвой, тень его росла и плясала по скалам. И поднявшись по лестнице, перед тем, как войти в фургон, он оборачивался, поднимал руки к небу и вопил в сторону поезда:

Что мы будем есть, когда придёт Мессия?

И те, что ещё оставались в поезде, отвечали:

Мясо Бегемота мы будем есть.

Человек на лестнице оборачивался к двери и исчезал, слегка приплясывая, в фургоне; и тогда следующий подымал руки и спрашивал:

Что мы будем пить, когда придёт Мессия?

И оставшиеся пели:

Вино с горы Кармель мы будем пить,
Мясо Бегемота мы будем есть,
Дебора, наша матерь, будет сидеть в суде,
Моисей, наш учитель, будет читать нам закон,
Царь наш Давид будет нам плясать,
И мы устроим пир, когда придёт Мессия.

После полуночи все пять вагонов с бесполезными евреями опустели, и больше не стало песен. Двое офицеров уехали на своей спортивной машине, и свет от фар прыгал с камня на камень. Немного погодя вернулся из долины, кашляя и пыхтя, наш паровоз, и мы поехали. Ночью снова маневрировали на разных станциях. Вагон с цыганами от нас отцепили, потом два вагона с будущими проститутками — все на разных станциях, и каждый уехал в свой пункт назначения. К утру меня и ещё десять человек забрали из вагона и перевели в товарный вагон обыкновенного пассажирского поезда. Мы ехали всё утро, в полдень прибыли в город, откуда уехали тридцать шесть часов назад, и оказались снова в своей тюрьме. Как видно, в списке была ошибка, и нас вообще не должны были брать в тот транспорт. Оставшись один в своей старой камере, я почувствовал такое счастье, что целовал железный засов на двери.

Вот тебе детали, касающиеся одного из *"смешанных транспортов"*. Для них нет расписания, но каждую ночь они идут во всех направлениях — десять-двадцать товарных вагонов, запертых на засов, их тянет старый паровоз, рассеивая искры в темноте.

8.

Вспоминая позже время своей болезни, Пётр представлял его сплошными сумерками. Истории, которые он рассказывал Соне, редко бывали такими отчётливыми, как о *смешанном транспорте*, и редко касались таких недавних событий. С ним происходили странные вещи, которые раньше он считал невозможными. Всплывали сцены и образы ранних лет, о присутствии которых он даже не знал, — они вырывались из тёмных глубин, из липких внутренностей его памяти. Как только он начинал говорить о них Соне, они оживали, и незнакомое волнение проникало в его голос, над которым он уже был не совсем властен. Голос стал сонным и гортанным; как бы отделённым от него самого; и пока голос говорил, он, казалось, слушал, склонившись над глубоким колодцем где-то внутри себя; оттуда являлись мысли и образы удивительно чуждые, но узнаваемые, как утраченная собственность, порази-

тельные и вместе с тем возникающие без усилий, как птицы и белые красноглазые кролики из шляпы фокусника.

Эти длинные, обращённые к Соне монологи, опустошали его, изнуряли и облегчали одновременно. Какое-то время после них в голове бывала пустота; мысли, слова и образы покидали её, однако, он не спал, и время не стояло на месте, под бодрствующей поверхностью, где-то на дне колодца, шёл парад теней — беззвучно, бесформенно, невесомо.

Соня и доктор Хакстер уверяли его, что нога в порядке; но он забыл, как заставить её работать. Он смотрел, как шевелились на одеяле пальцы и говорил себе: вот я двигаю указательным пальцем, вот — большим. Но он не знал, что было раньше — движение или команда; что или кто даёт команду, отчего шевелятся губы, звучат слова? В Движении он не знал таких проблем, а сейчас не понимал, как можно думать о чём-нибудь другом. Работа разума, которую он всегда считал само собой разумеющейся, поражала его непрерывно: его "я", то есть первое лицо единственного числа, о котором, казалось, он знал всё, вдруг расплылось, заколебалось во времени и пространстве; оно тянулось из прошлого и кончалось где-то выше колена его больной ноги, от которой это "я" отреклось. Он знал из книг, что так бывает, но никогда бы не поверил, что это случится с ним. И вот, пожалуйста: он — калека; и самое странное, что его это не слишком волнует, его мысль занята совсем другим, захвачена новыми открытиями, исследует затонувшие острова прошлого, с которым лишь эта мёртвая нога как-то связана...

— Ты считаешь, что не можешь ходить из-за шрама. Но ты никогда о нём не рассказывал.

— Не знаю, — сказал Пётр, — не хочется говорить об этом.

— Но тебе это снится? Ты как-то упомянул о дурном сне, который всё время возвращается.

— Не знаю, — повторил Пётр неуверенно. — Это бессвязный сон. Я его плохо помню... что-то из начала, конец... Помню только, о чём он. Это трудно объяснить — я помню, о чём сон, но не помню самого сна. Легче рассказать, как это было в действительности.

— Неважно. Говори, как хочешь.

Он следил, как за ночь смещается знакомый серо-белый узор на потолке тёмной комнаты, и чувствовал великое одиночество. Минутами ему казалось, что это не Соня, а его мать сидит у его постели, склонившись над рукоделием — с чётким, напряжённым лицом, с губами, вздрагивающими от постоянной беззвучной жалобы. Его горло пересохло, в груди усилилось и расползлось тупое давление, потом тело выгнулось на матрасе, упираясь затылком в подушку, чтобы ослабить внутреннее давление.

Потом он почувствовал на лбу её руку и услышал её голос:

— Что с тобой, Петя? Расскажи мне.

И почти тут же тело его обмякло, и он услышал, как голос его с удивительной лёгкостью и немного хрипло сказал:

— Ты знаешь, я ведь предатель.

— Правда? — спросила, склонившись над работой, Соня.

— Я предал, но об этом никто не знает, — сказал Пётр, — меня никто не слышал, так как мне заткнули рот.

Он сказал и ему сразу стало легче; тело обмякло и увлажнилось.

— Кто заткнул тебе рот? — спросила Соня.

— Сыщики Особого отдела, — ответил он сонно и опять замолчал.

— Расскажи мне.

— Я об этом не рассказывал никому, — сказал он, разглядывая узор на потолке.

Но он знал, что сейчас начнёт говорить. И опять у него было чувство, что он слушает, склонившись над колодцем внутри себя, из которого звучит его глухой, глубинный голос. Он увидел свою руку с постукивающим по одеялу, как по клавише пишущей машинки, указательным пальцем, и подумал: "Велел ли я пальцу стучать? Или просто допустил этот стук? " Он услышал свой голос, а где-то в глубинах разума он всё ещё спрашивал — сам ли он приказал своему голосу звучать или допустил, чтобы этот хриплый, сонный голос звучал?

Он хотел рассказать о том шраме и о Дурном сне, но его память отклонилась к тому, что произошло накануне. Он проснулся в темноте, до того, как пошли автобусы и трамваи, и прошёл четыре километра от дома матери до места встречи, назначенной в фабричном районе предместья. У кафе с закрытыми ставнями стояли трое, сунув руки в карманы и ёжась от холода. Он знал только одного — чахоточного Осси, мастера по ремонту пишущих машинок. Осси держал под мышкой старый портфель с листовками. Второй был похож на пожилого жокея: невысокий, худой, в мятых штанах, с остроносым, бледным, худым лицом и в клетчатой фуражке; по выражению его глаз Пётр понял, что он давно живёт на пособие по безработице. Третий был очень молод, с круглыми, пухлыми щеками, покрытыми лёгким пушком и толстыми губами — явно деревенский парень, недавно приехавший в город. Все трое были угрюмые и сонные. Пётр дал инструкции, они разложили листовки по карманам и пошли.

Они шли по широкой немощёной дороге, по подмёрзшей грязи с застрявшей в трещинах копотью, похожей на тонкие хлопья чёрного снега. Шеренга высоких труб впереди изрыгала в воздух чёрные клубы

дыма, которые, растворяясь, покрывали серое небо прозрачной вуалью. Они пришли в рабочий посёлок и здесь разошлись, каждый — наметив себе определённые улицы.

У Петра на первой улице домá были только с одной стороны, с другой был пустырь, отведённый под свалку. Это была удача, так как не надо дважды пересекать дорогу. Он двигался быстро, в иных домах были почтовые ящики на дверях, в других он клал пять-шесть листовок на видное место на лестнице. Пока он не встретил ни души; до фабричного гудка оставалось полчаса. Но в гнилых утробах домов уже слышались звуки: плакали дети, звенела посуда, на задних дворах выплёскивали помои. Стены и оконные рамы были покрыты чёрным снегом, который проникал всюду, покрывал даже застывшие плевки и кучки собачьих экскрементов на мостовой.

На предпоследней улице толстая старая женщина в шлёпанцах вышла на порог дома, куда он только что бросил листовки, посылая ему вслед ругательства. Он поспешил прочь, втянув голову в плечи, заставляя себя не пропускать ни одной двери. Как всегда во время этих мероприятий его преследовало чувство полной бессмысленности своих действий; казалось, что между ними и тем, что привело его в Движение, нет никакой связи.

На последней улице он встретил полицейский патруль. Они зорко на него посмотрели, но не остановили. Пришлось подождать, пока они скроются, чтобы кончить улицу. В конце посёлка он встретил свою тройку. Осталось всего листовок двести, которые надо было пронести на фабрику.

У ворот стояла охрана, как везде в те времена. Пётр вынул план и показал, куда надо бросить через стену листовки, которые подберут их товарищи. Они подошли к стене и выставили с двух сторон наблюдателей: деревенского парня и "жокея". На дороге попадались ранние рабочие, и минут пять пришлось ждать подходящего момента.

Когда наблюдатели с двух сторон дали знак, что всё в порядке, Пётр с листовками в руках влез на спину Осси. Тот положил себе на плечи по листовке, чтобы его пиджак не испачкали ботинки Петра и, несмотря на спешку, Пётр постарался ступать на них. Схватившись за стену и пытаясь сохранить равновесие, он снова почувствовал, как бессмысленно то, что он делает, потом посмотрел за стену, увидел заброшенный фабричный двор и направо — тот уголок за уборными, куда следовало бросить листовки. Пачка была связана верёвкой, он прицелился и бросил её; она упала с глухим стуком на мёрзлую землю, в назначенное место. В тот же миг он услышал крик и, обернувшись, увидел, как "жокей" в клетчатой фуражке бежит к ним, а метрах в пятнадцати от него — трое полицейских. Он спрыгнул на землю и побежал

вместе с Осси в другую сторону, туда, где стоял деревенский парень. Парень увидел их и тоже бросился бежать. Идиот, подумал на бегу Пётр, стоял бы там, полицейские не поняли бы, что он с нами. И невысокий мог бы стоять, но он кричал, чтобы предупредить их, поскольку они с Осси не видели опасности. Благодаря ему они выиграли, может, метров двадцать. Пётр оглянулся как раз в тот момент, когда полицейский догнал невысокого и схватил за шиворот. Пётр на секунду помедлил, уступив безумному побуждению — вернуться к тому и помочь, но услышал, как "жокей" закричал:

— Беги, очкарик!

И тут толстый фараон, который держал невысокого за шиворот, ударил его изо всех сил лицом о каменную стену. Пётр бросился бежать. Бегал он хорошо, и скоро догнал тяжело дышавшего Осси. "Давай", — выдохнул Пётр, замедляя бег.

— Беги, чёртов очкарик, — прохрипел Осси.

"Очкариками" рабочие называли примкнувших к Движению интеллигентов. Пётр бросил Осси и побежал вперёд. Полицейские были метрах в тридцати. Следующее, что он увидел, был деревенский парень, который поскользнулся на мёрзлой земле и нырнув головой вперёд, упал. Пётр перепрыгнул через распростёртое тело и как во сне увидел, что тот поднял голову и пробормотал сквозь пухлые губы: "Беги, очкарик". Он побежал.

Завернув за угол, он снова оказался в посёлке. Он бежал мимо домов, где разбросал листовки. Человек пять шли навстречу. Теперь за Петром бежал всего один фараон, крича: "Держи убийцу!" Идущие навстречу Петру рабочие сделали нерешительную попытку преградить ему дорогу. Пётр на бегу прокричал: "Я политический, не рабочий, пропустите!" Он хотел сказать, что он не убийца, но по ошибке сказал "не рабочий". Однако его пропустили. Расстояние между ним и полицейским было уже метров шестьдесят. Он снова свернул за угол и оказался на главной улице, по которой шёл на полной скорости в сторону города трамвай. Из последних сил он догнал трамвай, схватился за поручень и вскочил на площадку. Лёгкие его разрывались, перед глазами плясали огненные круги. "Опаздываешь на работу? — спросил кондуктор. — Так и убиться можно". Пётр кивнул и заставил себя не смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться полицейский. Трамвай круто свернул. Он услышал далёкий свисток полицейского. Кондуктор проталкивался через переполненный вагон, собирая деньги. Пётр оглянулся. Далеко позади на рельсах несколько человек размахивали руками, быстро уменьшаясь в размерах.

На следующей остановке он пересел из трамвая в автобус и через двадцать минут был дома. Не успел он проскользнуть к себе в

комнату, как его мать, к тому времени уже почти не встававшая с постели, появилась в коридоре. Её лицо было очень бледно. Она оглядела его растерзанную фигуру. Её мягкие, бледные губы поджались, как у ребёнка, который, поколебавшись, решил заплакать. "За тобой гнались", — прошептала она. Он неловко обнял её за хрупкие плечи и проводил назад в спальню, чувствуя, как от холодного пота к телу липнет рубашка. Уложил её в постель и прикрыл розовым шёлковым пуховым одеялом. Глаза матери были сухими, но губы, кривясь, повторяли: "За моим сыном гонятся!" Он вышел из её спальни, принял ванну и лёг в постель. Он не думал об опасности — ни деревенский парень, ни "жокей" не знали его настоящего имени и адреса, а Осси не выдаст, что бы с ним ни делали. Измученный, он уснул. Разбудила его горничная, молодая деревенская девушка, которая сказала, что его ждут "три господина в чёрном".

Он сел, а они уже были в комнате. И его мать также — встав с постели, босиком. Вошла, крестясь, горничная, принесла матери туфли и накинула ей на плечи платок. Опасаясь, что мать подымет шум, сыщики сначала вели себя вежливо, заверяя, что он завтра вернётся. Глаза её по-прежнему были сухими, только запавший рот кривился и дрожал. Пришедшие методично приступили к работе — вспороли складным ножом стёганные одеяла, матрасы, портьеры, книжные перелёты, обивку кресла. Казалось, им доставляет удовольствие делать длинные аккуратные надрезы на мягком материале; в комнате слышалось их дыхание, и при каждом надрезе горничная крестилась. По всей комнате летали перья, как в рождественском спектакле. Ничего не найдя, они рассердились. Пытались разобрать лампу в виде белого фарфорового шара, стоявшую у него на столе, и так как резьба не поддавалась, ударили лампу об пол. Сломали ножки стульев и стола, проверяя, не спрятано ли что-нибудь на стыках. Глаза матери, сухие и напряжённые, следили за каждым их движением.

Покончив с его комнатой, они оттолкнули её от дверей и прошли к ней в спальню. Вышвырнули на пол всё из комода и шкафа — флаконы с лекарствами, хирургические инструменты, постельное бельё, старые вечерние платья, упакованные в тонкую бумагу и переложенные мешочками лаванды. Когда они стали рыться в её постели, ещё тёплой от хрупкого, лихорадящего тела, горничная вдруг подняла крик, но один из сыщиков, прижав её голову к стене, закрыл ей рот своей большой красной ладонью. Она тут же смолкла, и какое-то время в комнате слышалось только хриплое дыхание людей в чёрном.

Когда они кончили, квартира выглядела как после землетрясения. Пётр вышел под конвоем двух сыщиков. Оглянувшись, он увидел

в дверях мать в накинутом на плечи платке с бахромой, которая стояла, положив руку на плечо горничной. Он видел её в последний раз.

На площадке первого этажа на него надели наручники. Тот, кто закрыл рот горничной, ударил его по лицу и сказал: "Тебе не стыдно убивать свою старую мать? Погоди — вот приедем в участок!" Его повели к машине.

9.

Два дня рассказывал Пётр о листовках и о своём аресте. Он часто отвлекался или замолкал. Иногда казалось, что какую-то трубу в нём разрывало от внутреннего давления. Слова рвались из него, он говорил часами. Соня позволяла ему говорить о чём угодно, и когда он молчал, обессилев, она спокойно продолжала своё рукоделие. Постепенно отдельные части рассказа сложились в узор, как вышивка у неё на канве. Когда он дошёл до того момента, когда его привели в участок, Соня спросила:

— Здесь, наверное, произошла сцена из дурного сна?

— Не сразу, — ответил Пётр. Его горло пересохло, хотелось пить; он на минуту закрыл глаза. — Сначала был разговор с Радичем.

— С Радичем? — несколько удивилась Соня. — Он удостоил тебя допросом?

— Да. Я состоял в Исполкоме университетской ячейки, и они об этом подозревали, хотя уверены не были. Но им важно было лишить нас влияния среди студентов.

Он замолчал; Соня спросила:

— Что стало с Осси и двумя другими?

— Осси дали пятнадцать, но он был туберкулёзником, и сейчас его, наверное, нет в живых. О двух других я больше никогда не слышал. Даже не знаю, как их зовут. Дело с листовками было побочным. Я иногда ими занимался ради связей в рабочих кварталах. Партия этого не одобряла.

— Значит тебя не за это арестовали?

— Нет. Они и не знали о моём участии в том деле. Просто устроили облаву на всех подозрительных, чтобы лишить нас влияния в университете.

Снова наступила пауза. Потом Соня спросила:

— Почему ты крикнул, встретив тех рабочих на улице, что ты "не рабочий"? Интересная обмолвка.

— Да, — сказал Пётр, — я запомнил эту обмолвку. И часто о ней вспоминал.

— И к какому пришёл выводу?

— Что это было моё первое отречение. Ты знаешь, и раньше, когда я распространял в этих трущобах листовки, я чувствовал, что, несмотря на все разговоры о солидарности с простым народом, я к нему по-настоящему не принадлежу. Я в этом не признавался себе, но я это чувствовал. Поэтому я и распространял листовки, хотя это было не моим делом и партия этого не одобряла. Я думал, привыкну, но не привык. И когда за мной гнались, я чувствовал, что будет несправедливо, если меня схватят: ведь я был посторонним, добровольцем-любителем, не то, что Осси и те двое, которые для этого родились.

Немного погодя он продолжал прерывающимся голосом:

— В голове всё было в порядке, но глубоко внутри — нет. И язык меня выдал.

Он умолк, затем продолжал:

— Я вернулся домой и нежился в горячей ванне, а в это время Осси и тех двоих, наверное, били до полусмерти в полиции. И я решил себя наказать — разбрасывать листовки каждое утро, а не раз в неделю, как раньше. Но за мной пришли, и я никогда больше этим не занимался...

Соня обернулась к нему. Свет у неё за спиной делал её лицо по-матерински мягким.

— И до каких пор ты будешь себя наказывать? — спросила она. — Знаешь, строже всего люди наказывают себя за выдуманную вину.

Пётр не ответил. Немного погодя он сказал:

— Ты ведь не знаешь, что было потом...

Соня склонилась над работой и ждала.

— Ты знаешь Радича? — спросил Пётр.

— Я встречала его раза два на вечеринках. И, конечно, я о нём слышала. Кажется, он состоял с твоим отцом в одном клубе, но это было ещё до твоего рождения.

— Я знаю, он мне сказал.

Он закрыл глаза; он видел всю сцену так отчётливо, словно на полотне. Видел скульптурное лицо легендарного старика, главы Политического управления, разгромившего революционную организацию в стране. Лицо это надвигалось на него с другой стороны стола. Самое большое лицо, какое Пётр видел в жизни. Всё покрытое оспинами, ссадинами, шрамами, морщинами и бородавками. Его можно было изучать часами, как карту, и делать всё новые открытия. У него были густые тяжёлые брови какого-то вымершего человекообразного существа, а под ними — глубоко сидящие хитрые, насмешливые глаза старого крестьянина. Бычья шея, квадратные плечи, грубый покрой чёрного костюма и тяжёлая цепь для часов, свисающая из жилетного кармана, довершали сходство с разбогатевшим старым крестьянином, втайне смеющимся

над горожанами, среди которых ему приходится жить и которым не хватает его знаний о животных, дожде и ветре. Сидя за столом, он казался гигантом, но когда встал, Пётр увидел, что он среднего роста.

— Он с тобой плохо обращался? — спросила Соня.

— Плохо обращался? — засмеялся отрывисто и неприятно Пётр. — Меня привели к нему в тот же вечер. Я не знал, куда меня ведут. Наши шаги эхом отдавались в каменных коридорах. И вдруг я стою на толстом ковре с ворсом чуть не по колено. Дверь обита зелёным. Меня втолкнули внутрь и захлопнули за мной дверь. И вот я вижу — за огромным столом сидит Радич и разглядывает меня, вытянув шею. Я продолжал стоять у двери. Он на меня смотрел, может, полминуты. Потом поманил указательным пальцем правой руки и сказал:

— Пойди сюда, парень, и вытри нос.

Сыщики мне задали предварительную трёпку в машине, и вторую — в приёмной тюрьмы. Я подошёл по толстому ковру ближе к его столу, шаря в карманах, но платок у меня отобрали вместе со всем прочим. Радич наблюдал за мной, затем вынул свой платок из нагрудного кармана и бросил мне через стол. Это был большой белый шёлковый платок с его монограммой в углу, он пахнул одеколоном. Я высморкался, красные пятна крови растеклись по платку, как по промокашке. Я хотел вернуть ему платок, но он сказал:

— Оставь его себе. Если мы не расстреляем тебя, он твой. Если мы тебя расстреляем — попроси его выстирать и вернуть мне. Обещаешь?

Я так растерялся, что кивнул головой. Сейчас его слова кажутся шуткой, но в тот момент мне так не казалось. У него был глубокий голос, похожий на русский бас, и обращался он то на "ты", то на "вы", и у него это получалось вполне естественно. Секунду он не сводил с меня глаз, а я всё держал его платок у носа. Потом он сказал:

— Я знал твоего отца, иногда играл с ним в карты. Он был приличный человек и всегда проигрывал. Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— Восемнадцать? Ещё в пелёнках, а уже озорничает. Спустить бы тебе штаны да всыпать по заднице.

Он посмотрел на меня налитыми кровью глазами, потом открыл ящик стола и вынул сигару. Обрезая её золотым ножиком, висящим на цепочке, он спросил:

— Куришь? Или предпочитаешь сладкое? — И он положил на стол пачку сигарет и коробку шоколада. Я взял сигарету, он бросил мне через стол спички и смотрел, как я закуриваю. Я курил уже несколько месяцев, но под его взглядом ломал спички и выпускал дым, как школьник, изображающий заправского курильщика. Он ждал, что я закашля-

юсь, и я закашлялся, то ли из-за разбитого носа, то ли оттого, что он ждал этого. Сигарета промокла от крови и порвалась на конце. Я смял её и закурил другую. Он следил за мной со спокойной иронией, а я всё стоял там, против него. Потом он сказал:

— Теперь слушай. Ты хочешь быть крутым парнем, но ты не крутой. Ты мягкий. Ты пишешь стихи. Их печатали в каком-то журнале. Я их видел в твоём деле. Ты из хорошей семьи. Ты не еврей. Ты никогда не работал ни на заводе, ни на земле. Что ж ты валяешь дурака и разбиваешь сердце своей матери?

Я молчал и просто стоял перед ним, пытаясь встретить его налитые кровью глаза яростным взглядом, и знал, что ничего не выйдет: вместо ненависти я испытывал чувство вины. Понимаешь, Соня: на моей стороне была правда, а не на его, но я себя чувствовал виноватым, а не он. Я себя чувствовал, как фокстерьер, который лает на большого сенбернара, хотя я даже не лаял.

Я делал вид, что не отвечаю, чтобы себя не выдать, так как первой заповедью партии было молчать на допросах. Но на самом деле я хотел бы ему ответить, нагрубить, произнести пламенную речь — и плевать, что будет со мной и с другими, но я просто не мог открыть рта, потому что я чувствовал, что прав он, а не я. Вот как я стал в тот день предателем вторично — внутренне с ним согласившись.

— Но ведь с точки зрения партии ты вёл себя правильно! — возразила Соня.

— Да. Но только внешне. В душе я стал предателем. Я вёл себя правильно, но побуждения мои были неправильные.

— Ну, а если бы ты произнёс "пламенную речь", удовлетворил бы своё тщеславие и при этом дал бы ему всю нужную информацию — тебе было бы легче?

— Не знаю. Здесь всегда начинается путаница.

— Ну, а дальше?

— Он сказал, что движение наше провалилось, стало безнадёжным делом, донкихотством — и это было правдой; он доказал, что его агенты повсюду, что один из членов нашего ЦК — он не сказал, кто именно — его агент; что в нашей стране всё зависит от крестьян, и что он знает крестьян лучше меня — что тоже было правдой. Потом он объяснил, в чём наша теоретическая ошибка; упомянул о полемике Розы Люксембург с Бухариным, указал на недостатки теории прибавочной стоимости, на недооценку психологии масс в нашей теории классовой борьбы, напомнил о московских процессах, о суде над Рубашовым — к несчастью, Радич разбирался в наших теориях лучше многих из нас. Для него в этом был великий спортивный интерес. Он был, как тот охотник, который знает о лисице больше, чем она сама. Он выразил все мои

сомнения и еретические мысли, только гораздо отчётливее, чем сделал бы это я сам. Под конец он заговорил тоном ветхозаветных пророков. Пятьдесят лет назад, сказал он, парню моего возраста поиграть в преобразователя мира было — как переболеть корью. Но времена изменились, и то, что теперь можно подхватить — это уже не корь, а проказа. Все границы закроются перед прокажённым, везде его посадят за решётку. Он будет изгоем, вечным скитальцем на земле. Что страна — какой бы она ни была — красной, белой, жёлтой или зелёной — защитится от заразы, что Дон-Кихот нынче — это прокажённый с колокольчиком на шее, а его Санчо — жирный сыщик в котелке.

Я знал, что он в основном прав, и он знал, что я это знаю. Затем он прочёл мне список тех, кого полиция подозревала в принадлежности к университетской ячейке. Больше половины списка были, действительно, наши. Это меня почти добило. Нашей работой непосредственно руководил Исполнительный комитет, на конспиративные способности партии мы абсолютно полагались, и вот — Радич с нами играет в кошки-мышки. Когда он несколько минут назад сказал, что его агенты есть в самом ЦК, я до конца ему не поверил, но тут я понял, что всё пропало. И впервые по-настоящему испугался. Я стоял на ковре у его стола с разбитым носом, их которого капала кровь, и чувствовал себя всеми покинутым и одиноким. Захотелось убежать домой, зарыться лицом в постель матери. "Ты — мягкий", — сказал Радич, и он был прав.

— Ну-с, — продолжал он, — я знаю, как ты себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя, как мальчик, который играл в ковбоев и индейцев с мальчиками постарше. Как вдруг его тащат к пыточному столбу, и он жалобно кричит: "Я больше не играю, я хочу домой!" Но здесь не игра, мой мальчик. Здесь, в этом доме, у нас есть настоящие пыточные столбы. Ты их узнаешь, как только выйдешь из этой комнаты. А мои люди — это тигры, настоящие тигры, мой мальчик...

Тут он выложил свою козырную карту. В память о моём отце он хочет дать мне шанс. Если я во всём сознаюсь, то получу паспорт и смогу кончить университет за границей, пока всю историю не забудут. "Учти, — сказал он, — твоя информация мне до лампочки. Вот он, этот список. Ты его видел. Через 24 часа большинство их будет здесь, так что дружкам твоим так и так хана́. А после первой порки все завизжат, как поросячий выводок. Для меня никакой разницы нет, согласишься ты или нет. И для них тоже. К тому же — если не сейчас, то позже, с помощью моих людей, ты заговоришь всё равно, но тогда будет поздно".

— Ну, — закончил он, — я с тобой достаточно повозился. Что ты стоишь и таращишься, как пойманный карп? Даю тебе тридцать секунд. И если через тридцать секунд ты не откроешь своего жалкого рта — ты поплатишься жизнью, и сам Господь тебя не спасёт...

Он снял часы и положил их перед собой на стол. Это были большие старинные часы с боем и золотой крышкой, которая открывалась, если нажать на верх. Они очень громко тикали. Я видел, как двигалась секундная стрелка; она дёргалась дважды в секунду. Когда мы стали на неё смотреть, она стояла на цифре 15. До 45-ти она шла долго. В комнате было так тихо, что когда я шмыгал носом, казалось, что этот звук отдаётся от стен эхом.

Когда стрелка подошла к 45-ти, мы оба шевельнулись, он нажал кнопку у себя на столе и сказал:

— Ладно, мальчик, я с тобой кончил возиться. Дальше — очередь моих людей. Ты хотел играть в героя, но ты просто свалял дурака.

Меня увели, и я знал, что он опять прав.

— Но, — спросила, помолчав, Соня, — почему ты, действительно, не принял его предложения, тем более, что для твоих друзей было всё равно?

— Действительно — почему? Я часто об этом думаю. Правда, у него была только половина списка, но я был уверен, что он скоро получит и вторую. Так или иначе, дело было не в верности, преданности и т.п. В душе я их предал. Но почему-то не пошёл дальше.

— Ты помнишь, о чём ты думал эти тридцать секунд?

— Довольно смутно. Не стоит распространяться.

— Это важно.

— Ну, ладно. Пожалуй, это смешной момент. Мне очень хотелось в уборную. Казалось, я не выдержу. Я представил, как я стою, а на ковре — лужа. А часы всё тикали. Пытаясь сдержаться, я напряг все мускулы. Я переступал с ноги на ногу, пальцы в ботинках сжимались, на лбу выступил холодный пот. А стрелка на часах двигалась так медленно, что, казалось, этому конца не будет. Потом, я помню, прошло двадцать секунд, а стрелка всё стояла на 35-ти.

— Стояла неподвижно?

— Так мне казалось.

— И что потом?

— Не знаю. Стрелка вдруг оказалась на 45-ти. И он нажал кнопку.

— Ты не помнишь, что чувствовал последние 10 секунд?

— Нет. Как сейчас помню: стрелка движется рывками от 15-ти до 35, но как она дошла оттуда до 45-ти — не помню.

— Ну, конечно же, ты помнишь, — сказала Соня мягко, не поднимая взгляда.

— Ты так думаешь? — спросил Пётр сонным и как будто вялым голосом, но со скрытым волнением, говорящим о том, что память о прошлом вернулась. — Может, и помню, но очень смутно. Может, я за-

был на секунду, что передо мной Радич, и представил себе, как я ребёнком стою перед своим отцом, надувшись и дрожа от страха. Но когда умер отец, мне было только три года, и я едва его помню. Знаю лишь, что он был суровый человек, и я всегда его боялся и всегда на него дулся. Меня часто заставляли извиняться перед ним и целовать ему руку, прося прощения. У него была большая волосатая рука, и я ненавидел её целовать. Смешно, но я до сих пор помню прикосновение этих жёстких, чёрных волос к своим губам. Мать его тоже боялась, я это знал. Я знал, что она — на моей стороне, но показать этого не смеет. Помню, как он сидит в кресле, зажав меня в коленях и крепко держа своими большими руками за локти, смотрит в лицо, добиваясь моего раскаяния. У него была большая золотая цепочка от часов, висящая, как у Радича, из жилетного кармана; я пытаюсь сдержать мочу и слёзы, а он сжимает мне локти и произносит сквозь зубы слова. Требуя, чтобы я их повторил: "Папа, прости меня, я больше не буду". Слова вырываются с шипением из-под его усов, из-за золотого зуба сбоку, я снова и снова пытаюсь, но не могу их повторить, в горле у меня губка и слова не проходят.

— Губка в горле? — спросила Соня.

— Да, — сонно подтвердил Пётр, затем прибавил изменившимся, удивлённым голосом:

— Но мне действительно заткнули рот губкой, чтобы я не кричал. Потому они и не услышали, когда я готов был всех выдать.

Несколько секунд он словно пробивался в темноте наощупь. Разные слои прошлого перемешались, как бывает в шахте, когда видно сразу несколько геологических пластов. Губкой ему заткнули рот сыщики, уведя из комнаты Радича; пока на столе тикали часы — сцена эта ещё принадлежала будущему; но за теми пустыми десятью секундами, пока часы тикали, маячила память о цепочке с других часов, а за несказанными словами, которыми он бы выдал товарищей — эхо тех слов из ранних лет "Папа, прости меня", заглушённых губкой, которою рука мучителей, протянувшись из будущего в прошлое, будто заткнула рот ребёнку. Ибо сон не признаёт временно́й последовательности, и восстанавливая во сне прошлое, память подобно тонкому лучу, прыгающему вверх-вниз по разрезу шахты, освещала то верхний пласт, то коренной, так что иногда причина, казалось, была ближе к поверхности, а следствие вкраплено в виде предчувствия в более глубоких пластах. И иногда, на самом дне шахты, в самых скрытых и забытых отсеках, тревожил отблеск другой памяти — тусклый, затерянный в колеблющемся, шатком тумане колыбели: первый крик отчаяния и протеста, непорочное зачатие вины.

Хотя Петру часто казалось, что он теряет нить, но постепенно в нём возникло новое понимание. Однако прошло несколько дней, пока тот неуловимый бред, который он называл Дурным сном, обнаружил своё содержание. Самое удивительное, что он помнил, что случилось после того, как он вышел из комнаты Радича, а вызванного этими событиями сна вспомнить не мог. Но оказалось, что Дурной сон — это не просто слепок тех событий (они были только верхним слоем), но имел вертикальную протяжённость, связывая и перепутывая эти события с другими, более ранними, из-за которых поведение Петра перед его мучителями, внешне вполне достойное, обременялось чувством стыда и вины, как золото, превращающееся от дыхания дьявола в дерьмо.

Внешне, однако, всё выглядело так, что, вопреки ожиданиям Радича и своим собственным, Пётр не сломался. Из кабинета Радича его повели вниз, долгими петляющими коридорами, в холодный большой подвал. Там было шесть человек. Трое, сидя на краю соснового стола, играли в карты, двое читали газеты, шестой, держа во рту сигару и сдвинув на затылок котелок, расстегнул брюки и искал у окна вшей. Все шестеро были в штатском; в мутном, сочившемся в грязные, замёрзшие окна свете, они напоминали группу торговцев мануфактурой с картины Рембрандта.

Когда дверь за Петром закрылась, читатели не спеша сложили газеты, игроки так же лениво сунули в карман карты, а шестой стал застёгивать нижнюю рубашку и брюки; но все глаза направились на Петра. Пётр бегло осмотрел комнату. Отсутствие каких-то специальных инструментов, преследовавших его воображение, было некоторым утешением, вытесненным, однако, высоким узким шкафом неизвестного содержания. Шестеро, с их неспешными, скользящими движениями, стали вокруг него неплотным кольцом; тот, кто искал вшей, ткнул кривым указательным пальцем Петра под подбородок, слегка приподнял его лицо и сказал: "Ну, сынок, я слышал, ты хочешь во всём, во всём признаться".

Но Пётр так оцепенел от страха, что, желая поскорей всё кончить и наказать себя за трусость и унижение, сказал странным, звенящим голосом: "Не в чем мне признаваться".

Человек, стоявший напротив, снова протянул руку и приподнял указательным пальцем лицо Петра; потом срыгнул, что-то пожевал и плюнул ему прямо в лицо. Пётр отпрянул, но кривой указательный палец снова влез ему под подбородок; лицо Петра с залепленным липкой массой глазом дёрнулось, и тут же другая рука ударила его со всего размаху по носу. Он дёрнулся назад, был схвачен сзади вторым, переброшен к третьему, получил удар в живот, согнулся пополам, выпрямился от удара в подбородок и полетел кувырком по кругу, как в какой-

то дикой пляске. Первый удар сломал ему переносицу, второй разбил губы и выбил два зуба; зато при первых же ударах совершенно исчез страх, и пока его постепенно поглощала тьма, взрываясь вспышками боли, он испытывал странный, почти непристойный экстаз, превративший прыжки и дёрганье в кругу потных, хрипящих, избивающих его людей в подобие ритуального танца, с тупым стуком его сердца вместо ударов шаманского бубна.

Наконец, он потерял сознание. Но в тот момент, как над реальностью опустился чёрный занавес, в бреду он увидел волшебно преображённую сцену с поднятым над ней прозрачным занавесом. И актёрами были не квадратные, одетые в чёрные костюмы, в котелках, с сигарами и тяжёлыми кулаками; прозаические маски упали, и в мягком полумраке детства явились полубоги, раздающие наказания и награды; под действием их непостижимых законов смешались желанья и боль, намечая до сих пор расплывчатые границы между внешним и внутренним миром, связывая крылья ранних желаний и навсегда оставляя на них шрамы тревожной вины.

С помощью Сони Пётр стал находить путь в этом странном и знакомом мире; анализируя его сны, она обнаружила корни его стыда и гордости, самобичевания и жажды искупить вину. Она была терпелива, безлична и безжалостна. Он очень к ней привязался, стал от неё зависим; но от неё же он узнал, что даже эта привязанность была симптомом, возникшим по известному образцу. Его когда-то твёрдые убеждения и ценности стали текучими, распались на составные части. И сам он, герой этой повести, такой храбрый со своими мучителями, он, чьё имя, хотя он этого ещё не знал, станет легендой для целого поколения его страны — стоял истерзанный и дрожащий, и от него не осталось ничего, кроме младенческих рефлексов.

Так он и выглядел, когда вылитое на него ведро воды вернуло ему сознание. Он лежал на полу, вокруг стояли шестеро человек в чёрном. Он смотрел, ничего не соображая, на их равнодушные лица. Двое помогли ему встать, проявили заботу.

— Парень, парень, — сказал тот, кто плюнул ему в лицо, — думаешь, нам приятно эти заниматься? Посмотри на своё хорошенькое личико. И он протянул карманное зеркало с прикреплённым к нему грязным гребешком. Пётр невольно посмотрел, и дикая маска, глянувшая на него из зеркала, усилила в нём ощущение нереальности.

— Ну вот, — продолжал тот, — что теперь скажут девушки? Но если ты и дальше будешь валять дурака, нам придётся переломать тебе все кости, одну за другой. У нас нет выбора. Будь хорошим мальчиком и расскажи нам что-нибудь из того, что мы хотим знать.

— Только, чтобы доказать свои добрые намерения, — сказал второй. — Что нам надо, мы всё равно узнаем. Думаешь, ты нужен движению? Плевать им на тебя, я тебе говорю. Они называют тебя очкариком, смеются над тобой и такими, как ты.

Сейчас начнут по новой, устало подумал Пётр. Как глупо, что они думают, будто ему есть дело до партии. Он её бросил и предал давно. И даже вовсе забыл, что это такое. Он стоял в своей мокрой одежде и дрожал, и сквозь стук зубов раздался его голос — голос испуганного, упрямого ребёнка, который и рад бы помириться, но, начав дуться, не может перестать: "Не в чем мне признаваться".

Когда они открыли шкаф, он всё ещё был в таком оцепенении, что сначала принял все эти приспособления из кожи и стали, висящие аккуратно на крючках, за собачью сбрую. Он заметил с удивлением, будто глядя со стороны, что на внутренней стороне двери приклеена машинописная опись имущества. Ему велели раздеться, и туман в голове стал рассеиваться; но движения его были автоматическими. Когда его подвели к столу и приказали над ним наклониться, он стал сопротивляться; но они пригнули его голову силой, и один из них с другого конца стола схватил его за руки и прижал грудью к столу. Подбородок его упёрся в грубое, пахнущее карболкой дерево; но угловым зрением он видел металлический блеск инструментов, которые они вытащили из шкафа. От первых трёх ударов его тело, казалось, разорвалось надвое; он не представлял себе, что можно испытывать такую смертельную боль и оставаться в живых, продолжая её чувствовать, и чувствовать её снова и снова; что сознание может вместить эти чудовищные ощущения. После четвёртого удара боль словно переместилась со спины в мозг. С каждым новым ударом будто электрический свет вспыхивал позади глазных яблок и производил в черепе взрыв. Он услышал свои долгие, дикие вопли, почувствовал, как опростался мочевой пузырь, а желудок вывернул своё содержимое на стол. Были молния и гром, разрыв кожи, удушье от губки, засунутой в глотку, чтобы заглушить крики. Вдруг всё прекратилось; давление на пальцы ослабло; его тело медленно соскользнуло со стола и рухнуло на пол. Они окружили его, лежащего в своей крови и моче, и вынули у него изо рта губку.

— Ну, теперь ты будешь говорить? — спросили они. Да, когда губка была во рту, он хотел говорить. Хотел всего лишь крикнуть: "Папа, прости меня", лишь бы они прекратили и дали ему дышать. Он глубоко, со всхлипом вздохнул, сглотнув слёзы и сопли, и блаженно чувствуя, что теряет сознание, произнёс слабым, исчезающим голосом:

— Не в чем мне признаваться.

10.

Соня хотела подробности, что ж, она их получила.

Террор обычно представляют в абстрактных, политических категориях или в художественных образах, показывающих страдания мучеников. Но люди забыли о живой плоти. Они умно рассуждали о мужестве и вере, а ведь сам Христос забыл и о том, и о другом, когда в муках закричал: "*Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?*". О страданиях говорили, как стыдливый викарий — о таинствах любви. Стыдились похоти плоти и не ведали её отчаяния. Преклонялись перед мифическим героем, презирающим пытку и смерть, ничего не зная о трагической борьбе человека за власть над своими мышцами, нервами, желудком. Но те, кто превратил террор в науку — они-то знали. Знали инквизиторы, знали люди в чёрном. Они знали: как только боль достигла определённого уровня, что бы ни происходило у жертвы в голове, другие части организма выходят из-под контроля — желудок извергает содержимое, слёзные железы переполняются, голосовые связки вибрируют сами по себе, сфинктер прямой кишки разжимается. Они знали об этих явлениях и на них рассчитывали — на безграничное унижение человеке, низведённого до состояния беспомощного младенца, которое лишает его достоинства и подрывает волю к борьбе.

Ибо плоть хитра; она хочет жить своей собственной дикой жаждой; и в кризисный момент может уцелеть, лишь предавая дух, глумясь над ним, оскверняя его, чтобы доказать: в сопротивлении нет смысла. Инквизиторы знали, что подлинный их союзник — не дух жертвы, но плоть.

Пока люди в чёрном изучали уловки плоти, их противники не проходили школы, которая учит побеждать бунтующие мускулы и железы. Им приходилось в одиночку изобретать странные трюки и постыдные уловки, о которых жертвы, если выживали, никому не рассказывали.

Но Соня хотела подробностей... Его мучили четыре дня подряд. В первый день его бросили, когда он второй раз потерял сознание. Так он понял, что единственная его надежда — ослабить свою физическую сопротивляемость, чтобы в следующий раз потерять сознание прежде, чем плоть его одолеет. Он сосредоточился на том, чтобы ослабить тело, отказываясь от пищи и сна и подавляя тайную жажду тела жить. Лёжа на цементном полу своей камеры, плавая в кипящем море боли и хрипло дыша, он боролся с последними вспышками этой презренной жажды. Он долгое время считал, что никто не падал в такую бездну, пока не узнал от своих товарищей, что и с ними было то же.

На второй день его привязали к столу и всунули в ноздри резиновые трубки, через которые в глотку вливали воду. Это было всё равно, что тонуть, только хуже, так как продолжалось дольше. Каждый раз, как он почти захлёбывался, чувствуя, что лёгкие вот-вот лопнут, а глаза вылезут из орбит, пытка прекращалась, и от него требовали говорить. Но к тому времени это стало интеллектуально невозможным: какая-то корка, которой покрылся его разум и которая мешала ему признаться, с каждым часом всё утолщалась. То, что было во время беседы с Радичем тонкой плёнкой, сейчас превратилось в кору, недоступную боли и жажде жить. Люди в чёрном, похоже, это заметили; им стало скучно с Петром. Когда после часа удушья, рвоты, стонов и воплей с прокушенной верхней губой и вымазанным слезами и слюной лицом, его укрыло блаженное беспамятство, они бросили с ним возиться и отволокли его в камеру. Так закончился второй день.

На третий, поскольку тюрьма была переполнена, к нему в камеру втолкнули на несколько минут другого заключённого. Он был похож на крестьянина — высокий, грузный, неуклюжий, с плечами, согнутыми привычкой склоняться к земле; круглое, тупое лицо покрыто кровавой коркой. Надзиратель его втолкнул, и он споткнулся, как пьяный, длинные руки болтались до колен. Дверь за ним закрылась, он присел на корточки на цементном полу, привалившись спиной к стене.

— Господи Иисусе, — сказал он, уставившись на Петра, лежавшего вниз лицом на своём пальто, брошенном на пол, — посмотрите на этого очкарика. Его отделали похлеще, чем меня.

Он достал из кармана горсть табачных листьев и стал жевать.

— Так тебе и надо, — сказал он, пожевав. — Это вы заварили кашу и нас втянули. Без вас мы жили спокойно и счастливо.

— На шесть грошей за двенадцатичасовой рабочий день? — спросил Пётр и застонал от боли, пытаясь приподняться на локте.

— На хрен всё это, — сказал человек, сплёвывая коричневую табачную жижу, смешанную с кровью в угол камеры, — этой вознёй ничего не изменишь. Господи, ну и дурак же я был. Но теперь я умный.

— Ты что — подписал? — спросил Пётр.

— А что оставалось? Я подписал все их бумажки. Господи, да я бы признался, что трахнул святую Деву, если бы они потребовали.

— Ну и дурак, — сказал Пётр, укладываясь снова и положив голову на руку.

— Послушайте его! — сказал человек. — Дева пресвятая, послушайте этого очкарика! А ты что — не подписал?

Пётр не ответил; боль, гордость и унижение прокатились по нему горячими и холодными волнами. Но его молчание странно подействовало на человека.

— Он не подписал!!! — закричал тот вдруг, когда до него дошло. — Иисус и Мария, да над ним в тысячу раз хуже издевались, но он не... святая Дева, почему я такой неуч, почему остался дураком? — Он пополз на коленях к Петру, и не успел тот понять, что он хочет сделать, как он схватил руку Петра, поцеловал её, вытирая губы о пальцы Петра и пачкая их кровью и табачной слюной. Через несколько минут его увели в другу камеру.

На третий день люди в чёрном делали своё дело как-то лениво. Они знали: если упрямство дошло до предела — жертва для них потеряна. Бесцельная жестокость не доставляла им удовольствия — по крайней мере, с такой дохлятиной, как этот заморыш в весе пера; то ли дело — силачи, женщины или толстые, с нежной кожей евреи! Поэтому работалось им скучно. Бить по открытой ране на спине, рискуя угробить, нельзя, с резиновыми трубками снова начинать нельзя — пульс совсем слабый, мерцающий. Ему влили в глотку немного бренди и поколотили по пяткам. И снова удары наполнили его невыносимыми взрывами боли, рвущимися от ног через живот к мозгу; затем, когда пришло отупение, боль потеряла свою точность и трясла всего его тупыми взрывами, пока, после десятого или одиннадцатого удара, что-то щёлкнуло в голове слабым, сухим щелчком, он потерял сознание; на этот раз обморок был таким глубоким, что очнулся он только через несколько часов у себя в камере. Так кончился третий день.

Четвёртый, последний день содержал заключительные образы Дурного сна.

На этот раз его несли из камеры в пыточную на носилках. Снова положили на стол с грубой деревянной поверхностью и запахом карболки; сорвали одежду и плотно привязали кожаными ремнями за руки и за ноги по диагонали к четырём углам. Потом они молча стали у стола — шестеро полностью одетых людей, с грязно-белыми жесткими воротничками и в котелках. На фоне их чёрной одежды его собственная нагота наполняла его стыдом и страхом. Его сердце прыгало и дрожало, замирало и оживало вновь, ужасаясь собственной беспомощности. А они всё не шевелились; просто стояли вокруг и смотрели на его распятое тело в мрачной задумчивости. Это молчание, чреватое ожиданием неведомого, привело его ближе к слому, чем физическая боль, которую ему причиняли в предыдущие дни. У боли есть предел, у страха — нет. Он проникал повсюду, как замедленный электрический шок, заставляя его оскаленные зубы вибрировать, хотя он сжимал челюсти, чтобы они не стучали. Контуры комнаты заколыхались. Наконец, один из них заговорил.

Это был тот, кто плюнул ему в лицо в первый день. Как только он открыл рот, комната остановилась, снова приняла свой нормальный,

тусклый вид, и мышцы Петра напряглись, как у борца за секунду до схватки.

— Ну что ж, мой мальчик, — сказал тот почти торжественно, — сегодня мы с тобой так или иначе покончим. У тебя было время подумать, и мы уверены, что ты нам расскажешь кое-что из того, что мы хотим знать.

Где-то в глубине своего истерзанного существа Пётр почувствовал, как сердце его облегчённо вздрогнуло — частью оттого, что сегодня всё кончится — неважно как — но в основном из-за недостатка воображения, который выдавали слова этого человека. Напряжение спало: первобытный страх исчез, полубоги вокруг него уменьшились до подобающих размеров — потные, убогие низкооплачиваемые фараоны, неспособные придумать ничего лучше надоевшего припева о кое-чём, что они хотят знать. Пётр облегчённо вздохнул сквозь зубы, как ребёнок, обнаружив руку кукольника за спиной дьявола.

— Не хочешь, да? Ладно, — человек, казалось, совсем не удивился. И добавил, сдвигая котелок на затылок, — Мы, пожалуй, тебя немного пощекочем, может, все и посмеёмся.

Он медленно вынул горящую сигару изо рта и, не сводя глаз с лица Петра, приблизил её дюйм за дюймом к его правой пятке, которая притиснутая за лодыжку кожаным ремнём, подпрыгнула над краем стола. Пётр услышал слабый хруст; он так стиснул челюсти, что сломал верхний зуб. В тот же миг горящая сигара коснулась его пятки, пальцы на ногах сжались; правая нога внезапно налилась дикой энергией и отчаянно пыталась вырваться; кожаный ремень врезался в мясо, содрав слой кожи; дыхание со свистом вырвалось между зубами, как шипение рассерженного гусака; он почувствовал запах горелого мяса, изо рта и из носа брызнула горькая желчь. Затем сигара снова показалась в воздухе, у него над головой, и толстые пальцы с квадратными чёрными ногтями стряхнули ему на лицо пепел.

— Что-то он не смеётся! — сказал человек с сигарой, — ну-ка давай чего-нибудь посмешней!

— Гораздо смешней! — сказал другой, стоящий в верхней части стола, у Петра над головой.

Остальные четверо стояли с длинных сторон стола, по двое с каждой стороны, и смотрели вниз на его тело, как ассистенты в анатомическом театре.

— Вот тебе! — и человек с сигарой медленно приблизил её горящий конец к паху Петра. — За здоровье детишек!

В ту же секунду тело Петра судорожно, отчаянно, в диком приливе сил изогнулось, ремень, державший правое колено, лопнул, но-

га дёрнулась, ударив человека с сигарой в грудь и отбросив его от стола.

Остальные засмеялись; такой неожиданный поворот дела их рассмешил. Как это ни странно, они не рассердились, даже тот, кого он ударил. Жалость в них, затеплилась, что ли? Или, подобие мужской солидарности, уважение к священной деликатной сфере потенциальной жизни? Так или иначе, они оставили свою затею. Вместо этого человек с сигарой схватил свободную, дико брыкающуюся ногу, сунул горящую сигару ему под колено и согнул ногу. Пётр завопил, тело в последний раз выгнулось, и он потерял сознание. Его испытание кончилось.

Он вышел из него победителем, хотя разум его блуждал далеко и ещё не сознавал этого; но когда уборщики уносили неподвижное, пахнущее палёным мясом тело на носилках, один из людей в чёрном представил на миг траурную процессию под арками и на щите — павшего героя.

11.

— Когда я начну ходить? — спросил на другой день Пётр. С тех пор, как спала температура, он спрашивал об этом каждое утро, с упорством больного; и каждый раз Соня, как терпеливая нянька, отвечала, словно повторяя предписание врача:

— Как только решишь, куда тебе идти.

Пётр умолкал и погружался в размышления; он был слишком слаб и растерян, чтобы спорить. Однако сегодня он чувствовал себя крепче и нетерпеливей; проснувшись, он заметил, что парализованная нога, по-прежнему неподвижная, чуть ожила: с силой её сжав, он ощутил слабую реакцию.

— Но я ведь уже решил, — сказал он.

— Вслед за Одетт?

— Нет. Ты знаешь, куда я должен ехать. — И, погодя, мечтательно: — Я буду летать.

Соня критически рассматривала свою работу.

— Чего ж ты не летишь? — спросила она холодно.

— Но я не могу даже ходить.

— Потому что у тебя ноги умнее головы.

Он не нашёлся, что ответить, так как глубоко внутри себя, в самой глубине себя чувствовал: в её словах что-то есть.

Время от времени он пытался дать себе ясный отчёт в том, что с ним случилось. Иногда по утрам, чувствуя себя отдохнувшим и свежим, он садился в постели и бодро говорил себе: "Ну-ка рассмотрим ситуацию. Вздор этот годится для истеричной старой девы. Соберись.

Сделай усилие, и он исчезнет, как призрак при свете дня. Взглянем фактам в лицо".

Но в голове по-прежнему было пусто, и он продолжал себя убеждать, словно кучер загнанную лошадь: "Вспомни, как это началось. Я собирался к господину Вильсону, поговорить насчёт того, чтобы идти воевать, но накануне уехала Одетт и хотела, чтобы я поехал за ней..." Но на этом месте его старый враг, притаившаяся боль, просыпалась и начинала дёргать, сосать в груди. Его мысли блуждали; их неудержимо влекло к комнате Одетт, к переброшенному через спинку стула чулку; к сказанным шёпотом словам, к трагической маске, возникающей на её лице в ритмическом крещендо страсти; и вновь — назад, к древнему прошлому, назад к затонувшим и всплывшим островам времени, к другим, сказанным шёпотом словам и видениям: набивные занавески в детской, цепочка Радича, отцовские волосатые руки, сжавшие его, как тиски, колени отца; цветочный горшок, поставленный на окно матерью... Цветочный этот горшок приобрёл неожиданное значение; похоже, он имел некое прямое отношение к Дурному сну. Он мысленно кружил возле него, бросал его и снова в глубоком волнении возвращался, наконец, он решил поговорить о нём с Соней в обычный послеобеденный час сиесты.

Иногда он пытался думать о войне, рассмотреть свою собственную мелкую трагедию в исторической перспективе. Большие события произошли с тех пор, как он заболел; враг на востоке, и товарищ Томас стал снова союзником. Но важные новости оставляли его удивительно равнодушным. Великая мечта сама собой перегорела. Вместо обычной войны на два фронта настала война трёхсторонняя: с одной стороны — обманувшая у т о п и я ; с другой — прогнившая т р а д и ц и я ; с третьей — надвигающаяся к а т а с т р о ф а . Конечно, с третьей надо было сражаться, выхода не было; но это был долг, а не миссия — а для мёртвых иллюзий нет воскрешенья. В этой войне не было труб, от грома которых рушились стены, и солнце не останавливалось в небе над битвой.

Нет, война его проблем не решала. Война побледнела, стала почти нереальной. Новости, звучавшие по радио, словно относились к древним векам истории, газеты были скучны. Кролик *Иерусалим* и тот разбитый горшок волновали гораздо больше. Соня как-то давно сказала, жуя банан: то, что у неё сейчас во рту — реальнее всякого будущего. Тогда его шокировали эти слова, а сейчас он вздрогнул при мысли, как близок он сам к её точке зрения.

Он также понимал в самые ясные минуты, что под влиянием Сони гордое здание его убеждений рухнуло, восклицательные знаки его согнулись в вопросительные. В конце концов, что такое мужество? Ре-

акция мышц, нервов, рефлексы, зависящие от наследственности и детских впечатлений. Одной каплей йода меньше в щитовидной железе, нянька с садистскими наклонностями, слишком нежная тётка, небольшое отклонение в электрическом сопротивлении ганглий спинного мозга — и г е р о й стал т р у с о м , п а т р и о т — п р е д а т е л е м . Тронутые волшебной палочкой причин и следствий, поступки людей лишаются так называемого *морального* смысла, как лейденская банка, разряженная прикосновением проводника.

Но почему, в таком случае, терзает его Дурной сон; почему не всё стало простым и ясным, хотя Соня показала ему тщету его прошлого, его донкихотство, тайные корни его проступков? Почему нога до сих пор словно отсечена мечом? И как этот меч злого, ревнивого бога вписывается в Сонину систему? Допустим, он поверил, что истинным его желанием было забыть *Иерусалим*; допустим — так проще — что он решил изменить Делу и пойти за Одетт — что ж, его нога ожила от этого допущения? Нет.

Но у Сони и на это был ответ.

— Ты слишком упрощаешь. Когда разряжают лейденскую банку, дело не идёт гладко. Есть искры, треск и грохот. Кое-что тебе уже перепало, но некоторое скрытое напряжение ещё осталось..

— Я рассказал тебе всё, что вспомнил, — ответил Пётр угрюмо.

— Но вспомнил ты не всё.

Пётр не ответил. Неожиданно он почувствовал неприязнь к Соне. Даже сильнее — ненависть. Он ненавидел её профиль, её рукоделие, её белый строгий костюм, её ляжки — всю её женскую суть. "Плотоядный цветок", — думал он, и его передёргивало от отвращения. Он не выносил её плоть и душу, её высокомерную отчуждённость, то, как она перекапывала и перетряхивала в нём самое интимное, словно общественную собственность. Он еле сдерживал ярость. До сих пор она вела его, словно послушную лошадь в поводу, но хватит — он больше не сделает дальше ни шагу.

— Ты никогда не рассказывал о своём брате, — сказала вдруг Соня, не подымая головы от работы.

— О моём брате? А он тут при чём?

Сердце его забилось; он сел и уставился на неё в тревоге и страхе.

Но Соня была занята рукоделием. "Да нет, я просто подумала..." — только и сказала она. Наступило молчание.

Постепенно он успокоился и снова лёг на подушку. В комнате слышался лишь слабый хруст иглы, прокалывающей ткань, таща за собой нитку. Он подумал, что какая бы тишина ни стояла в комнате, дыха-

ния Сони никогда не слышно. Было странно, что её присутствие так нейтрально, что она способна к такой мимикрии — стать частью фона, слиться с мебелью. Цикады в саду снова трещали; тени от спущенных жалюзи начали свой медленный путь по потолку, и снова ему показалось, что это мать его сидит на месте Сони, углубившись в работу перед занавеской и цветочным горшком. Открылся колодец, распространяя слабый, мускусный запах прошлого, и не успев решить, что это он сделает, он уже рассказывал Соне свой сон.

— ...Это был глупый сон, — сказал он дремотным голосом, — я видел его в трюме, а теперь — снова. Я видел себя в детской. Было темно и душно. Я хотел открыть жалюзи, хотя это запрещалось. Чтобы дотянуться, пришлось влезть на подоконник; я влез и стал одной ногой в цветочный горшок, понимая, что делаю что-то страшно запретное. С наслаждением и сознавая свою вину, я ощущал под ногой мягкую влажную землю и — с таким же наслаждением — раздавленные зелёные ростки. Я потянулся и открыл жалюзи. Резкий порыв ветра, как тропическая песчаная буря, ворвался в комнату; я качнулся, и цветочный горшок полетел из окна — вниз, вниз, по воздуху... По улице бежали и кричали люди. Под окном собралась толпа; став в кружок перед осколками горшка, они опустились на колени и склонили головы, как на молитве. Я на них смотрел, позади была стеклянная стена; за стеной не то на столе, не то на похоронных дрогах лежала мать, закрыв глаза, очень спокойная, неподвижная; я поцеловал через стекло ей руку и ощутил холод; и я знал, что я должен навсегда остаться в тёмной комнате, чтобы искупить свою вину.

Было тихо. Пётр следил за тенью; хруста иглы в руках Сони не было слышно, его заглушал мерный звук его дыхания; только рука её спокойно двигалась вверх-вниз вместе с иглой, как смычок в руке скрипача. Потом Соня спросила:

— Как ты думаешь — что это значит?

— Это значит, — сказал Пётр, — что я был причиной смерти матери. Это она была цветочным горшком с мягкой землёй и ростками. Она хотела удержать меня навсегда в полутьме детской, не дать мне уйти в Движение, на улицу. Я переступил через неё и погубил её.

Он замолчал. В нём была большая печаль, но её острота пропала; это была тихая, утешающая печаль, как последние слова заупокойной молитвы.

12.

Назавтра в обычное время Соня сказала, продевая нитку в иголку:

— Ты многое о себе узнал, Пётр. Ты прошёл долгий путь. Может, настало время сделать последний шаг и прийти к определённому выводу,

— Что ты имеешь в виду? — спросил Пётр подозрительно. — Я пришёл к выводу. Меня превратили в героя, а я всех предал. И мать, и крестьянина, который целовал мне руку, и Осси, и деревенского парня, и невысокого, которых поймали, когда я убежал, и людей в *смешанном транспорте*, которые шли в душегубки, пока я занимался любовью с Одетт и даже собирался с ней уехать и наслаждаться жизнью. Сколько я себя помню, я всегда всех предавал, в том числе и того белого кролика в клетке...

Пауза. Соня вышивает. Вдруг она отложила рукоделие и посмотрела ему прямо в лицо.

— Пришло время, Пётр, — сказала она другим тоном. Это был её прежний агрессивный том, каким он был до его болезни и до того, как она словно бы устранилась. — Через две недели я уезжаю. В последнее время твоя нога стала лучше. Ты много о себе узнал из того, чему тебя никто не научит. Ты сам это открыл. Мы разобрали тебя на части, как остановившиеся часы, изучили по одной все пружины и шестерёнки; пришёл момент всё собрать.

— Я уже всё собрал, — сказал Пётр, словно защищаясь от новой напасти, — только что я сказал, к каким я пришёл выводам.

— Собрать-то ты собрал, но не верно, — перебила Соня. — Мало того, во всю эту чепуху с изменой ты уже сам не веришь. Правда в том, что ни роль предателя, ни роль героя тебе не подходит — они тебе не по росту. Не перебивай — все эти дни говорил ты, теперь моя очередь...

Но Пётр и не думал перебивать. Он слушал её жадно, как слушают в конце детективной истории сыщика, перечисляющего улики, которые были всё время у всех на виду, но только теперь, наконец, обнаруживают свой смысл, и всё, что прежде было в беспорядке, теперь строится по-новому, как симметричные кристаллы, выпадающие из раствора.

Соня говорила долго. Она начала с разоблачения ложных путей, пустых клише, вроде "мужества", "самопожертвования" и "правого дела". История, объясняла она, это не эпос, а серия анекдотов. Геройская швейцарская гвардия вся до последнего человека погибла на ступенях Тюильри, защищая кокетку с куриными мозгами от борцов за пра-

ва человека; в Испании, столь милой его сердцу, с равным мужеством сражались и республиканцы и фалангисты; во все времена люди жертвовали собой с энтузиазмом ради зла и ради добра, во имя самых светлых и самых чёрных дел. Поэтому, чтобы понять, почему он вёл себя так, а не иначе, надо прежде всего отбросить так называемые убеждения и нравственные установки, всё это — интеллектуальные увёртки, отражающие что-то личное. Важно не то, герой ли он в борьбе за рабочее дело или мученик, — подозрительна сама жажда мученичества. И разве не сам он признался, что к моменту ареста он уже потерял веру в "общее дело"? Почему же он так старался, чтобы его убили? Ну, понятно, амбиции, в его случае это "очкарики", которых так уважают. Но это всё — внешнее. Подлинную причину такого самоубийственного поведения следует искать глубже, гораздо глубже, в тех слоях, где личная память сливается с памятью народной. Например, эта сцена с Радичем. В тот самый момент, когда он дал Петру свой платок и тем навязал ему роль мятежного сына, ситуация вышла у него из-под контроля — миф победил, обоим пришлось играть свою роль, исполняя священный, передающийся из поколения в поколение ритуал. Поэтому именно Радич, а точнее — его платок — вот что спасло Петра от измены...

Соня помолчала.

— До сих пор ты со мной согласен?

— Продолжай.

— Теперь ты сам всё понял, снова всё пережёвывать не стоит. Но посмотри, как далеко мы ушли, всего лишь ставя точки над i, от милой и трогательной теории "верности общему делу". На самом деле "верность" отделилась от "дела", и ты после ареста стал похож на мотогонщика, который удерживается вниз головой на стене, так как сила инерции заменила силу тяжести...

— И что это за сила инерции?

— Чувство вины.

Она подождала минутку, и поскольку Пётр не ответил, спокойно продолжала:

— Ключ к твоему прошлому — это чувство вины, которое всё время заставляет тебя платить воображаемые долги.

— Воображаемые? — спросил Пётр, помолчав.

— Конечно. Чем ты обязан Осси и его товарищам? Разве ты виноват, что родился не в трущобе? Если уж говорить о долгах, то им следует чувствовать свой долг перед тобой.

— ... А моя мать? — спросил Пётр тонким голосом.

— Твоя мать страдала стенокардией. Если бы ей не надо было беспокоиться о том, что ты сидишь в тюрьме, она переживала бы, почему ты не женишься, или мало зарабатываешь, или хочешь пойти на

войну. Есть геометрия судьбы, которая позаботится, чтобы прямая всегда пересекла параллельные линии под одинаковым углом. Но, ты, конечно, пришёл к другому выводу; после её смерти ты решил, что должен ещё больше примкнуть к Движению, даже если уже в него не веришь, потому что иначе твоя жертва окажется напрасной. Вот ты и продолжал мчаться по стене, пока не разбился.

Соня снова помолчала. Узоры тени почти закончили свой путь по потолку, и подобрались к дверной притолоке. От первого порыва послеобеденного бриза жара спала, словно лёгкие пальцы потянули за край тяжёлого, душного одеяла. Соня встала и открыла жалюзи.

— Продолжать? — спросила она. — Или ты устал?

— Продолжай.

— Мы почти кончили, — сказал Соня, опираясь на оконную раму, — единственное, что осталось — найти источник этого чувства вины. Мы видели его рост и развитие; кролик, Движение, Осси, цветочный горшок — висят на нём, как игрушки на ёлке. Но это всё игрушки. Корень дерева старше и глубже. Ты этот корень ещё не вырыл.

Она оставила окно и подошла к постели Петра. Но Пётр не отвечал.

— Оглянись на свои двадцать три года, — продолжала она мягко. — Разве это не исступлённые попытки искупления? На тебе словно лежит проклятие: *и буду изгнанником и скитальцем на земле.*

— Но почему?

— Ты не помнишь, когда это проклятие было произнесено впервые? Каина спросили, и он ответил: "*Разве я сторож брату моему?*"

Пётр рывком сел, лицо его пылало от гнева.

— Я ведь сказал тебе: это совсем другое дело. Это произошло нечаянно.

— Конечно, конечно.

— Я тебе сказал, что это был несчастный случай. И нечего на меня смотреть с таким видом...

— Так расскажи мне, как всё случилось.

На мгновение его обдала горячая волна прежней враждебности к Соне, нежелание ей подчиняться. Казалось, разбитый враг бросился в последний бой. Хотя он не мог сказать, кто этот враг. Он только знал, что чувствует физическое нежелание говорить о том эпизоде, абсолютно не связанном с проблемой. Шаг за шагом он уступал Соне, отдавая территорию, пока ему почти не осталось, на чём стоять. Почему она хочет ворваться и раскопать то последнее, что у него осталось?

Такое настроение продолжалось всего минуту. Он знал, что должен с этим покончить — хотя бы потому, что ему смертельно этого

не хочется, ведь надо выложить всё, обнажить до конца то, что было его собственностью, его прошлым.

— Это случилось на пляже, — начал он устало, — во время летних каникул. Мне было лет пять, а ему года три-четыре. Это был довольно утомительный ребёнок — всегда больной, капризный, хорошенький и избалованный матерью; когда мы ссорились, она всегда принимала его сторону. На песке стояла старая рыбацкая лодка; хотя нам запрещали, мы в неё лазили во время отлива. В тот день я, как обычно, помог ему перелезть через наклонившийся борт и собирался залезть сам, как вдруг он стал топать ногами и вопить, что это лодка — его, чтобы я не лез. Я испугался, что своими воплями он привлечёт внимание взрослых, и меня, как обычно, накажут; поэтому я велел ему заткнуться, и так как он продолжал вопить и топать ногами, я прыгнул в лодку и попытался заткнуть ему рот рукой. Произошла потасовка, он оступился и упал лицом вниз, а я на него. Он попал прямо в ржавую уключину, которая угодила ему в правый глаз, при том, что я давил на него всем своим весом. Когда я попробовал его поднять, уключина поднялась с ним вместе... Я пытался её отцепить, а он мотал головой и всё кричал и кричал...

Он замолчал.

— Боюсь, меня вырвет, — процедил Пётр.

Он сильно побледнел. Соня дала ему воды.

— Зачем ты заставила меня говорить об этом? — спросил он погодя. — Это был несчастный случай. Абсолютно не связанный со всем прочим.

— Разумеется. Однако при твоей страсти к самобичеванию это, пожалуй, единственный случай в твоей жизни, по поводу которого ты не чувствуешь угрызений совести.

— Естественно. Я ведь это сделал не нарочно.

Снова наступило молчание. Потом Соня спросила:

— Тебя наказали?

— Не помню. Кажется я заболел.

Он глянул отсутствующим взглядом, потом сказал:

— Да, я вспомнил. Это тогда отец сжимал меня коленями и заставлял говорить слова, которые я не мог произнести.

— "Прости меня, папа"?

— Да.

Немного погодя, Соня медленно сказала:

— Пётр, когда это случилось, тебе было пять лет. А отец твой умер, когда тебе не было трёх.

Пётр кивнул; только через секунду её слова до него дошли. Он уставился на неё, поражённый. Она внимательно на него смотрела.

И в тот же момент, как при вспышке, он понял, что он это знал. Он знал это всё время, все годы знание это всегда было у него на языке, как привкус горькой травы.

— Ты права, — произнёс он с закрытыми глазами. — Я вижу, как сейчас — сцена будто нарисована изнутри моих век. И будто не себя я вижу, а кого-то другого. Вот сейчас всё исчезло, но я знаю, что это было, и знаю, как это было.

Он замолчал. Соня всё ещё стояла у его постели, глядя на него взволнованно и с торжеством. Всё ещё с закрытыми глазами Пётр продолжал:

— Я вижу всё совершенно отчётливо. Двух-трёхлетний ребёнок стоит у колыбели, где спит это мерзкое маленькое существо — красное, вонючее, беззубое, орущее день и ночь.

Видно, я был тогда очень одинок. Вокруг этого существа всегда была возня, а меня оттолкнули в сторону. Да, наверное, я его всей душой ненавидел.

Накануне выбросили мою куклу, потому что она стала безглазой. И я думал, что, может, и это существо выбросят, если у него не будет глаз. Вижу, как я встал на цыпочки, наклонился над колыбелью, потянулся руками к его лицу и коснулся его влажных, тёплых век, Он проснулся и закричал. Открылась дверь, и вошёл отец.

Не знаю, догадался ли он, что я собирался сделать. Но он запретил мне прикасаться к существу. Он зажал меня в коленях и требовал, чтобы я просил прощенья. Я помню. Сейчас я это ясно помню. Видно, я спутал два события. Когда случилось несчастье, он уже давно умер. Никто не знал, что с помощью уключины моё тайное желание исполнилось. Но, видно, я это знал всегда — и знание это вертелось у меня на языке. И я всегда знал, что желанья могут двигать уключины, а мысли имеют власть над вещами. Поэтому я верил, что моя мысль может защитить кролика, что изменить Движению в мыслях было хуже измены на деле. И я не мог попросить прощенья ни у моего отца, ни — позже — у Радича, потому что знал, что моё преступление больше, чем они думают, и не может быть смыто простым актом прощения.

Он сел. Его охватил восторг внезапного озарения. Он схватил Соню за руку.

— Да, теперь я вижу, — продолжал он горячо. — Я чувствовал, что ушёл от наказания. Кого бы я ни встречал, я чувствовал, что я перед ним не прав. Я платил и платил, как ты говоришь, воображаемые долги, поскольку забыл, каким был истинный долг. Моё так называемое мужество прославляли, а я в это время знал, что я самозванец, и всё время думал: если бы они только знали... Но потом, когда меня схватили, стали бить, сунули резиновые трубки в ноздри, я испытывал не

только ужас и боль, но жажду ещё чего-то худшего, я чувствовал какое-то извращённое наслаждение; я считал доставшиеся мне удары, как ростовщик монеты. И когда меня привязали к столу в последний раз и горящая сигара коснулась моего тела, то перед тем, как потерять сознание, я подумал или мне пригрезилось — что вот сейчас я, наконец, отплачу — зуб за зуб и око за око. А во сне — я сейчас вспомнил — было иначе: мне всегда снилось, что горящий кончик сигары нацелен мне в глаз.

Он говорил и говорил, как в лихорадке, как в припадке вдохновения, говорил, боясь не поспеть за бегом мыслей и воспоминаний. Он был возбуждён, как в первые студенческие дни, когда вдруг понял принцип кеплеровских законов движения небесных тел, а окружающий хаотический мир вдруг был усмирён и стал чёткой, гармоничной системой. Он понял, что владел до сих пор лишь разрозненными частями своего прошлого, а сейчас части эти улеглись сами собой по местам, зазубрины по краям исчезли, и части сложились в единое целое.

Постепенно возбуждение сменилось спокойным изнеможением. Он подумал — и не нашёл ничего странного в этой мысли — что пережитое им чувство высшего покоя похоже, наверное, на то, что чувствует женщина после родов. Он ощущал неведомую никогда прежде свободу и ясность мысли, словно сняли с него постоянное бремя и такую тупую и неотступную муку, которую уже не замечаешь.

Соня вышла из комнаты. Он остался в одиночестве — одиноким и свободным, впервые хозяином своей судьбы. Он увидел свою растраченную юность, как нескончаемый кошмар, как непрерывное смятение и муку,— он увидел её, как на освещённом лампой диапозитиве.

Но с этого дня лампа будет светить. И готовясь уснуть, он впервые не исполнил своего постоянного ритуала: не коснулся указательным пальцем шрама от ожога под коленом, чтобы отвести от себя Дурной сон. Он знал: призраки исчезли, сон не повторится.

14.

В следующие несколько дней самочувствие Петра продолжало улучшаться. Он уже мог двигать пальцами, иногда даже сгибать ногу. В первый раз это произошло случайно — он переменил позу в кровати и вдруг заметил, что и нога, как бы по своей воле, тоже повернулась.

По требованию Сони он стал даже ковылять по комнате, хватаясь за стулья и за стол; больная нога по-прежнему норовила подогнуться при попытке перенести на неё вес, но он уже мог стоять несколько секунд прямо, без помощи рук, наслаждаясь вернувшимся чув-

ством упора под ногой. Он знал, что полное выздоровление — только вопрос дней.

Его внутренние монологи и беседы с Соней приняли практический оборот. Надо было послать телеграмму американским родственникам, заполнить анкеты. Всё это очень волновало, а самым волнующим было — заново учиться ходить.

Наконец-то перед ним открылось будущее. Он сбросил с себя узы прошлого — надуманную *верность*, воображаемые *долги*. Оглядываясь назад, он понимал, как давно стал терять свои политические иллюзии. Годы непрерывных разочарований он прожил, как человек с дырой в кармане, незаметно теряющий монету за монетой. Теперь, когда вывернули подкладку, он увидел, что карманы пусты, но это открытие, как ни странно, сделало его счастливым. Ему придётся начать с нуля, но у него, по крайней мере, нет кредиторов, он свободен, он может идти, куда хочет.

Он вспомнил флажок, подобранный на берегу — последнее звено в цепи, связывающей кролика, цветочный горшок, листовки, пролетариат — последнюю символическую игрушку на его рождественской ёлке. С холодным удовольствием и смутной печалью он снимал их одну за другой... набитых ватой идолов прошлого, висящих на осыпавшихся ветках. Там были и другие игрушки, о которых он не сказал Соне и о которых сам давно забыл, но теперь вспомнил: например, сына сапожника — маленького горбуна в очках со стальной оправой и худым угреватым лицом; много дней подряд Пётр стыдливо отдавал ему школьные завтраки, а также карманные деньги и самые редкие свои марки. Подоил же его этот маленький ловкий нищий, пока он, Пётр, упивался своей щедростью, своей придуманной ролью старшего брата! С этого начался его долгий искупительный путь.

Затем его первый контакт с Движением — зрелище конной полиции, разгоняющей шашками толпу демонстрантов, крики раненых, окровавленные жертвы у пункта скорой помощи за бараками — и у каждого на искажённом лице виделся ему след уключины. Теперь он знал, что именно эта сцена, её ужас и притягательность, толкнула его в Движение. А листовки, речи и идеологическое обоснование пришли потом.

Каждое утро официальный партийный орган выходил с одним и тем же лозунгом на первой странице: "Сильный всегда на стороне слабого". Это стало и его лозунгом, удовлетворявшим не только жажду самопожертвования, но и жажду мщения. Поскольку, с другой стороны, разве он, Пётр, не был слабым? Разве им не пренебрегали ради того, другого — испорченного и избалованного, ради тиранического маленького чудовища — а превратили в бунтаря, заставили стать на сторону

угнетённых. Это срабатывало в обе стороны, ибо тёмные эти сферы не знали логических противоречий.

Но какая была во всём этом польза? К какому реальному добру привели его донкихотские выходки? Кролика убили и съели. Осси и другие — умерли или сидят в тюрьме. Движение выродилось и распалось. А что касается того флажка на берегу... Он вспомнил сухую, подагрическую руку господина Вильсона, семейные фотографии в витрине лавки в пыльной картонной раме, маленького туземца, возмущённо стучащего себя по голове тростью. Что ж, этот усатый Санчо Нейтралии был прав. Санчо всегда правы.

Но с этим покончено. Он излечился. Никогда больше не будет он валять дурака. Он излечился и от иллюзий, и от объективных целей, и от субъективных мотивов. Две линии встретились и слились. Нет больше долгов, которые надо платить, и команд, чтобы им подчиняться. *Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов*. Для него, Петра Славека, кампания закончена.

часть четвёртая. БУДУЩЕЕ.

1.

Пётр спал дольше обычного и проснулся от стука двери — Соня вышла из ванной. Последнюю неделю он спал без сновидений, как выздоравливающий, приятным сном, похожим на плаванье в озарённом звёздами море после жаркого дня. Но этим утром ему снился нервный, неуловимый сон, в котором он видел стоящую на набережной Одетт среди толпы встречающих. Он махал ей рукой и кричал с палубы парохода, отчаянно медленно приближавшегося к берегу. Но она, казалось, не замечала его. Наконец, пароход пошёл быстрее, Пётр кинулся вниз по сходням. Он её обнял и почувствовал прикосновение её груди и бёдер к своему телу. Но она не удивилась и не обрадовалась, выскользнула из его объятий, показывая взглядом, что они не одни. И действительно, все люди в толпе на них смотрели. Он побыстрее повёл её прочь и, наконец, нашёл безлюдное место, но она снова увернулась, и опять у него было чувство, что за ними следят. Они чуть не бежали, но в то же время, как его нетерпеливое желание всё росло, она была то податлива, то ускользала от него, и куда бы они ни шли, нигде, казалось, не были одни. Наконец, они пришли в заброшенный сад, обвешанный полинявшими гирляндами давно прошедшего праздника, и тут

он снова обнял её, и от радости, что сейчас исполнится его желание, он проснулся.

Его разбудил звук хлопнувшей двери, и он сообразил, что прибытие парохода во сне сопровождалось журчанием воды, вытекающей из ванны.

Как бы ни был неудовлетворителен его сон, он, однако, наполнил его радостным ожиданием. Сон оживил образ Одетт, сделал его почти осязаемым, аромат её кожи, казалось, ещё парил в воздухе. Он вспомнил, что сегодня впервые за время болезни выйдет из дома — вернее, эта мысль всё время, пока он спал, вертелась у него в голове. Он должен повидать американского консула и получить у него свои бумаги с заветным штампом. Затем ему надо в пароходное агентство. Соня всё приготовила. Завтра она отплывает, а Пётр — как только купит билет.

Он упрекнул себя за то, что проспал именно в этот великий для него день, и встал с кровати. Последнюю неделю он был молодцом, и хотя всё ещё ощущал слабость, уже мог передвигаться почти нормально. Осторожно направляясь к ванной, наблюдая, как правая нога плавно, старательно сгибает и разгибает колено, перемещается с пятки на носок, он уже сомневался, действительно ли она была "мёртвой". Ему сейчас так же не верилось, что он не чувствовал укола иголки, когда его колол доктор Хакстер, как тогда ему казалось нелепым, что он может это чувствовать. Что касается "выключателя", которым он якобы разучился пользоваться — так он совсем не нужен, нога действовала автоматически, как исправная машина.

Скорее всего, виноват грипп или какой-то таинственный вирус и болезнь не имеет ничего общего с психологическими теориями Сони. Или очень слабо с ними связана. Всё же надо признать, что Соня помогла ему освободиться от предрассудков и надуманных обязательств, сбросить, так сказать, детскую кожу. Да, она ему помогла решиться — найти мужество и признаться самому себе в том, чего он действительно хочет.

Он пустил воду и, вздрагивая от наслаждения, подставил плечи и спину под холодный душ. Поток воды прервал его мысли — холодный душ не располагает к самоанализу. Он откинул голову и пустил струю себе в лицо и на грудь; открыл широко рот и дал холодной влаге влиться в него, литься через край, словно он был бронзовым карпом на фонтане. Он подумал, как чудесно будет стоять под душем вместе с Одетт в сверкающей ванной на двадцатом этаже какого-нибудь небоскрёба; в плотно прилегающей купальной шапочке она будет вскрикивать под холодной струёй, окутывающей её тонкое тело прозрачными брызгами.

Он насухо вытерся и надел вычищенные и выглаженные вещи, приготовленные для него в комнате.

2.

Ничто не изменилось: площадь, фонтан, столики кафе на тротуаре, цветные тенты, свет — непрерывный поток раскалённых лучей, льющихся вниз и отскакивающих от белого камня. По-прежнему в кафе было полно местных жителей, с галстуками бабочкой, подбитыми ватой плечами и размокшим сигаретным пеплом в блюдцах. Он снова был в сказочной стране, которую не тревожат наши мелкие заботы. Может быть, когда пришли сюда римские легионы, а потом мавры, то на один день внесли столики внутрь и опустили жалюзи. Но потом снова подняли, как бы доказывая, что солнце, пальмы и вялые мечты завсегдатаев кафе не изменились, и что сегодня — то же, что вчера, и то же будет завтра. Площадь служила подтверждением всего, что говорила Соня о том, как нелепо вмешиваться в естественный ход событий. На ней отпечаталась мудрая улыбка всеприятия.

Но устроившись на террасе, где он впервые встретил Одетт, он заметил, что знакомые лица прежней транзитной колонии исчезли. Правда, в кафе по-прежнему были иностранцы с затравленными лицами, они обсуждали, как видно, те же вопросы, согнувшись и сблизив головы над столом. Но лица были новые. Мадам Телье и сотни-две других уехали в Америку; даже старому доктору Хакстеру было, наконец, позволено предложить свои услуги для военных нужд. Пётр покровительственно разглядывал новичков. Предстоящие им испытания и заботы для него закончились. Документы, гарантирующие ему доступ в Новый Свет, хрустели в грудном кармане, он получил их час назад в консульстве вместе с ободряющей улыбкой и рукопожатием на счастье. А полчаса назад в туристическом агентстве ему обещали место на пароходе, отплывающем из Нейтралии через три недели. Чиновник даже показал его каюту на плане парохода и вручил ему цветной проспект и множество ярких наклеек для багажа, которым, по мнению чиновника, Пётр располагает.

В честь такого события Пётр заказал двойной абсент. Нащупал жёсткие, хрустящие бумаги в кармане: неужто это правда! Попробовал вернуть радостное настроение, которое он испытал утром под душем, но для этого было слишком жарко. Счастье надо держать на льду, иначе оно протухнет.

Первым, кого он встретил по дороге к площади, был Бернард со своей обычной напряжённой улыбкой, а на следующем углу почти столкнулся с товарищем Томасом, который энергично вышагивал в со-

провождении своей бесцветной жены, — он, как обычно, отвёл взгляд, но Пётр ухитрился изобразить ироническую усмешку, вроде бернардовской, и женщина, проходя мимо него, вспыхнула. Товарищ Томас ещё больше стал похож на бюст, поставленный на две железные трубы и изображающий революционную добродетель. Всё же эта встреча огорчила Петра — она бросала лёгкую тень на утро.

Как он выдержит целых три недели ожидания в этом городе, душном от воспоминаний! Двадцать один день! Бесконечная очередь часов, как пустые залы ожиданий, исчезающие где-то впереди в тоннеле. Но в конце тоннеля мерцает искра света. С каждым часом она будет всё ярче. Охватившее его нетерпение помогло вернуть радостное утреннее настроение.

Пока он пил рюмку и высматривал официанта, чтобы заказать ещё одну, взгляд его упал на очень заметную фигуру за несколько столиков от него. Перед рюмкой абсента сидел в одиночестве молодой человек примерно одного возраста с Петром, стройный, хорошо одетый и обезображенный так, как Петру ещё не доводилось видеть. Он потягивал своё вино, явно не замечая взглядов, которые люди на него украдкой бросали и поспешно отводили. А, может, лишь делал вид, что не замечает, так как глаза его смотрели на солнечную площадь с мягкой иронией. Глаза были единственным живым местом на его лице. Все остальное состояло из пёстрых лоскутов кожи, — одни винного цвета, как шрамы Петра, другие — мёртвенно-бледные, неестественно гладкие и блестящие. Брови, заметно темнее волос, росли прямо изо лба, словно их там приклеили для спектакля, нос картошкой производил то же впечатление. Губы раздутые, как у негра. В целом лицо казалось маской, грубо имитирующей человеческое лицо, что было в буквальном смысле правдой, как Пётр узнал позже, так как большая часть этого лица была пересажена с разных других частей тела — на то, чтобы его создать, пошли ткани с ног, ягодиц, рук и головы. Это было искусственное лицо, хирургическая копия с того, что создала природа. Но общее впечатление, было не совсем ужасным: в лице проглядывал мягкий юмор — слабое эхо того выражения, которое, как видно, было от природы на этом лице, полном юмора и, должно быть, довольно красивом.

Руки, однако, удались хуже. Они напоминали лапы какой-то птицы или земноводного, покрытые чешуёй; двух пальцев на правой руке не доставало, а остальные три, поднося рюмку к губам, совершали, казалось, некоторую рискованную операцию. Тем не менее, нежась на ярком солнце и наблюдая странную жизнь вокруг себя, молодой человек явно наслаждался. Официант подошёл к столику Петра. Это был тот же плоскостопый, озабоченного вида человек, который принёс Пет-

ру его первый завтрак в день прибытия. Проследив за взглядом Петра, он вздохнул.

— Что за варварство эта их война, — сказал он, вытирая грязным полотенцем стол. — Парню двадцать лет, и посмотрите, что с ним сделали.

— Кто он? — спросил Пётр.

— Это господин Эндрю. Лётчик. Его сбили и теперь, когда на него страшно смотреть, прислали на какую-то должность в посольстве.

Перед изуродованным молодым человеком сидела за другим столиком пара. Это были местные жители; девушка — смуглая, хорошенькая и густо накрашенная — громко болтала и смеялась. После второй рюмки взгляд молодого человека всё чаще останавливался на ней и, казалось, не мог оторваться от какой-то точки на её обнажённой шее; она сидела к нему спиной. Внезапно девушка словно почувствовала этот настойчивый взгляд; быстро обернулась и увидела лицо, полностью освещённое резким светом и уставившееся не неё с расстояния в один метр. Она замолкла, её хорошенька, пухлая ручка остановилась в воздухе, подлетела к губам, как бы подавляя крик; смех на лице на какую-то долю секунды застыл; затем она снова обернулась к своему спутнику и продолжала болтать, словно ничего не случилось.

Молодой человек подозвал официанта и расплатился. Заплаты на его лице изменили цвет и стали ещё заметнее. Насмешливая живость его глаз угасла, осталась только маска. Он встал и попытался взять со стола сдачу, но клешни его не могли собрать скользкие монеты и только двигали их с лёгким скребущим звуком по металлической поверхности. Люди за другими столиками смотрели на него, и он это знал. Судорожным движением он смёл монеты правой рукой в левую, подставленную ковшиком к краю стола. Несколько монет упало на пол; двое мужчин одновременно вскочили, чтобы их поднять, но он сделал вид, что этого не заметил, вышел с террасы и пошёл через площадь — сунув руки в карманы и слегка втянув голову в плечи, стараясь выглядеть беззаботным и прячась от безжалостного света солнца.

Кто-то тронул Петра за плечо. Это была Соня, с которой он договорился встретиться в кафе.

— Всё в порядке? — спросила она.

— Да, — ответил Пётр, потрогав хрустящие документы в кармане.

— Тогда почему этот меланхолический вид? — спросила она.

— Просто так, — ответил Пётр со слабой усмешкой. — Кажется, я только что встретил ещё одно украшение с моей рождественской ёлки.

3.

Отъезд Сони образовал пустоту, ожидание стало почти невыносимым. Квартира была оплачена месяца на два вперёд, поэтому он там остался, хотя теперь у него были и деньги и необходимые документы, чтобы устроиться в отеле. Он бродил по пустым комнатам, где каждый предмет обстановки, казалось, подчёркивал его одиночество.

Никогда в жизни он не чувствовал себя так одиноко. Не только Соня и Одетт его покинули, он и сам отрезал себя от всех воспоминаний прошлого. Его товарищи, мать, политические заключённые и *бесполезные* евреи — все они умерли вторично в тот момент, когда Соня препарировала память о них, одну за другой перерезая нити его верности им. Даже кролик превратился в пустую шкурку. У него больше не было долгов, он свободен от их ярма — и он метался по пустым комнатам, ёжась на холодном ветру обретённой свободы. Он покинул братство мёртвых, а братство живых его ещё не приняло.

Он начал опять вести дневник, впервые после того, как примкнул к Движению и стал скрывать свои мысли и действия, как подобает преследуемым. Но долгое время единственной записью в дневнике была фраза: *"Когда мёртвые хоронят своих мертвецов, живым бывает одиноко".*

Мрачное настроение перемежалось моментами лихорадочного волнения при мысли о предстоящем отъезде, о первом путешествии через океан, о новой жизни, об Одетт. Его будущая работа, размышлял он, позволит ему по вечерам что-то делать для себя, он будет ходить в библиотеки, продолжит занятия, оставленные четыре года назад, попытается снова писать, но теперь у него больше жизненного опыта, чем прежде. И в последующие две ночи он, действительно пытался работать. Он стал писать рассказ, но не был уверен в его качестве, а показать некому. Подходящий ли друг Одетт, можно ли с ней говорить о работе? Возможно. Но когда он думал об Одетт, в памяти чаще всего вставал её тесно прилегающий джемпер и нежный изгиб колена, вызывая нетерпеливые сны.

Он пробуждался от этих лихорадочных предвкушений с чувством, что они никогда не сбудутся. Несмотря на документы в кармане и билет, он чувствовал на всех своих планах печать полной нереальности. Он знал — всё это не для него. Он нервно покачивался в Сонином кресле, вскакивал и бродил по комнате, внушая себе, что его депрессия исключительно физического происхождения, что его мрачные предчувствия — лишь пережиток прошлого, что он всё ещё выздоравливает и учится ходить не только в физическом смысле.

Разве не правда, что он избавляется от прежнего чувства вины? Он обследовал свою совесть и убедился: да, правда. Он вспоминал своих покойников и действительно не ощущал к ним ни малейшей симпатии. Разум его словно выжгло, до самых скрытых уголков. Соня провела основательную уборку. Но почему тогда будущее представлялось таким нереальным?

Может в методе Сони была ошибка? Злокачественный нарост срезан, но оставленные скальпелем шрамы оказались глубже, чем он ожидал. Она обещала вернуть ему вкус к жизни, но вместо этого он ощущал лишь приступ жадности вперемежку с усталой пресыщенностью. А теперь она уехала; и не у кого спросить совета, нет никого, кто бы объяснил ему, что с ним творится.

4.

Как-то днём, спустя неделю после отъезда Сони, внутренние монологи Петра прервал звонок в дверь — редкое событие с тех пор, как он остался один в квартире. Он открыл дверь и оказался лицом к лицу с Бернардом. Они часто встречались на улице, но никогда не разговаривали: Пётр знал, что Бернард — бывший пациент Сони и что он имеет какое-то отношение к вражескому посольству.

— Можно войти? — спросил Бернард со слабой, нервной улыбкой. Он был без шляпы, строен, атлетически сложен и безукоризненно одет. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Доктор Болгар уехала неделю назад, — сказал Пётр.

— Я знаю. Она у меня взяла несколько книг, и я подумал, может быть, она их для меня оставила.

Пётр вспомнил, что Соня, действительно, оставила пачку книг, которые взяла у разных людей, но, по свойственной ей небрежности, не вернула. Она предупредила Петра, что владельцы книг могут за ними прийти.

— Зайдите и посмотрите сами.

Они вошли в гостиную, где Бернард с лёгким ироническим поклоном отрекомендовался:

— Я имел честь наблюдать вместе с доктором Болгар ваш первый обед в этой стране. Мы сидели за столиком через площадь. Если не ошибаюсь, у вас в петлице был флажок.

Шесть недель назад Пётр вспыхнул бы, теперь же сухо ответил: "Вы не ошиблись".

Никаких определённых чувств он не испытывал — ни ненависти, ни стыда. Лишь сильное любопытство — поговорить с этим человеком с другой стороны баррикад. Во время своих недавних внутренних

монологов он убедился, что практически ничего не знает об их жизни. Книги, брошюры, речи — всё это мало говорило о внутренней сути их существования, о вкусе и запахе их среды. Бернард обследовал полки, Пётр смотрел на его стройную фигуру, словно это был инопланетянин. Книги вскоре нашлись — два томика стихов современного французского поэта.

— А как поживает та прелестная особа, с которой я вас видел? — спросил Бернард, прислонившись к шкафу.

— Одетт? Она уехала в Америку.

— Вы последуете за ней?

— Через две недели.

Наступило молчание. Бернард разглядывал его с любопытством.

— Ах, — сказал он вдруг, нервно отбрасывая волосы, — вы не представляете, как вам повезло, что вы можете от всего этого отвертеться.

— Отвертеться... — повторил Пётр. — Да, пожалуй. Но если, по-вашему, мне повезло, почему вы не поступите так же?

— Может, потому, что я не дошёл до состояния стоического смирения, в котором вы находитесь, — сказал, улыбаясь, Бернард. — Но на самом деле между вашим и моим случаем есть разница. Вы шли против своего класса и традиций, а я свои — поддерживаю. У меня нет нужды в моральном оправдании своих поступков, а у вас есть.

— Вздор, — ответил Пётр, — традиции нашего движения старше вашего.

— Это верно. Но традиции эти — не вашего класса и не вашего воспитания.

— Ну так что же? Есть идеи — например, справедливости и равенства, которые так же могут определять поступки человека, как его класс и традиции.

— Может быть, так, — сказал Бернард. — А, может быть, и нет. Ну а ваши-то собственные поступки — они этими абстракциями определялись? Или личными мотивами, из сферы доктора Болгар?

— Мой случай ничего не доказывает, — ответил Пётр, краснея.

— Разумеется. Оставим вас в покое, — сказал Бернард, дружелюбно улыбаясь, — но знаете, ваш случай довольно типичен для большинства так называемой революционной интеллигенции, насколько можно судить по остаткам представителей этой породы в Европе.

— Насколько — хотите вы сказать — вы их ещё не вышибли?

— Именно. Насколько мы их ещё не вышибли. Но мне, пока мы не дошли до этой стадии, пришлось их изучать — профессионально, так сказать...

Он помолчал, не уточняя, о какой профессии идёт речь, но Пётр не сомневался в том, что Бернард был провокатором или осведомителем. Он стоял, прислонившись спиной к книжному шкафу, глядя вниз с холодным любопытством на Петра, сидящего в Сонином креслекачалке.

— Уверяю вас, я имел достаточно возможности наблюдать. Первое, что меня поразило, это непривлекательность ваших девушек. Были, конечно, исключения, но в целом женский элемент на ваших партийных митингах, лекциях и в дискуссионных группах выглядел, как сборище невротических золушек, желающих свергнуть строй, при котором их никто не приглашает танцевать. Да и мужчины в том же роде. Впрочем, "мужчины" — не то слово, ведь преобладал в вашей толпе тип вечного подростка. Познакомившись с ними ближе, видишь у большинства из них один и тот же изъян, который мешал им взрослеть. Конечно, они были умнее, гораздо умнее наших, но на какой-то извращённый, перекошенный лад. Что за процессия убогих, друг мой! Среди них были кроткие фанатики насилья, стыдливые развратники, неотёсанные Дантоны, дотошные диалектики, защищающие пролетарскую простоту, кающиеся Эдипы, ревнивые младшие братья, ищущие всемирного братства, старые девственники, которым не удалось увлечь Силу. И всем им хотелось срубить дерево, так как плоды его слишком высоко росли.

— Чушь, — сказал Пётр, — самые лучшие были с нами. А лезть на дерево просто не желали.

— Так точно. Они были лучшими и умными, но что-то делало их чужаками и бунтовщиками. Не социальное происхождение, мешавшее карьере, скажем, сына угольщика, и не переживания по поводу истинных сыновей угольщика — уж мне-то вы этим голову не заморочите. Мы знаем, что характер человека формируется наследственностью и средой к десяти годам. Современная психология даже утверждает, что к пяти. Но о сыновьях угольщиков и о социальных теориях мы узнаём самое раннее годам к пятнадцати. Поэтому вовсе не теории формируют характер бунтаря, а наоборот — характер делает его восприимчивым к мятежным теориям. Отсюда следует, что всё это вопрос психологии, а не социологии — quod erat demonstrandum*.

---

* Что и требовалось доказать (*лат.*)

— Вы в самом деле хотите сказать, — перебил Пётр, — что весь человеческий прогресс, от братьев Гракхов до Французской революции, создан невротиками и неудовлетворёнными карьеристами?

Спор начал его увлекать, и чем больше он увлекался, тем больше ненавидел Бернарда. Он ненавидел его не столько за то, что Бернард был доносчиком, наверное, виновным в гибели десятка-двух его, Петра, товарищей, сколько за породистую красоту его лица, за острую, наглую усмешку, а больше всего — за холодную логику аргументов, так ужасно напомнившую Петру рассуждения его прежних соратников.

— Французская революция, — продолжал невозмутимо Бернард, — была революцией третьего сословия; Дантон, Робеспьер и Марат были представителями третьего сословия. Они действовали в интересах своего класса. Но в наше время, чтобы попасть в ряды вашего движения, представители революционной интеллигенции совершают классовое харакири. Другое дело — сын угольщика. Рабочие в революционном движении — это авангард своего класса; вы же для вашего класса были отрядом самоубийц. По контрасту с вашими золушками в синих чулках на ваших демонстрациях всегда можно было видеть хорошеньких работниц рядом с крепкими, отличными парнями — такого же типа, как наши, и они же первыми к нам переходили. А вашему брату они всегда не доверяли, нутром чувствуя что-то странное и неестественное в вашем стремлении "соединиться с пролетариями", только и желающими перестать ими быть. Вы лезли на баррикады от истерики, они — добиваясь реальных целей. Отсюда сентиментальный культ рабочего в ваших кругах — вы восхищались этими девушками и парнями, вы им завидовали, так как они действовали ради здоровых, нормальных целей, а вы — бились в истерике. Каковы бы ни были ваши личные мотивы, все вы — неудачливые кориоланы классовой борьбы.

— А как насчёт маркиза Лафайета и тех французских аристократов, которые присоединились к революции?

— Я же сказал — исключения всегда бывают. Есть в вашем стаде несколько знаменитых учёных, писателей и прочее, чтобы было чем хвастать. Кое-кто из них, разумеется, понятия не имел, о чём речь — они открывали ваши митинги, воображая, что это благотворительные базары. Другие стали восседать слишком высоко и решили для разнообразия поиграть в отчаянных революционеров. Но таких мало. Поверьте мне, мой друг, если бы потребность в справедливости и свободе действительно стала важнейшим инстинктом человека, если бы этические потребности были так же реальны, как сексуальные, то ваша левая интеллигенция была бы не тем, что она есть. Вы стали бы новыми Прометеями, похищающими огонь у богов, а не кучкой невротиков, которая следует от провала к провалу, переругиваясь друг с другом по дороге.

Единственно трезвыми среди вас были бедняки — и они, в большинстве, предпочитали прямой путь: к министерскому креслу или к письменному столу профсоюзного деятеля. Так или иначе, они принадлежат прошлому, к отгнившим членам расы. Мы устроили небольшую встряску, и они отпали...

Настала пауза. Бернард всё ещё стоял у шкафа, заложив руки за спину. Говоря, он инстинктивно поднимался на носках, касаясь затылком книг и глядя сверху вниз на Петра холодными серыми глазами. Пётр подумал, что выражение глаз Бернарда, наверное, не меняется — разглядывал ли он девушку в баре или допрашивал заключённого в кабинете.

— И в отличие от нас, бедных невротиков, вы, разумеется, здоровы, разумны, вы — истинные светочи цивилизации...

— Именно, — вежливо ответил Бернард, — ибо для уязвлённой нации война так же естественна, как баррикады для бедных. Нам не нужно рассчитывать на этические химеры и прочие абстракции. Мы были пролетариатом Европы — единственной великой нацией в мире, не достигшей и в двадцатом веке территориального единства, без колоний, без своей армии и флота, без самоуважения. Чтобы выяснить, кто в этом виноват, надо вернуться к Тридцатилетней войне, из-за которой мы потеряли полтора столетия в погоне за созданием капиталистической империи, лишившей нас культурных достижений Возрождения и материальных преимуществ колониальной экспансии. Когда Наполеон завоевал Европу, мы ещё не осознали себя единой нацией, не поняли, что это слово значит. Но именно потому, что мы слишком поздно вступили в борьбу за мировое господство, мы придём со свежими силами к финишу. В этом секрет нашей так называемой агрессивности. Другие растратили свою племенную энергию, а наш народ просто распирает от неё. Нажимаешь кнопку, и он рвётся вперёд. Их великие битвы — история, наши Вальми́* и Трафальгар ещё впереди...

Он закурил сигарету, и Пётр следил за точными движениями его нервных пальцев, чиркающих спичкой. Бернард восхищался "племенной стихией", а весь его вид и манера говорить — сплошь чёткость и точность. Водитель гоночной машины, который бредит полётом валькирий!

— Ваши разговоры о Вальми́ это кощунство, — там шёл бой за права человека под трёхцветным знаменем, а не под вашими тотемными знаками.

---

* В а л ь м и — деревня во Франции, при которой французы остановили в 1792 г. вторжение войск европейской коалиции против Французской революции. (*прим. ред.*)

— Так я и знал, что вы об этом заговорите, — сказал, улыбаясь, Бернард. — Господи, да неужели вы не способны видеть дальше своего носа? Разве вы не понимаете, что то, что мы делаем — это и есть самая настоящая революция, даже более интернациональная по своим результатам, чем взятие Бастилии или Зимнего дворца в Петрограде? До вас ещё не дошло, что всякая новая идея в истории постигается сначала на уровне нации, усваивается нацией, формулируется в национальных понятиях и только потом распространяется в мире. Гражданское право принесли в мир римские легионы; христианство, чтобы завоевать Европу, воплотилось в Священную Римскую Империю; первое, чему научила своих граждан Французская революция, было понятие патриотизма, и даже русским пришлось к нему прибегнуть. Все мировые идеи начинали с племенных образов: римская волчица, Святой Отец, Мать всех парламентов, Родина пролетариата. Идеи, которые с самого начала не принадлежат нации или расе, остаются бесплодными утопиями. Отсюда — крах рабочего движения; Второй Интернационал выродился, ибо не имел родины; Третий, который её имел, стал, естественно, её орудием. Чтобы получить международное признание, идея должна мобилизовать дремлющие племенные силы породившего её народа. Иными словами, международные движения могут распространиться только с помощью национализма; чтобы идея победила, нужны победители...

— Но общие интересы рабочего класса во всём мире — реальнее ваших флагов и тотемных знаков, — сказал Пётр.

— Я и это предвидел, — заметил, вежливо усмехаясь, Бернард. — А что значит "реальнее"? Если это значит, по-вашему, что для рабочих **логичнее** вести наступление на международном уровне, с этим можно согласиться. Но массовая психология — одно, а учебники экономики — другое. На этом простом факте основано наше движение. И этого вы никогда не понимали. В этом секрет наших непрерывных побед и ваших постоянных поражений.

Бернард помолчал. Балансируя на носках, он выглядел так, как если бы внутри него нетерпеливо ожидая, когда сцепятся шестерёнки, вибрировал мотор. К сожалению, его, Петра, собственный двигатель остановился; он не хотел спорить, выставлять контраргументы — чувствовал лишь смутное любопытство к тому, что представлялось загадкой в "оппонентах".

— Может, вы и правы в отношении прошлого, — заметил он, наконец, покачиваясь в Сонином кресле. — Мы недооценили влияние, которое до сих пор имеет на человеческий мозг дологический, иррациональный фактор. Однако хотя и медленнее, чем мы думали, рассудок простых людей созревает и в конце концов разум победит миф.

— В конце концов! — воскликнул Бернард. — В конце концов! Но времени-то у вас нет! Разве вы не видите, что мы — проворнее вас, что мы уже вас обогнали? Что именно **наша** революция завоевала Европу и будет кроить мир **по-нашему**?

— Ну и что это за революция? — спросил устало Пётр. — Какая универсальная идея стоит за ней?

— Ага! Наконец-то мы сдвинулись с места, — Бернард со стуком встал на пятки. Шестерёнки сцепились. — Что ж, прежде всего, надо забыть бо́льшую часть нашей официальной пропаганды. Нам приходится поднимать звон, чтобы стронуть людей с места; правды они бы не поняли. В действительности мы верим в то, что при стремительном развитии науки и техники человечество вступило в период зрелости, период коренного, глобального экспериментирования, полностью игнорируя личность, её так называемые права, привилегии и прочие либеральные фетиши: общепринятые экономические законы, таможенные сборы, валюту, границы, парламенты, церковь, святые таинства, брак, десять заповедей — все, все фетиши. Мы начнём с нуля. Я объясню, как... Закройте глаза. Вообразите Европу до самого Урала как пустое пространство на карте. Ничего — лишь сплошные энергетические поля: воды, магнитные руды, угольные залежи под землёй, цистерны с маслом, леса, виноградники, богатые и бесплодные земли. Свяжите эти источники энергии синими, красными и жёлтыми линиями и полу́чите распределительную сеть. Синее — единая электрическая система, простирающаяся от норвежских фьордов до Днепровской плотины; красное — контролируемый поток сырья; жёлтый — регулируемый обмен готовой продукции. Отметьте кругами разного радиуса пункты пересечения линий и полу́чите промышленные центры. Определите количество рабочей силы, необходимой для насыщения сети в каждом данном пункте, и вот вам — необходимая плотность населения для каждого района, области, страны. Разделите количество производимой энергии в лошадиных силах на эту цифру и полу́чите причитающийся данному населению уровень жизни. Сотрите нелепые петляющие границы, эти китайские стены, загораживающие наши источники энергии, сломайте или перенесите предприятия, бездумно построенные в неподходящих местах; ликвидируйте людской избыток в районах, где оно не требуется; переселите население некоторых областей, — а если надо, целых стран — туда, где они нужны, и для той деятельности, для которой они больше всего подходят как раса; сотрите лишние силовые линии, которые могут создать помехи нашей сети: влияние церквей, иностранных столиц, любой философии, религии, этической или эстетической системы прошлого...

— ...Включая те самые тотемные знаки и племенную энергию, которые вы так любите использовать? — прервал Пётр.

— Да, конечно, — продолжал Бернард, не смущаясь, — включая национальные традиции и культуру временно порабощённых народов. Добровольно они никогда не расстанутся со своими устарелыми требованиями национальной независимости; единственное средство объединить Европу — завоевать её так же, как немецкие карликовые государства смогла объединить лишь прусская армия. Если вы будете ждать, пока ваши конкурирующие друг с другом капиталисты или международный рабочий класс этим займутся, вам придётся ждать очень долго. А тем временем ваш пролетариат будет каждые двадцать лет забывать о классовой солидарности и бросаться истреблять друг друга. Вы не с того конца начали. Вы не профессионалы, дружище. Племенное соперничество решается только тем, что большое племя пожирает малые. Кстати, это вполне согласуется с вашей гегелевской диалектикой — *тезис*: завоеватель; *антитезис*: завоёванный; *синтез*: завоеватель и завоёванный объединяются как граждане новой евразийской великой родины.

— И, конечно, именно вы призваны Богом, покорив другие народы, уничтожить национализм?

— Раз Бог наградил нас нашим географическим положением, значит да. Представьте себе карту. Мы находимся в центре энергетических полей. Больше всего пунктов пересечения — на нашей территории; то центральное положение, которое превращало нас в европейское поле сражения, делает из нас теперь плацдарм для нового мирового государства. Это наш век — так же, как шестнадцатый был испанским, семнадцатый — английским, восемнадцатый — французским. Испанцы крестили Америку, англичане дали миру экономическую политику, французы — буржуазную культуру и философию; мы даём сверхнациональное мировое государство. Назовите это высокомерием или как угодно, но от фактов никуда не денешься. Идеи, которые носятся в воздухе, всегда выбирают подходящих воплотителей, они — как джин из арабских сказок, вскакивающий человеку на спину и загоняющий его до того, что он падает без сил на дороге.

Он помолчал. И тут Пётр понял, почему этот человек так неприятен ему физически. Его губы, когда он говорил, становились влажными, в углах рта крошечными пузырьками пенилась слюна. Каким-то образом это подходило к его застывшей ироничной улыбке и нервным рукам. Почему-то Пётр вспомнил, как Соня рассказала ему об одном пациенте со странным нервным расстройством, которого она до него лечила. Она не назвала имя пациента. Смутное воспоминание исчезло так же быстро, как и возникло.

— И каким же оно будет, это ваше сверхгосударство? — спросил Пётр погодя.

— О, это всё лишь предположения. Я сказал вам: мы экспериментируем. Но в немыслимых прежде масштабах. Мы предприняли нечто грандиозное, колоссальное. Ничего невозможного для человека больше нет. Мы атакуем впервые биологическую структуру расы. Мы начали выводить новый вид homo sapiens. Мы выпалываем ростки дурной наследственности. Задачу по ликвидации или стерилизации цыган в Европе мы почти решили; ликвидация евреев завершится через год-два. Лично я очень люблю цыганскую музыку, а умный еврей бывает забавным, но избавиться от бродячих генов с их асоциальным и анархическим составом в человеческих хромосомах необходимо. Ваши гуманисты пришли в ужас, узнав, что в наших психиатрических больницах усыпляют безумцев. Они ещё не поняли, что мы превращаем весь континент в биологическую лабораторию. Мы первые применили подкожное впрыскивание, скальпель и стерилизацию в нашей революции. Параллельно с работой по уничтожению мы создаём, путём систематического отбора, новую аристократию расы. Браки наших элитных частей строго регулируются, наследственность с обеих сторон изучается, сводится в таблицы, которые утверждают особые комиссии. Следующий шаг, который уже готовится — это национальные картотеки, где будут отмечаться наследственные особенности каждой семьи — нечто вроде всенародного банка крови. Вы можете улыбаться, мой маленький друг. Когда узнали впервые о наших десантниках и психологической атаке — тоже улыбались...

Он остановился, отбрасывая назад волосы, и впервые в его голосе послышалось раздражение.

— Продолжайте, я слушаю. — Пётр с некоторым удовольствием отметил, что, наконец, обнаружил слабое место Бернарда: возможно, он не против, чтобы его проклинали, но насмешки над собой не терпит. Наверное, он многое о себе рассказал Соне — все, кто с ней общается, рассказывают. Пётр много дал бы, чтобы узнать, в чём исповедывался Бернард, о каких кроликах и цветочных горшках он вспомнил.

— На втором по значению месте после наследственности стоит окружающая среда. В последние годы мы постепенно снизили возраст, с которого государство начинает управлять homo novus, формируя его и доводя до нужной кондиции в специально созданном окружении. Мало-помалу мы дойдём до колыбели, до чрева и так установим преемственность с картотекой, контролирующей зачатие. Воспитательный контроль начнётся там, где кончается контроль наследственности.

— *Дивный новый мир*[*]? — спросил Пётр, стараясь не улыбаться.

— Вздор. То был страшный сон отчаявшегося гуманиста. Он не мог понять, что полный контроль над человеческим организмом должен привести, в конце концов, к созданию коллективного сознания в полном, биологическом смысле слова. В природе есть отличная рабочая модель для этого — города-государства белых африканских муравьёв. Каждый такой город включает несколько миллионов особей одного вида, покрывая площадь до пятидесяти квадратных километров и функционируя с абсолютной целесообразностью. У них идеальное разделение труда, есть сложнейшие технические устройства, включая отопительную систему, работающую на растительной ферментации и поддерживающую постоянную температуру в их сооружениях во все времена года. Они проводят математически строгую систему деторождения. И при этом не имеют ни планирующих учреждений, ни чертежей, ни администрации, ни даже письменности. Но такой высоко дифференцированный инстинкт, свойственный членам одного города-государства и только им, является не чем иным, как коллективным мозгом государственного организма. Таким же образом и, возможно, с помощью искусственно полученных биологических мутаций, индивидуумы в сверхгосударстве станут лишь клетками в организме высшего порядка: миллиононогий, миллионорукий одноглазый колосс.

— А как будут ваши государства-циклопы проводить время на этой земле? — спросил Пётр, чувствуя лёгкую тошноту и не зная, чему её приписать — то ли креслу-качалке, то ли перспективам, развёрнутым перед ним Бернардом, то ли пузырьками слюны на его губах.

— Всего вероятнее, им придётся выдержать несколько сражений друг с другом за мировое господство. Их руки протянутся через континенты, и планета задрожит от падения гигантских тел, пока законы завоевания не исполнятся и не наступит, наконец, последняя стадия — интеграция. И тогда новорожденный бог-государство потянется к звёздам.

Совершенно неожиданно Пётр зевнул. Он ничего не мог поделать — судорога в челюстях внезапно его одолела. Он подумал, что бернардовская утопия не так нова, как тому кажется.

— Сожалею — я вас утомил, — сказал Бернард, резко опускаясь на свои резиновые каблуки.

— Вовсе нет, — поспешно ответил Пётр. — А вы учли все непредвиденные случайности, которые могут возникнуть в процессе ваше-

---

[*] Название знаменитого романа Олдоса Хаксли, изданного в 1932 г (*прим. ред.*).

го эксперимента? Например — ваши подопытные кролики могут обезуметь и разбежаться по всей планете.

— Это всё фантазии робких, — улыбнулся Бернард. — Пережиток религиозного страха перед тем, чтобы оспорить божественную монополию на режиссуру спектакля.

К нему вернулось самообладание. Он снова был сплошь — вежливая ирония.

— Нас слишком занесло,— продолжал он, — но вы должны, по крайней мере, признать, что мечтать о будущем — привилегия не только так называемых левых. Что ваше бледное, невыразительное бесклассовое общество есть тусклая мечта экономиста по сравнению с тем, к чему стремимся мы. Ваша беда в том, что вскормленные на материализме XIX века, вы даже мечтали в терминах политэкономии, мы же действуем в плане биологической революции.

— Тем не менее, вы не гнушаетесь использовать и наши методы.

— Конечно, и с удовольствием, — слегка поклонился Бернард. — Мы, знаете, как дети, рады учиться у старших всяким полезным трюкам и одновременно смеёмся над их старомодным видом. В настоящий момент есть, конечно, некоторое сродство между вашей бывшей духовной родиной и нашей страной. В обеих — коллективная власть бюрократии. Обе — хорошо отлаженные полицейские государства с плановой экономикой, однопартийной системой и научно-разработанным террором. Но это только стадия, через которую должны пройти все страны. Называйте это как хотите: государственный капитализм или государственный социализм, бюрократия или технократия, можно, для разнообразия, допустить местный колорит; всё равно это — историческая фаза, столь же необходимая, как установление феодальной, а позже капиталистической систем. Наши две страны — есть лишь предвестники постиндивидуалистической, постлиберальной эры.

— Тогда зачем же, вместо того, чтобы вместе воевать против старого мира, вы начали войну на Востоке?

Бернард закурил сигарету. Впервые за время их разговора он, казалось, заколебался, желая выиграть время, прежде, чем ответить.

— Это, мой друг, довольно деликатный вопрос, — сказал он наконец, выпуская из ноздрей дым. — Некоторые из нас считают, что было бы лучше завершить объединение Европы и отложить Азию на десятилетие-другое. Вы думаете, — прибавил он с туманной улыбкой, — что политические разногласия существуют только у вас?

— Вы хотите сказать, — спросил Пётр с новым интересом, — что принадлежите к оппозиционной фракции в вашем движении?

Бернард пожал плечами.

— Это сильно сказано. Но я думаю, что в описанном мною направлении работает мысль наиболее дальновидных, обладающих воображением членов нашей партии — энтузиастов и мечтателей нашей революционной элиты.

На этот раз улыбнулся Пётр.

— Но ваша мечта несколько отличается от того, что говорят ваши вожди. Не представляю, как вы можете её совместить с этим возбуждённым лаем по поводу Вотана и с тотемными знаками?

— Послушайте, — перебил Бернард, — будем откровенны. Вы ушли, так как считали, что ваш вождь позорит революцию, не так ли?

— Более или менее.

— Но вы по-прежнему убеждены, что сама идея правильная. Что ж, может, и со мной так же получится. Я буду троцкистом н а ш е й революции. Есть даже общее между вашим **номером один** и нашим. Оба вышли из периферии — один из Грузии, другой из Верхней Австрии — и проявили повышенное рвение чужаков в отношении страны, которой они не принадлежат и на языке которой говорят с ужасным акцентом. Оба даже изменили свои имена, чтобы они звучали не так чуждо — как корсиканец Буонапарте отбросил "у", чтобы скрыть своё итальянское происхождение. Но они остались провинциалами из глубинки, стремящимися утвердить себя в среде туземцев,.узурпаторами, которых постоянно одолевает подозрительность. Но уйти — только оттого, что они загрязнили чистоту идеи? Нет, мой друг. Мы не так романтичны и разборчивы. Мы знаем, что настоящая революция не обходится без византийских арабесок. Вспомним ещё одного чокнутого провинциала, Робеспьера, желавшего создать новую религию и созвавшего жителей Парижа на Марсово Поле, где голую актрису объявили богиней разума. Что ж, робеспьеровский эксцентричный культ забыт, но права человека остались. Значение революции становится очевидным только через пятьдесят лет. Это — как процесс дистилляции: пары испаряются, а влага постепенно собирается на дне.

— Знаете, — сказал Пётр, помолчав, — вы хорошо устроились. Всё, что вам не нравится в вашем движении, вы отметаете как пустяки, а главным объявляете то, во что вы сами верите. Но откуда вы знаете, что есть что? А если в процессе дистилляции разорвёт реторту?

— Теоретически это, конечно, всегда возможно. Приходится рисковать.

— Например — что, если вы проиграете войну?

— Это слишком отдалённая возможность, — улыбнулся Бернард. — Но даже при допущении, что мы проиграем, результат будет тот же. Противник попытается собрать куски своей разбросанной мозаи-

ки и управлять Европой с помощью устаревших концепций прошлого века: национального суверенитета, равновесия сил, льготных тарифов и т.п. Его победа означала бы лишь post scriptum девятнадцатого века к первой половине двадцатого. Но больше двух десятилетий это не продлится. Площадь планеты сокращается. Мозаика будет трещать и разрушаться, а внутри самих стран утвердятся приведённые нами в движение силы — революционные силы эпохи постлиберализма. И процесс этот уже начался. Даже если мы проиграем эту войну, распространение нашей идеи остановить нельзя. Для этого Западу не хватает своей картины будущего. Их традиционные лозунги прогнили. Это сентиментально ханжество, пустые общие места. Всё, что они умеют — вести затяжную войну с историей, под спущенными изодранными знамёнами прошлого. И, однако...

Он запнулся, но Пётр знал, что он хотел сказать:

— ...однако они могут победить.

В комнате стало темно. Их спор длился несколько часов, и сумерки придали Бернарду усталый, измученный вид. У него такой тип лица, размышлял Пётр, которое лучше всего выглядит в ярком, жёстком дневном свете. Тень его глушит. А каково оно в темноте? Это лицо беззащитно против ночи.

Вдруг он вспомнил о Сонином пациенте. Она рассказала ему о молодом человеке, страдающем от ночных приступов страха смерти. Это была не трусость — он всегда вёл себя мужественно, даже безрассудно, в момент физической опасности. Это был какой-то страх пустоты. Обычно он был активным, собранным, уравновешенным, но по ночам рвал зубами простыни и дрожал всем телом от ярости и отчаяния при мысли о неизбежности собственной смерти. Увидев лицо Бернарда, осунувшееся в сумерках, Пётр больше не сомневался, кто был тот пациент.

Бернард потянулся и взглянул на часы.

— Что ж, на сегодня я должен закончить свои попытки вас обратить, — сказал он с натянутой улыбкой. Он собрал книги, и Пётр проводил его к двери. Они не обменялись рукопожатием, но,обернувшись в просвете двери,Бернард заметил:

— Я говорил с вами откровенно. Не такой вы тип, чтобы удалиться от дел и возделывать свой сад. Там, куда вы едете, нам нужны люди. Это легче того, чем вы занимались прежде, и интереснее. Подумайте об этом.

Не успел Пётр ответить, как он исчез.

5.

Через неделю он отплывает.

Одетт прислала письмо. Конверт такого же размера и того же бледно-голубого цвета, как тот, который он нашёл в её пустой комнате прислонённым к стакану. Он наслаждался видом ярких почтовых марок и парадом длинных, угловатых букв её почерка, шествующих сквозь его имя и адрес. Затем он распечатал конверт. Письмо было дружеским и ни к чему не обязывающим, написано ещё до того, как она получила сообщение о его приезде; очевидно она не хотела влиять на его решение. В результате письмо получилось довольно прохладным. Как ни странно, к его разочарованию примешалось чувство облегчения, которое он не мог бы объяснить. Но с ним в последнее время творилось ещё что-то, не поддающееся объяснению.

В последние несколько дней он выходил не часто. Большую часть времени блуждал по пустым комнатам, читал и размышлял. В первую неделю после отъезда Сони он каждый вечер пил, но похмелье после выпитого абсента погружало его в такую глубокую депрессию, что он это прекратил. Затем он ходил три вечера подряд в кино, но военная хроника приводила его в состояние смутного волнения и заставляла сердце так яростно биться, что он опасался возврата болезни.

Кроме того, казалось, что стоит ему выйти из дома, он непременно столкнётся с товарищем Томасом и его женой или с тем изуродованным молодым человеком, которого он видел в кафе. Как только он их замечал, его охватывала лёгкая паника, он колебался, не перейти ли на другую сторону и, не решаясь этого сделать, спешил за ними, ругая себя за свой смущённый вид, который, как он был убеждён, они непременно должны были заметить. И действительно, один раз молодой пилот, проходя, посмотрел на него с некоторым удивлением. Петру показалось, будто из-под его ободранных, красноватых век проглянул вопросительный знак.

Он пробовал гулять по утрам в парке, где первый осенний дождь смыл пыль с пальм и заставил клумбы с тропическими цветами благоухать. Парк посещали, в основном, местные гувернантки, накрашенные толстухи. Они сзывали резкими голосами порученных их заботам маленьких мальчиков и девочек; и когда он шёл мимо по усыпанной гравием дорожке, он читал тот же вопрос в их глазах. Несколько раз, казалось ему, он слышал, как они шепчутся и смеются ему вслед. А однажды, когда он сидел на скамейке, пытаясь читать книгу и не мог сосредоточиться, на другом конце присела молодая гувернантка; она была стройней и красивее других, и он попробовал с ней заговорить, разбить стеклянную клетку своего одиночества. Она улыбнулась, но не поняла,

что он говорит. Чтобы вывести его из смущения, она показала пальцем на море, в направлении, где, как она полагала, находится его страна и, выражая всем лицом сочувствие, показала жестом, что нажимает на курок.

После этого он забросил и парк, выходя только, чтобы купить еду, которую готовил себе в Сониной просторной кухне.

Он снова стал видеть сны. Две ночи подряд он видел один и тот же, особенно неприятный сон: он снова мальчик, весна, он не пошёл в школу и бродит по свежим, волнующимся лугам, покрытым алыми маками его страны. Но когда он пытался сорвать цветок, лепестки тут же опадали, а оставшийся в руке голый стебель вызывал раздражение и грусть. И всё время он думал о классной комнате и о своей пустой парте.

Он говорил себе, что снова становится невротиком, и мысленно вёл долгие разговоры с Соней:

— Глупый, разве ты не сыт по горло? — *Но я смотрю на них и вижу в их глазах вопрос.* — У тебя что — мания преследования? — *Может быть. Почему ты оставила меня одного?* — Я тебя оставила, потому что ты выздоровел. — *Но если я выздоровел, почему же алые маки в моих руках осыпаются?* — Ты ещё не научился снова радоваться жизни. Тебе полезно сменить обстановку. — *Может, Одетт меня больше не хочет?* — Хочет, и ты это знаешь. — *Может, я её больше не хочу. Может, ты меня излечила и от неё...*

Затем голос Сони замирал и оставлял его ещё более одиноким, чем прежде. Он снова начинал свои блуждания по комнатам, потом снова заводил беседу:

— *Почему они так на меня смотрят?* — Они не смотрят, это тебе кажется. — *Они спрашивают себя: что он здесь делает, почему не идёт к тем, кому он принадлежит?* — Но ты никому не принадлежишь, глупый. — *Как можно жить, никому не принадлежа?* — Ты принадлежишь себе. Это дар, которым я тебя одарила. — *Я его не хочу. Твой дар не ко времени.* — Так чего же ты хочешь? — *Не чувствовать стыда.* — Чего ты стыдишься? — *Того, что гуляю в парке, когда другие тонут и сгорают заживо; того, что принадлежу себе, когда каждый принадлежит чему-то ещё.* — Ты всё ещё веришь их большим словам и маленьким флажкам? — *Нет.* — Разве ты не рад, что я открыла тебе глаза? — *Да, я рад.* — Чем была твоя вера? — *Иллюзией.* — Твои поиски братства? — *Охотой за дикими гусями.*— Твоё мужество? — *Тщеславием.* — Твоя верность? — *Искуплением грехов.* — Почему же ты хочешь начать всё сначала? — *Действительно, почему? Вот ты и должна объяснить.*

Но именно этого Соня не могла объяснить, ибо оно было за гранью её разумения, а может, и вообще вне его. И он опускался в её кресло-качалку и откинувшись на резную спинку, медленно покачиваясь, бросал до половины выкуренную сигарету в камин, полный окурков, как катакомбы белыми костями; и через некоторое время диалог начинался снова.

— *До того как я тебя встретил, Соня, я был безумен. Однако я был счастлив в ту ночь, когда выбрался на берег в бухте.* — В ту ночь, когда ты вытащил флажок из песочного замка? — *Идя по улице, я чувствую, что в моей петлице пусто. Это непристойно.* — Однако тебе нечего возразить на аргументы Бернарда. — *Я многое могу сказать, но он не поймёт.* — Почему же? В нём больше логики. — *Именно поэтому. Мои возражения вне логики.* — В чём же они? — *Он, вероятно, назвал бы это фетишизмом.* — Ты что, становишься мистиком, Пётр? — *А если и так?* — Выращиваешь ещё одну рождественскую ёлку? — *Виноват ветер, который разносит семена.* — Я не обвиняю. Я хочу, чтобы ты был разумным. — *Пользуясь разумом, можно и предложение Бернарда принять.* — Почему бы и нет, действительно? Хоть раз в жизни был бы с победителями. — *Действительно, почему нет? А потом, если кто-то меня обвинит, ты коснёшься своей волшебной палочкой и призовёшь кроликов и цветочные горшки в свидетели защиты и докажешь, что всё можно объяснить как причину и следствие, а раз можно объяснить, то можно и простить...*

Он перестал качаться: нет, это последнее возражение Сони — неправда. Она бы не одобрила, если бы он принял предложение Бернарда. Но из какого источника она бы почерпнула своё неодобрение? Где в её системе есть место для различия? Она великий корчеватель деревьев; не вырвала ли она из своего сада древо познания добра и зла? Не было ли её целью вернуться к временам до грехопадения, когда *были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились?*

Я поймал тебя, Соня, думал он с нарастающим волнением. Я тебя поймал снова. Что бы ты ни говорила, как бы ни выкручивалась, но и ты вкусила от плода того проклятого дерева. Благословенно грехопадение, благословенно древо. И благословенна почва, принявшая его семя.

6.

Однако на следующее утро, за пять дней до отплытия, его настроение изменилось. Он перечитал письмо Одетт, внезапно оно показалось ему полным сдержанной нежности и желания. Он положил письмо и конверт на стол, а вокруг разложил полученные в туристиче-

ском агентстве яркие наклейки для багажа, на каждой была дымящая труба и белый альбатрос, застывший в голубом небе. Он вынул документы с чудными чёрно-красными марками и расположил их симметрично. Было похоже на музейный экспонат. Он прислонился к стене и любовался зрелищем, обещавшим несбыточное счастье.

Но почему — несбыточное? Кто ему помешает? Ещё пять дней, сто двадцать часов — он уже стал считать часы — и он будет на борту "Левиафана", недоступный опасности, затаившейся у него внутри. Господи, молился он, прислонившись к стене, приведи меня благополучно на этот пароход. Спаси меня от моего собственного грозящего гибелью безумия. Защити от вторичного грехопадения, не дай вкусить вновь горького сока тех запретных плодов — познания добра и зла, ведущего человека на жертву и гибель.

Он перевёл дыхание, охваченный лёгким ознобом. Не мог отвести глаз от голубого конверта Одетт. Стройные буквы на нём словно ожили и смотрели на него с грустной и дерзкой улыбкой, нашёптывая: **почему бы и нет?** Я теряю голову, думал он. Вот я уже молюсь, и лишь наполовину в шутку. И молитва-то — извращённая, основанная на извращённом тексте. Разве не сам Господь угрожал человеку смертью, если тот познает добро и зло? Забавный способ поощрить человека следовать этическим нормам! Змий, поборник морали, был наказан больше других животных — ползать на брюхе и есть прах; а Адам, не успев вкусить от яблока, тут же скрылся среди деревьев и повёл себя как явный невротик. Похоже, это подтверждает тезис Бернарда о том, что жажда справедливости — признак невроза, а поиски моральных ценностей всегда сопровождаются некоторой патологией. Во всяком случае, эти два явления фатально друг с другом связаны. Принимая одно, ты принимаешь оба. Тот, кто чувствует себя призванным, должен принять бремя странных патологических проявлений. Освободите их от бремени, и они словно оглохнут. Как только ты перестаёшь быть одержимым кроликами, ты забываешь Иерусалим. И не жди, что к ужасному акту самопожертвования приведут здоровые мотивы. Процветание народа стоит на тех, кто платит воображаемые долги. Вырви корень их вины, и останется только сыпучий песок пустыни.

Его мысли стали путаться; но он чувствовал, что первая, слабая искра понимания и приятия блеснула среди этой путаницы. Она исчезла, но он знал, она вернётся.

Он вышел на кухню и приготовил себе завтрак. Он чувствовал усталость и пустоту. Отнёс еду в гостиную и сел есть. Но его горло пересохло и вспухло от одиночества, и жевать было больно.

Он вернулся в свою комнату и бросился на смятую постель. Оставалось ещё сто восемнадцать часов. Немного погодя он разделся

и закутался в простыни. В постели он чувствовал себя в безопасности, неспособным совершить непоправимый поступок. Он не мог, например, спуститься по проспекту мимо Центральной почты и свернуть во вторую улицу направо, узкую, круто спускающуюся по склону и пахнущую рыбой. Если он проведёт в постели оставшиеся четыре дня, возможно, он обманет этот опасный инстинкт, влекущий его туда.

Он снова взглянул на письмо Одетт, на яркие наклейки с голубым небом, дымящими трубами и альбатросами. Боже мой, шептал он, кто мне заплатит за пропавшие годы? Кто оплатит неиспользованный чек на жизнь — тот, что у меня в кармане? Миллионы пережили этот потоп, едва замочив ноги. Они не хуже и не лучше меня. Но почему я? Почему именно я?

7.

Он не выходил ни в этот день, ни на следующий — четвёртый перед отъездом. Жил на оставленные Соней консервы. Дремал большую часть дня в постели, часами мечтал. Ночью он не мог спать, и мысли его вращались, как волчок, который, когда стегнёшь его плетью, подпрыгивает и меняет наклон, но продолжает вертеться с той же скоростью; ударит в стену, подпрыгнет, и снова вертится под другим углом. Чтобы прекратить это мучительное коловращение и провести время, он снова стал писать рассказ, начатый несколько дней назад.

В нём говорилось о молодом человеке, сидящем не берегу и рисующем треугольники тростью на песке.

"...Он не видел ни чаек, кружащих над его головой, ни галер, ни трирем, мягко скользящих вдоль горизонта; на нём была странная просторная одежда, и он молча, с горечью смотрел на цифры, написанные им на песке, а губы бормотали невнятные слова. На скамью с другого конца сел старик с острым взглядом и морщинами у глаз и, последив некоторое время за странными действиями молодого человека, мягко спросил:

— Что ты делаешь, мой друг, своей тростью?

Молодой человек вздрогнул, словно застигнутый за постыдным или преступным делом.

— Рисую треугольники, — ответил он, глупо краснея.

— А почему, нарисовав один, ты стираешь его рукой и рисуешь точно такой же новый?

— Не знаю. Мне кажется, в этих треугольниках скрыта тайна, и я хочу её разгадать.

— Тайна?.. Скажи мне, мой друг, ты случайно не страдаешь от дурных снов? Может, ты иногда кричишь во сне?

— Да, время от времени.

— И что это за сон, который тебя преследует и заставляет кричать?

Молодой человек снова сильно покраснел.

— Мне всегда снится, что мы с моей дорогой женой Целией смотрим на состязания гимнастов, в которых участвует мой друг Порфирий. Он бросает диск, но не туда, куда надо, и эта тяжёлая вещь, вращаясь в воздухе, ударяет мою бедную жену по голове, от чего она падает в обморок с загадочной улыбкой на губах.

Старик положил, посмеиваясь, руку на плечо молодого человека.

— Мой дорогой друг, — сказал он, — твоё счастье, что судьба свела тебя со мной, ибо я толкую сны, решаю загадки и помогаю сокрушённым. Это будет тебе стоить драхму, но вполне окупится. А теперь слушай: "Я заметил, что рассказывая свой сон, ты машинально продолжаешь чертить на песке. Упомянув себя, ты провёл прямую линию. Упомянув друга Порфирия, ты провёл другую линию, под прямым углом к первой, а когда ты упомянул свою жену Целию, ты завершил треугольник, проведя гипотенузу и соединив две стороны. Таким образом, твой сон стал совершенно прозрачным. Твой разум поражён беспокойством, которое ты скрываешь даже от себя, и тайну треугольников, которую ты пытаешься решить, можно легко раскрыть, расспросив прислугу об интимной жизни твоей жены".

Молодой человек, которого звали Пифагор, вскочил на ноги.

— Благословенны боги, что ты решил загадку, терзающую мой мозг! Вместо того чтобы продолжать рисовать эти дурацкие

треугольники, что я делал последние два года, я пойду сейчас домой и задам Целии хорошую трёпку, как подобает разумному мужу.

Он наступил сандалиями на последнюю нарисованную им фигуру, затем, подхватив полы одежды, поспешил вдоль берега. Он чувствовал радость и облегчение; тёмная, необъяснимая потребность рисовать треугольники на песке оставила его навсегда, и теорема Пифагора не была доказана".

Пётр вложил рассказ в конверт и послал Соне. Опуская его в почтовый ящик, он улыбался. Написав рассказ, он почему-то почувствовал себя лучше.

8.

За три дня до отъезда Пётр зашёл в транспортное агентство, чтобы подтвердить свой рейс.

Он узнал, что всё в порядке. Ему посоветовали прийти на пристань с утра, так как формальности, связанные с проверкой багажа и паспортов, требуют времени. "Левиафан" отходит в 18 часов, с вечерним приливом, но чиновник посоветовал ему прийти в 10 утра, пока нет давки, спокойно позавтракать на борту и смотреть на общую суету, сидя в шезлонге.

Всё это произойдёт послезавтра, точнее через сорок шесть часов, так как мудрое предложение чиновника скостило в расписании Петра целых восемь часов. Он вышел на залитую солнцем улицу — после долгого затворничества она показалось ещё ярче. Он думал пойти из агентства прямо домой и провести предпоследний день в Европе у себя в четырёх стенах, в безопасности. Но выйдя из конторы, размечтался, представляя, как на пароходе будет следить за чайками, ныряющими за кормой в бурлящей воде; ноздри его наполнились запахом смолы и водорослей, и не успел он оглянуться, как оказался перед вереницей кафе, образующих фасад площади, куда ноги привели его сами. Он заволновался, захотелось побыстрей отсюда уйти, но пока он колебался между тротуаром и фонтаном, он заметил знакомое лицо. Г-н Вильсон сидел один в первом ряду соседнего кафе, всего в нескольких метрах от Петра, и улыбался ему. Свернуть в сторону было бы слишком грубо, и он нерешительно пошёл вперёд. Поравнявшись со столиком, неловко кивнул, г-н Вильсон поднял ладонь с тремя здоровыми пальцами, приветствуя его неопределённо-дружеским жестом. Пётр это воспринял, как повод остановиться, вернее, он не успел ни о

чём подумать, ноги вросли в землю. И вот он уже слышит голос г-на Вильсона, который спрашивает, как идут дела с тех пор, как они последний раз виделись.

— Послезавтра отчаливаю, — тихо сказал Пётр.

— Прекрасная новость! — воскликнул г-н Вильсон. В его голосе и на лице выразилось искреннее облегчение. — Садитесь и выпейте рюмку.

Петру пришлось сесть, г-н Вильсон заказал ему абсент.

— Я часто думал — что с вами стало? Кто-то сказал, вы болели.

Пётр что-то пробормотал. Дружелюбный тон г-на Вильсона его ошеломил. Он, что, забыл о письме и о том, что перед ним настоящий дезертир?

Принесли выпивку.

— Яд для моего желудка, — сказал г-н Вильсон, разбавляя абсент большим количеством воды. — Кстати, недавно вам пришло разрешение и мы, кажется, вам об этом сообщили, но, видно, вы ничего не получили из-за болезни. Я лично этому рад. Вы достаточно хлебнули всякого свинства и заслужили нормальную жизнь. За ваше путешествие.

Сердце Петра подпрыгнуло. Неужели он так легко отделался? Получил отпущение грехов, и всё, что осталось — это встать с колен, отряхнуть пыль со штанов и выйти на солнечную улицу?

Он сглотнул. — Вы хотите сказать, — выдавил он с усилием, — что вы меня не осуждаете?

Г-н Вильсон удивился, растерянно улыбаясь:

— Осуждать вас? За что?

Не успел Пётр объяснить, как тот уже снова махал рукой и кому-то улыбался за спиной у Петра. Видно, сегодня он был настроен добродушно.

— Познакомьтесь с г-ном Славеком, Эндрю, — сказал он приветливо, и в следующую минуту Пётр оказался против залатанного, похожего на маску лица, которое вблизи ещё больше напоминало неудачное подобие человеческого.

— Садитесь, — сказал г-н Вильсон. — Какая честь — угощать двух юных героев за своим столом. — Он бодро помахал кёльнеру и снова заказал выпивку.

— Я о вас слышал, — сказал Эндрю, двигая своими клешнями стул. — Вы из тех жутких типов, о которых мы с угрызением совести узнаём из газет.

— С угрызением совести? — пробормотал Пётр. Он выпил до половины вторую рюмку в отчаянной надежде, что это поможет ему в его испытании.

Г-н Вильсон разбавлял водой вторую рюмку. Он явно был в хорошем настроении. Растерянность на его лице сменилась робким удовольствием. "Наш юный Эндрю, знаете, трус, — хихикнул он, — он боится, что одна из здешних пышных молодых дам вручит ему в один прекрасный день белое перо."

— Вы заметили, — обратился Эндрю к Петру, не обращая внимания на замечание г-на Вильсона, — что мы все в этом балагане живём с нечистой совестью?

— Но почему — именно вы?.. — Пётр невольно перевёл взгляд на руку Эндрю, с трудом удерживающую над столом рюмку. Эндрю это заметил; насмешливое выражение его глаз стало заметней.

— Это не меняет дела, — сказал он. — И вы могли бы получить кирпичом по голове в облаве.

— Я лично лучше перебьюсь угрызениями совести, — снова хихикнул г-н Вильсон.

— Но что вы могли сделать, кроме того, что сделали? — спросил Пётр.

— Это не меняет дела, говорят вам, — маска слегка дёрнулась от нетерпения. — Если ты штафирка, тебе совестно перед теми, кто в хаки. Если ты в хаки, тебе неловко перед теми, кто в голубом. Наземная служба чувствует себя ниже летунов. Бомбардировщикам неловко перед истребителями. А истребители, которым повезло, чувствуют себя виноватыми перед теми, кого сбили. Так и получается.

— Вы хотите сказать, что каждый чувствует, что он недостаточно делает?

Маска снова дёрнулась:

— Недостаточно — для чего?

— Ну... для войны.

— Для войны? У нас нет войны, — сказал Эндрю. — Там только делают вид, что она есть. И каждого мучает совесть, — ведь каждый знает, что он только делает вид. Некоторые парни из спортивного интереса несколько переигрывают, и другим от этого ещё хуже.

— Не деморализуй союзника, — усмехнулся г-н Вильсон. Он обернулся к Петру. — Это он не совсем всерьёз. Так, прикидывается.

— И вы, — спросил, заикаясь, Пётр, — действовали из спортивного интереса?

Тот пожал плечами. Он сосредоточился на задаче — выпить рюмку, не пролив ни капли.

— Не кажется ли вам, что выяснять причины наших поступков довольно скучно?

Он поставил стакан, который звякнул, коснувшись металлической поверхности стола.

После долгого молчания Пётр спросил:

— Но не выяснив этого, чем же руководствоваться?

Эндрю вдруг показался усталым. Видно, алкоголь его не взбадривал. Мелкие капли пота проступили у него над верхней губой и на лбу; они выглядели странно на его незажившей коже.

— Да бросьте, — сказал он, наконец, — с этими рассуждениями далеко не уедешь.

— Ладно уж, — сказал г-н Вильсон, который после каждого глотка доливал в стакан воду, — вы оба вместе моложе меня на десять лет, но чувствую я себя так, словно при мне беседуют два старых скептика.

Эндрю улыбнулся. Странно, подумал Пётр, до чего выразительно может быть это лицо, когда к нему привыкнешь.

— Но, всё-таки, — сказал он, — должно же быть что-то, во имя чего ты действуешь?

— Уж эти мне иностранцы, с их "во имя"! — сказал г-н Вильсон, становясь всё бодрее и бодрее от выпитой им воды.

— Вы считаете, что легче жить во имя чего-то? — спросил Эндрю.

— Не знаю, — пробормотал Пётр, — но умирать во имя чего-то, вероятно, легче, чем просто так.

— Ну, — сказал Эндрю, — это другое дело! Умереть ради чего-то стоящего — это мечта! Но на это трудно рассчитывать со стороны судьбы. От такой роскоши, небось, становишься горд, как пёс, которому чешут спину, и завиляешь хвостом, отдавая концы.

Он допил стакан и встал. "Ну, мне пора. Рад был встретиться, и всё такое прочее. Спасибо за выпивку".

Они смотрели, как он шёл через площадь, сунув руки в карманы и слегка втянув голову в плечи, пока не исчез за углом, поглощённый белым блеском.

— Проблема с ним в том, — сказал г-н Вильсон погодя, — что он хочет вернуться в свою эскадрилью, а врачи, естественно, не пускают. Так или иначе, — прибавил он, вздохнув, — примем ещё немножко этого яду. Счастливого вам пути!

9.

В эту ночь — предпоследнюю перед отплытием — Пётр видел сон. Дело было, должно быть, к утру, так как он помнил, что проснулся, посмотрел на часы, которые показывали пять часов с небольшим, и уснул снова с мыслью, что ждать осталось всего двадцать девять часов.

Он спускался в водолазном колоколе на дно моря, кругом становилось всё темнее. Он не знал, что темнота может быть такой глу-

бокой, а она всё сгущалась, и вдруг он понял, что это не темнота, а тёмный свет. От этого открытия ему стало легче, но он тут же заметил, что кто-то снаружи поворачивает ручку двери; затаив дыхание, он следил за медленным движениями ручки и знал, кто это идёт. И вот дверь беззвучно открылась, тот человек вошёл и медленно приблизился к его кровати. Он скрылся под ржавой кольчугой, но сомнений в том, кто он такой, не было: ни один полицейский в мире не забудет такого лица — с рыжими кудрями, сломанной переносицей, короткой верхней губой, обнажающей просвет между передними зубами и частично дёсны. Лицо с тенью в глазницах, похожее на череп — это лицо глянуло на него из зеркала купальной кабинки. Но на этот раз между ними нет зеркала; и тот, другой, со слепыми, невидимыми в темноте глазами, движется мягким, скользящим шагом к кровати, сжимая руками несуществующий крест. Должно быть, он и слепой, и оцепенелый, так как не замечает, что вместо креста его пальцы сжали пустое пространство. Он приближается. Вот оказался в ногах кровати, прошёл сквозь матрац и дерево, как сквозь податливую жидкость; невидимый крест лёг Петру на грудь, потрясая его невыносимым ужасом и наслаждением. Он хотел крикнуть, но голос его потонул во мраке; хотел сесть, но на грудь его тяжело давил воздух и не давал ему двинуться. Он ждал момента, когда тот, другой, пронзит, сокрушит и истребит его тело, и дрожа от страха, проснулся.

Комната была почти полна света. Трубы и альбатросы на багажных ярлыках у него на столике казались ярче обычного. Было девять часов — оставалось всего двадцать пять.

10.

Как ни странно, последний день, который, как он боялся, будет самым длинным, прошёл быстрее, чем он ожидал. Утром он зашёл в Комитет, где подписал какие-то документы и бланки. Так как ещё сотни две из подопечных Комитета отплывали на "Левиафане" и проходили ту же процедуру, на улице собралась длинная очередь — первая увиденная Петром счастливая очередь. Люди взволнованно переговаривались, обсуждая расположение коек, пищу и средства от морской болезни; уверяли друг друга, что плыть под нейтральным флагом совсем не опасно. Пётр попытался присоединиться к разговорам, но его голос звучал принуждённо, вызывая со стороны тех, к кому он обращался, преувеличенную вежливость.

Было второй час, когда он покончил с Комитетом. Хотя ему очень хотелось выпить в последний раз на Площади, но он пошёл прямо домой, приготовил себе еду, поел и стал убирать квартиру. За неё

было заплачено, и ему осталось только сдать ключи завтра утром хозяевам по пути на пароход. Но он захотел оставить квартиру в чистоте и порядке, замести, так сказать, следы, не оставить никакой памяти, очистить комнаты от прошлого. К тому же уборка помогала убить оставшееся время.

Часов в пять он покончил с гостиной и занялся Сониной спальней. Выдвинув пустые ящики её шкафа, чтобы их протереть, он обнаружил среди прочего хлама кучку порванных писем. Корзины для бумаг в спальне не было, и одной из её неряшливых привычек было рвать письма и бросать обрывки в ящик. Он сложил всё в совок для мусора и понёс было на кухню, как вдруг заметил сверху клочки голубой почтовой бумаги Одетт. Он не устоял и подобрал их. На клочках было всего несколько строк, встретилось его имя, конец фразы был оторван. Потом — какие-то намёки, которых он не понял, а дальше: *"...Для разнообразия это было мило; думаю, я в этом нуждалась. Но настоящее — это ты, и вся моя нежность..."*

Он вернул обрывки в совок и выбросил всю кучу в мусорный ящик на кухне. Куски бумаги легли на дно, среди пыли, картофельных очисток и волокнистых хлопьев грязи. Он не испытывал любопытства — собрать другие клочки письма; прикрыл ящик крышкой и вернулся убирать в спальню Сони.

Он не почувствовал особого удара от прочитанного — он знал об отношениях Одетт с Соней прежде — только лёгкое отвращение. Но острее всего он чувствовал грусть, как-то связанную с видом пустых ящиков, и жалость к Одетт, с её невидящим взглядом, хрупкостью и уязвимостью, к Одетт-жертве, пойманной плотоядным цветком.

Он покончил с комнатой Сони и занялся своей. Сложил немногие вещи в дешёвый чемодан, купленный накануне; письмо Одетт к нему оказалось внизу. Он стал скрести пол; комнату наполнил запах жидкого мыла, пыли и мастики. Пусть улетают последние тени прошлого, застрявшие в знакомых запахах, запрятавшиеся в чернильных пятнах на столе и на подоконнике. Он продолжал отчаянно скрести и тереть, ползая на коленях и чувствовал: он изгоняет прошлое, а его будущее уже лежит, похороненное среди порванных клочков бумаги в мусорном ящике, который он только что закрыл без сожаления крышкой.

К вечеру, когда полдела было сделано, его навестил Бернард. Пётр впустил его и, коротко извинившись, продолжал скрести пол. Бернард торчал в дверях гостиной, наблюдая с иронией за действиями Петра. "Прощай, оружие,— сказал он погодя, понюхав воздух. — Пахнет твёрдым решением начать новую жизнь".

Пётр не ответил. Он тёр пол тряпкой, тщательно обследовал пространство под кроватью — нет ли грязи.

— Вы подумали о нашем разговоре? — спросил Бернард.

— Вы имеет в виду предложение на вас работать? — поднял глаза Пётр, стоя на коленях и выжимая над ведром тряпку.

— Не торопитесь с ответом, — сказал Бернард, — У вас будет много времени на размышление. Только не считайте себя изменником, если решите перейти к нам. Резко очерченной линии фронта между классами больше нет. Тот, кто говорит об измене, рассуждает в понятиях окопной войны, типичной для социалистов девятнадцатого века: прогресс и реакция, левые и правые; но мы живём в эпоху динамичного фронта социальных движений. Широкие слои рабочего класса вошли в наши ряды; радикальное крыло деятелей Нового курса и молодого поколения британских тори действуют на левом фланге профсоюзов; партизаны-синдикалисты в Латинской Америке отстаивают принцип самоуправления; от социального тела отрываются мобильные части, бюрократия и политики занимают главные позиции. Вы же остаётесь на нейтральной земле одни и, протирая глаза, ищите свои старые окопы, заваленные мусором и занесённые песком.

— Да как вы можете так говорить, — возразил Пётр, остановившись и разглядывая узор на подсыхающем полу, — теперь, когда всё бурлит, что будущее — за вами? Может, вы всего лишь летучий отряд, который мчится по полю битвы, стреляя налево и направо, и бесследно исчезнет за горизонтом.

— Возможно, кто знает? Но пока непохоже, чтобы мы так скоро исчезли. Даже в так называемых демократических странах воздух полон нашим незримым присутствием. В двадцатые годы, если ты выходил без шляпы или предпочитал супу закуску, тебя считали большевиком. Сегодня стоит сказать что-то, что пахнет продуктивностью и нарушает прокисшую идиллию — и тебя обвинят в том, что ты **наш**. Где идёт охота на ведьм — там они всегда найдутся. Призрак бродит по Европе, но на этот раз призрак — это мы.

— Перейдите, пожалуйста, к окну, — сказал Пётр. — Я начинаю натирать.

— С удовольствием, — сказал Бернард, садясь на подоконник. — Ваше хозяйственное рвение для меня — показатель внутреннего кризиса, близкого к взрыву.

Подняв голову, Пётр встретил иронический взгляд. — Я никогда не буду на вас работать, если вы на это намекаете, — сказал он как можно спокойнее.

— Вы знаете, — Бернард улыбнулся, — иные при одной мысли об этом хохотали, а потом являлись. Процесс у всех одинаковый: какое-то время ты яростно борешься, подавляя старые предрассудки, пока однажды, когда ты достаточно измотан, тебя не осенит, что ты сра-

жаешься с тенями, и ты себя спокойно спросишь: **"А почему бы и нет?"**

Бернард остановился, удивлённый внезапной бледностью Петра. Тот поднялся. Зловещая фраза отдавалась в ушах. В первый раз с тех пор, как он встретил Бернарда, он ощутил реальную опасность, когда скользишь беспомощно вниз и не за что уцепиться.

— Идите к чёрту, — сказал он хрипло.

Бернард округлил глаза, изображая вежливое изумление, и не спеша слез с подоконника.

— Ладно, — сказал он, — объясним это вашим нервным состоянием, впрочем, простительным...

— Идите к чёрту, — повторил Пётр, на этот раз спокойнее.

— ...и тем, что взрыв совсем близко, — продолжал невозмутимо Бернард, улыбаясь Петру от дверей. — Сообщите мне, когда он пройдёт и вы примете решение.

— Случай вряд ли представится, я завтра отплываю.

— Будет много случаев, — ответил Бернард, и улыбка его стала ещё дружелюбнее. — Кстати, я зашёл сообщить, что меня посылают за океан. Здесь становится жарко. Мне только что удалось получить последнюю каюту на "Левиафане". Паршивая, говорят, посудина. До встречи на пароходе.

Он ушёл. Некоторое время Пётр продолжал стоять посреди комнаты, с полотёрской суконкой. Наконец, заметил тусклое место на полу. Машинально опустился на колени и стал тереть, пока не покраснело лицо и от стекающего со лба пота не защипало в глазах.

11.

Так вот как себя чувствуешь, оказавшись на "Левиафане"! Он довольно сильно отличался от своего изображения в пароходной конторе; судно оказалось старое, с грязно-серым корпусом. Пар выходил из трубы скупыми клочьями, словно не принимая приготовления к отплытию всерьёз; вместо смолы и водорослей пахло едой, как в дешёвом пансионе.

Матрос на сходнях объяснил Петру слегка снисходительным тоном, как найти его каюту. Встреченный по пути стюард поколебался, взять ли чемодан Петра, потом, присмотревшись, оставил эту мысль и пошёл, руки в карманах, вдоль палубы.

Пётр нашёл лестницу и стал спускаться вниз. Он не встретил ни души. Лестница и коридор были пустынны, как здание оперы рано утром. На первой площадке он остановился перед нарядным киоском с

игрушечными медведями, висящими на шнурках, уставясь на него стеклянными глазами; киоск был закрыт, продавец ещё не пришёл.

Чтобы попасть на пятую палубу, пришлось спуститься ещё на два этажа. Он нашёл свою каюту; дверь была открыта настежь, как и другие; в ней было три койки; его находилась под иллюминатором. Он положил чемодан на грубое, туго натянутое одеяло, напоминавшее постель в больнице, и стал выкладывать на полку расчёску, бритвенные принадлежности, зубную щётку. За три минуты он распаковался, а впереди был весь день. Он сел на койке и закурил сигарету. Воздух в каюте был спёртый; чувство полной нелепости происходящего охватило его. Он взял себя в руки и решил обследовать пароход.

Начал с верхней палубы. Здесь всё выглядело симпатичнее — белые спасательные лодки, шезлонги и широкая панорама порта. Но тут же он обнаружил скромную надпись, предназначавшую всё это только для пассажиров первого класса, и так — на следующей палубе, и ещё на следующей. Наконец он нашёл палубу для своего класса; удивительно, как мало открытого пространства полагалось на таком большом судне для него и ему подобных.

Его заметил стюард и предложил на время путешествия шезлонг. Он был вежлив и учтив, пытаясь, как показалось Петру, создать дешёвое подобие атмосферы первого класса. Но цена, которую пришлось заплатить за шезлонг, была не дешёвой. Он смотрел, как стюард выводит на бирке "Пётр Славек, эсквайр", и чувствовал, что участвует в жалкой оскорбительной комедии.

Тем временем полдесятка ранних пассажиров прибыло на борт. Двое из них стояли на недостижимых высотах верхней палубы, опираясь на перила, на некотором расстоянии друг от друга. У Петра на палубе люди сбивались группами, говорили взволнованно, и снова, как накануне, он почувствовал, что отделён от них невидимым барьером.

Но вот двое отделились от кучки людей и подошли к шезлонгу Петра. Это была похожая на хорьков восточная пара, которая стояла перед ним в тот день, когда он встретил Соню в консульстве. Они подошли мелкими шажками, сияя во всё лицо.

— Как поживаете, г-н...? — спросила женщина.

— Славек, эсквайр, — прочёл мужчина на бирке.

— Благодарю вас, — ответил Пётр, слегка подымаясь и чувствуя неловкость.

— Ну-ну, не беспокойтесь, — сказала женщина. Пётр вспомнил, что её зовут г-жа Абрамович. — Вы, значит, тоже покидаете Европу? У вас хороший костюм. Когда мы вас в первый раз встретили, вы выглядели похуже.

— Воротник поднят, а обувь... — сказал мужчина. Он поднял брови и вывернул ладони наружу, показывая, в каком жалком состоянии был Пётр в тот день.

— Однако вы были гордый, — сказала женщина. — Оставить очередь — это неслыханно!

— Но он образумился, — заметил мужчина одобрительно, — так ведь, г-н Славек?

— Да, можно сказать, — ответил Пётр.

Наступило неловкое молчание.

— И такой приличный костюм, — сказал г-н Абрамович. — Сколько он стоит?

— Не помню, — ответил Пётр.

— Он не помнит — тс-тс-тс, — сказал женщина.

— Он всё ещё гордый, — сказал мужчина, — но жизнь его проучит.

— Он сделает карьеру, — сказала женщина.

— Ещё какую! — сказал мужчина. — Но сначала жизнь его проучит.

— Мы ещё увидимся, — сказала женщина, — до свидания, г-н Славек.

— До свидания, — сказал Пётр, и они на цыпочках удалились.

Гонг на верхней палубе пробил обед, а немного погодя резкий звонок сообщил о том же событии на палубе Петра.

Пётр прошёл в столовую на некотором расстоянии от прочих и получил маленький столик, которым, к облегчению, можно было владеть единолично, так как большинство пассажиров ещё не прибыло. Столик и вращающиеся стулья были привинчены к покрытому линолеумом полу, и не было ни скатерти, ни салфетки. Однако еды было вдоволь, а вино дешёвое. Пётр выпил целую бутылку, потом другую. Он пил стакан за стаканом, словно умирал от жажды; и с каждым стаканом ему становилось лучше. Покончив с едой, он отправился на палубу, подвинул своё кресло в тень и, чувствуя сильное опьянение, через несколько минут уснул.

Он проснулся от того, что кто-то споткнулся о его шезлонг. Он был в оцепенении, голова кружилась. Он проспал больше двух часов, оказался теперь на самом солнцепёке, и сцена перед ним удивительно изменилась. Маленькая палуба была полна, как в базарный день в деревне, все толкались и кричали, а этажом ниже было ещё хуже. Повсюду был кучами навален багаж, пассажиры бегали вверх-вниз, разыскивая вещи, потные носильщики выкрикивали свои номера. Моторы двух

подъёмных кранов усиливали шум; краны, как гигантские стальные жирафы, склоняли свои шеи, хватали зубами кучу, поворачивались и бросали в открытые люки. Непрерывный поток людей, движущийся по коридору, направлялся в разные стороны начальником хозяйственной части и стюардами. Вдруг Пётр заметил Бернарда. Он подымался по лестнице, ведущей в первый класс, впереди шёл матрос, неся три чемодана. Почти одновременно Бернард обернулся и посмотрел вниз. Их глаза встретились. Бернард улыбнулся, шагнул к перилам и крикнул через головы людей: "Увидимся после". Затем он скрылся в дверях, ведущих к каютам на верхней палубе.

Кое-кто рядом с Петром заметил эту сцену. На него смотрели с любопытством, так как Бернард был известной фигурой в городе. Пётр встал, пошатываясь, протолкался к двери, ведущей на лестницу и, держась за медные перила, проковылял вниз по ступенькам к своей каюте.

Она всё ещё была пуста. Он закрыл дверь и бросился на койку. Он чувствовал тошноту, в ушах стучало, воздух каюты душил.

"Что я на этом пароходе делаю, — спросил он себя. — И почему он не отправляется? Если это продлится, я ещё успею сбежать на берег..."

Словно поражённый неожиданной мыслью, он сел. От выпитого вина и от сна на солнце кружилась голова. Он оглядел каюту мутным взглядом. Снаружи, издалека, застучал, как пулемёт, подъёмный кран, потом замолчал. С отчаянно бьющимся сердцем Пётр снова лёг.

— Что я на этом пароходе делаю? — размышлял он. — Я всегда буду одинок среди этих людей. В горле у меня будет сухо от одиночества.

— Там будет Одетт, — сказал голос Сони, утешающий, но слабый.

— Даже Одетт от меня отвернётся. Запах одиночества как запах смерти. Почувствовав его, люди отворачиваются.

— Что с тобой, Петя?

— Одинокий человек — как прокажённый; он идёт по улицам, и толпа расступается.

Кран застучал снова. Иллюминатор был у Петра над головой и отражался в зеркале над умывальником. Через него был виден полукруг набережной с фигурками, возникающими в поле его зрения и покидающими его, как в "чёрном ящике". Они двигались беззвучно, так как иллюминатор был закрыт и, кроме глухого стука мотора подъёмного крана, в каюту не проникало ни звука.

Он ворочался на жёстком одеяле.

Возможно, Соня проделала свою операцию слишком поздно, подумал он с сожалением. Ампутированная нога болит. Я хочу вернуться. Я никогда не был в стане победителей...

Завыла сирена. Издала долгий, жалобный гудок, потом три коротких. Молчаливые фигуры на набережной вдруг задвигались быстрей; Петру, наблюдающему за ними в зеркало, они казались толпой марионеток.

После третьего гудка тронемся. Набережная отодвинется, и я останусь здесь. Сердце его стучало, капли пота проступили сквозь туго натянутую веснушчатую кожу на висках. Через час, думал он, дверь камеры захлопнется, и выхода не будет. Почему нет никого, кто подсказал бы, что делать? Когда-то люди молились, чтобы им был явлен знак, и восковая дева им улыбалась. И не было безответных вопросов...

Он сел и вытер лицо. Сердце продолжало загнанно биться. Я хочу вернуться, шептал он себе. Его мутило от лёгкого покачивания койки...

— Не сходи с ума, — сказал голос Сони. — Это — ковчег, за тобой — потоп. Эта земля обречена, сорок дней и сорок ночей будет лить дождь. Где это слыхано, чтобы обитатель ковчега прыгнул за борт и пошёл назад, навстречу потоку?

— Но почему же нет, Соня?! В этой истории чего-то не достаёт. Должен быть хоть один, кто сбежит назад, в дождь, чтобы погибнуть с теми, у кого нет под ногами опоры...

— Давай-давай, — сказал голос Сони. — Ну, и что же случилось с тем безумным, когда он вернулся?

— Господь, который читал в сердце этого человека, устыдился и простёр свою длань, чтобы он остался сухим под дождём...

— Неужели? И на такой трогательный конец ты тайно надеешься? Нет, Пётр, пощады не будет. Предложенная жертва будет принята. Так что лучше лежи на своей койке.

В этот момент судовая сирена проревела вторично и одновременно три фигуры прошли мимо отражённого в зеркале иллюминатора. Одна фигура — товарищ Томас, вторая — его жена; а между ними, чётко, как в фотообъективе, в ту долю секунды, когда супруги пересекли поле его зрения, показался Осси. А может, кто-то другой, похожий на Осси?

Пётр никогда этого не узнал. И времени, чтобы задавать себе вопросы, у него не было, так как он уже мчался по узкому коридору, взлетал через три ступени по лестницам, наталкивался на людей, отбрасывал их со своего пути в сторону и, не обращая внимания на крики и протесты, прорывался по сходням на набережную.

Там он остановился, загнанно огляделся. Трое исчезли. Он подбежал к таможенной конторе, посмотрел в окна паспортного бюро. Их нигде не было. Они, наверное, провожали кого-то на пароход и вернулись в город. С набережной был только один выход; если он поторопится, он сможет их догнать. Он повернулся и бросился по длинной, пыльной аллее в город.

На сходнях он произвёл небольшую суматоху. Люди всё ещё кричали ему вслед, но он уже был далеко.

12.

Г-н Вильсон разговаривал с джентльменом военного вида у себя в кабинете. Одновременно он посматривал в окно, откуда было видно море и часть гавани. Вторая сирена на "Левиафане" прозвучала двадцать минут назад и он ждал, когда раздастся третья и огромный пароход, лишь дымящую трубу которого он видел, выйдет из гавани. Г-н Вильсон любил смотреть, как пароходы выходят в море. Если бы он не был так занят, он пошёл бы в порт поглядеть, как отплывает "Левиафан".

Они только что кончили разговор, когда вошла секретарша и доложила, что г-на Вильсона хочет видеть г-н Славек.

Г-н Вильсон удивлённо на неё посмотрел.

— Вот уж не ожидал, — пробормотал он.

— Я сказала, что вы на совещании, но он ответил, что не торопится и подождёт.

— Это тот парень, о котором вы говорили в прошлый раз? — спросил, собирая бумаги, военный.

— Да, тот самый, — сказал г-н Вильсон.

— Я понял, что он решил смыться.

— Что ж, никогда нельзя знать... — сказал г-н Вильсон философски.

Военный обернулся в дверях:

— Если он, в самом деле, решился на этот раз, покажите мне его.

— Хорошо, — ответил г-н Вильсон. — Попросите г-на Славека войти, — сказал он девушке.

Оставшись один в комнате, г-н Вильсон подошёл к окну, посмотрел на гавань, потом — на часы.

— Г-н Славек, — доложила секретарша.

— Ну что? — спросил, обернувшись г-н Вильсон. Он посмотрел на Петра внимательно и добавил: — Полагаю, вам лучше сначала сесть, закурить, а потом уже объясниться.

— Я в порядке, — сказал Пётр. Он был красным, но на лестнице он поправил воротничок и галстук и теперь взволнованно усмехался, обнажая верхние зубы. — Я вернулся.

— Это я и сам вижу, — заметил г-н Вильсон.

— Мне показалось, что я увидел знакомого. Но это неважно. Так или иначе, объяснить трудно.

— И что теперь вы собираетесь делать? — спросил, помолчав г-н Вильсон.

— Я хотел вас спросить... полагаю, моя виза ещё действительна?

Его перебил долгий, жалобный рёв "Левиафана". Они оба обернулись к окну. Вслед долгому гудку раздались три коротких, и дым из трубы стал плотным и тёмным. Г-н Вильсон барабанил тремя здоровыми пальцами по подоконнику.

— Вы знаете, г-н Славек, — сказал он, не оборачиваясь, — мне часто кажется, что вам и вам подобным нужно, чтобы какой-нибудь пожилой человек положил вас к себе на колено и задал вам хорошую порку.

Он продолжал рассматривать гавань, где "Левиафан" медленно и величественно отходил от причала. Постепенно пароход оказался целиком в поле зрения, окружённый роем мелких катеров и шлюпок, усеявших блестящую поверхность воды.

Кто же ему когда-то говорил то же самое? — пытался вспомнить Пётр. Не переживает ли он вторично ту же сцену? Потом он вспомнил, как у себя за столом сидел Радич и как они оба склонились над лежащими на столе часами, отсчитывающими уходящее время.

Наконец г-н Вильсон обернулся. "Что ж, дело сделано, — сказал он, зачёркивая зрелище за окном, пароход и гавань. — Полагаю, теперь можно заняться вашим делом. Через несколько дней отправляется конвой... "

Он подошёл к шкафу, порылся в груде пухлых серых дел. — Только не воображайте, — сказал он другим тоном, — что у вас будет возможность сделать что-то эффектное. — Он вытащил нумерованную папку с фамилией Петра. — Наверное, вы будете рыть траншеи или Бог знает что ещё.

— Мне сказали, что тех, кто знаком с местными условиями, готовят для особых заданий. Некоторых даже забрасывают на парашютах.

— Романтический вздор, — сказал г-н Вильсон, садясь за стол с папкой Петра. — Так или иначе, это решит начальство. — Он выложил содержимое папки на стол и сделал отметку на одной из бумаг.

— Пока всё. Теперь вам следует поговорить с моим коллегой, это может вам облегчить дело по прибытии.

— Кто он такой? — спросил Пётр.

Но г-н Вильсон уже скрылся, вместе с папкой Петра, через боковую дверь.

Пётр подождал минуту-две в большом кожаном кресле, затем встал и подошёл к окну. "Левиафан" прошёл мимо пирса и выходил в открытое море. Он оставлял за собой рой небольших лодок, словно королева, отпустившая свою свиту. Дым из трубы тянулся под прямым углом следом, как на цветных ярлыках для багажа. Морские чайки кружили над сверкающим капитанским мостиком.

Дверь позади Петра открылась. "Прошу", — сказал г-н Вильсон. Проходя в дверь, Пётр подумал, что г-н Вильсон не так уж сильно удивился и задал ему меньше вопросов, чем он боялся.

* * *

Итак, дело сделано. Пётр медленно брёл через парк, снисходительно глядя на хорошеньких гувернанток, так испугавших его неделю назад. Их глаза, казалось, больше не задавали вопросов, они сияли, поддерживали и ободряли.

Как мирно выглядел парк в это время дня! Городские часы пробили обеденное время; дети маленькими группами вместе со своим эскортом толпились в воротах, пыльные и послушные. Тишина наступила внезапно, как после праздника, когда ушёл последний гость; цветы и деревья вздохнули с облегчением, дикие утки, после того, как маленькие прогулочные катера скрылись, снова завладели прудом.

Итак, дело сделано. Что теперь сказала бы Соня? Что сказала бы она, видя, как он говорит с г-ном Вильсоном, видя, как горячая жажда одобрения и подчинения поднимается в нём? О, он знает, что она сказала бы. Она заговорила бы о поисках исчезнувшего образа отца, о жажде привязанности, об увиливании от ответственности, об эскапизме...

Да-да, он всё это знал, он больше не был дураком. Но как она объяснит, что, несмотря на знание, он сдался? Да, Соня права, но всей её логики не хватит, чтобы объяснить глубочайшее умиротворение, которое, казалось, струится из источника, находящегося за недоступным для неё пределом, в самой глубине его существа. Она может доказать, что его побуждения были неправильны; но, может быть, в этих сферах правильные поступки всегда совершаются из неправильных побуждений? И если она называет это неврозом — пусть. Возможно, бывают

времена, когда этот источник, не находя другого выхода, пробивается кривыми и неверными путями.

В парке стемнело. Пальмы склонили вершины, приветствуя вечерний бриз. Единственным звуком был хруст гравия под ногами Петра.

Этот добрый подагрик г-н Вильсон, безусловно, не является глашатаем светлого будущего. Скорее, он пережиток девятнадцатого века, так осмеянного Бернардом. Тип, над которым иронизируют даже в прессе собственной страны. И та власть, которой он, Пётр, подчинился, безусловно, сильно потрёпана. Их ценности покрылись плесенью, ими движет инерция. В поступательном движении истории они не мотор, а тормоз. Но когда мотор перегрелся и пошёл вразнос, необходим тормоз. Тот, кто видел *бесполезных* евреев, бредущих в душегубку ради концепций динамизма, кто видел скальпель и шприц для подкожных впрыскиваний во имя революции в биологии — тот вынужден вступить в лигу по борьбе с вивисекцией, несмотря на всю сомнительность её устава и скучную программу.

Да, он подчинился с открытыми глазами, больше "*несмотря на*", чем "*из-за*". Так и должно быть. Тот, кто принимает веру, не должен спрашивать, почему он это делает. Почему — разумеется само собой, оно бесспорно. Тому, кто скажет: "потому-то" — грозит разочарование. У него нет твёрдой почвы под ногами. Но тот, кто принимает её вопреки возражениям, несмотря на явные несовершенства, — может быть спокоен.

И в этом отличие его первой битвы, закончившейся поражением у Сони на кушетке, от второй, на которую он решился теперь. В первый раз он шёл, не понимая своих мотивов. Теперь он их знает, но знать мотивы — не так важно. Это скорлупа вокруг ядра. А ядро — неприкосновенно, неуязвимо для причин и следствий.

Он вспомнил свой сон в ночь после встречи с Эндрю. Это была решающая ночь — когда победил д р у г о й , тот, в кольчуге, который нёс крест, невидимый в темноте, утративший форму и суть. Но и недоступный для глаз и для осязания — крест был с ним, в пустоте, которую сжимали его руки.

13.

Вещи Петра уплыли с "Левиафаном", но он получил ключи от квартиры назад и провёл последние два дня на нейтральной земле, сочиняя рассказ под названием "Страшный суд".

Страшный суд

Трижды ударил гонг; звуки распространились во тьме концентрическими кругами, и голос объявил:

"Господа, Страшный суд!".

Подсудимые зевнули, заняли свои места в вагончике, крошечный паровозик засвистел, и они поехали. Поезд был бутафорский, он вёз их сквозь тёмный, извилистый туннель. По сторонам, как в витрине, ярко светились за стеклом гроты, где искусные автоматы, как фигурки на средневековых часах, разыгрывали сцены из прошлой жизни подсудимых. Поначалу довольно невинные, сцены становились тем грубей и бесстыднее, чем глубже туннель зарывался в землю; монотонные действия автоматов, многократно повторяясь, усиливали ужас и стыд. Ещё дальше фигуры потеряли человеческий вид: волосатые, обезьяноподобные, толсторукие твари в полном молчании убивали, насиловали, гримасничали и плясали за стёклами. Пассажиры в поезде хныкали и стенали, их вопли и всхлипы наполняли душный воздух туннеля; они закрывали глаза, но слепящий свет из гротов проникал сквозь веки и заставлял смотреть.

Потом поезд остановился, пассажиры вышли на площадку перед собором. Через его открытые двери было видно, что по другую сторону нефа собрался суд. Внутри собор был тёмный, наполненный звуками органа. Пассажиры вошли гуськом, и музыка стихла. Подсудимые шли через главный проход и видели ряды, заполненные многочисленной публикой. Затылки все были одинаковыми, но повернуться и разглядеть их лица подсудимый не мог, и так как по мере его продвижения судья и заседатели отступали, он и их лиц не видел.

Тем временем суд над первым подсудимым начался. Он стоял перед судьями — худой, сутулящийся, измождённый человек.

— Как ты поживаешь? — спросил Судья ужасным голосом, который разнёсся по всему собору.

— Смиренно, мой господин, — ответил подсудимый. Но голос его был слаб, он обрывался в воздухе, не отражаясь от стен, и падал бескрыло на мраморные плиты у его ног.

— Плохая акустика, — прогремел Судья. — Но продолжай.

— Он роздал всё состояние бедным, — сказал защитник, похожий лицом на подсудимого, но в теле его было больше жира, а в голосе самоуверенности.

— Что ты сегодня ел на обед? — проревел Судья.

— Стакан молока и корку хлеба, мой господин, — ответил подсудимый.

Встал с места прокурор. Он тоже был похож на подсудимого, но выглядел ещё измученнее, а голос его хлестал, как плеть.

— В Китае умер с голоду ребёнок, пока он обжирался своим молоком и хлебом!

— Виновен! — взревел Судья, и публика повторила благоговейно:

— Виновен, виновен!

Подсудимый медленно вышел из собора и, пряча лицо в ладонях, сел на своё место в поезде

Следующий подсудимый был игривый толстячок. Он шёл, сияя во всё лицо, а соревнующиеся стороны тем временем изменили свой вид; они вновь стали похожи на подсудимого, только защитник казался ещё простодушней, а брюшко его было ещё больше.

— Что ты сегодня ел на обед? — проревел Судья.

— Что ж, мой господин, — ответил подсудимый, — в соответствии с сезоном я начал со свежей лососины и с бутылки рейнвейна, чтоб ей плавать в прохладе.

— Довольно, — проревел Судья, — что скажет защита?

— У него было отличное пищеварение.

Подсудимый простодушно закивал, сложив руки на животе.

— А в чём, позвольте, обвинение? — обернулся Судья к прокурору, но его место было пусто.

— Оправдан за отсутствием обвинения, — прогремел Судья, и публика радостно повторила:

— Оправдан, оправдан!

Подсудимый с почтительным поклоном вышел и сел на своё старое место в поезде, где вскоре уснул.

Следующий подсудимый подошёл, и опять соревнующиеся стороны изменили свой облик в соответствии с внешностью подсудимого. Это был человек дерзкого, отчаянного вида, и как только он явился пред судом, прокурор встал:

— Я обвиняю этого человека, — сказал он мягким, ангельским голосом, — в убийстве, поджогах и измене.

— Мы с гордостью признаёмся во всех своих проступках, — заорала защита. — Мы совершали это во имя нашего дела.

— Он нас никогда не слушался, только во сне, — пожаловался прокурор.

— А нам он всегда подчинялся, когда бывал бодрым и свежим, — похвастала защита.

— Он сеял на своём пути зло, — ударил себя в грудь прокурор.

— ... ради будущего добра! — закричал защитник.

— Увидел ли ты жатву? — прогремел Судья.

— Пока нет, — ответил подсудимый, — но...

— Виновен за отсутствием доказательств, — прогремел Судья; публика повторила его слова, и подсудимый с высокомерной улыбкой вернулся в поезд.

Следующий подсудимый был очень стар, он опирался на суковатую палку и, когда подошёл, в соборе воцарилось молчанье. Он стоял, склонив голову, не замечая окружающего, как бы прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. Но внезапно стало так тихо, что и другие услышали странный, тонкий звук, который то вздымался, то падал, словно кто-то пробовал клавиши на старых клавикордах.

— Что он делает? — спросил Судья.

— Он настраивает своё сердце, — ответил защитник.

— Но у него нет камертона, — возразил Судья.

— Он настраивает его на небесную волну, — объяснил защитник, — когда это случится, его личность растворится во вселенной.

Прокурор встал. Он был ещё старше подсудимого, бескровные губы кривила горечь и разочарование.

— Я обвиняю этого человека, — сказал он устало, — в соучастии в каждом убийстве, в каждом преступлении настоящего, прошлого и будущего.

— Но он не убил даже мухи, — возразил защитник.

— Мухи, которых он не убил, заразили целую провинцию, — сказал прокурор.

— Посмотрите-ка на него и послушайте, — прошептал защитник.

Старик вдруг поднял голову, и лицо его осветилось улыбкой слепца. Судья и публика напрягали слух, но струны так тонко звенели, что трудно было решить — слышно ли что-нибудь, или это звенит в ушах.

— Виновен ввиду сомнения, — изрёк Судья; публика поддержала, и подсудимый, улыбка которого исчезла, а голова снова поникла, медленно проковылял назад, к своему месту в поезде.

Суд заседал всю ночь, и обвиняемые один за другим подходили — иные дрожа, иные с притворной развязностью, иные смиренно, иные — шевеля бровями и дёргая лицом, и хотя прокурор говорил, в основном, шёпотом, решение суда было почти всегда: "виновен". Там были правые, кто субъективно был не прав, и неправые, кто субъективно был прав; иные умерщвляли тело, но шрамы от самоистязания были недостаточно глубоки; другие себя холили, но недостаточно при этом радовались. Одних наказали за то, что они приказывали, тех — за то, что подчинялись, а этих — за то, что дрожали за свою жизнь, других — за то, что храбро умирали за неправое дело; больных наказали за болезнь, здоровых за здоровье. Выслушав

решение, они все занимали свои старые места в поезде. Наконец, последний в очереди, робкого вида молодой человек, пройдя по проходу, встал перед судом.

— Кто это? — проревел Судья.

— Крестоносец, потерявший свой крест,— сказал обвинитель.

— Крестоносец, ищущий свой крест,— сказал защитник.

— Что ж, мы его не можем обеспечить крестом. Это было бы слишком легко.

— Легко, мой господин?— спросил с горечью защитник. — Взгляни на все побрякушки, которые навесил ему на грудь прокурор.

— Нам пришлось уравновесить его слишком бодрый дух, — возразил обвинитель. — Шарики, которые защита сунула ему в голову, слишком громко тарахтят.

— С таким балластом он не может плавать,— пожаловался защитник.

— Время — плыть, и время — тонуть, — нетерпеливо заметил Судья, ибо у него этой ночью были другие дела.

— Своевременно это или нет, но большинство моих клиентов плавает, — заметил защитник самодовольно.

— Лишь того, кто пошёл ко дну, будут спасать, — сказал прокурор.

— Хватит, — сказал Судья и обернулся к подсудимому. — Пока эти двое не договорятся, мира для тебя не будет. Приговор — чистилище условно!

— Условно! — повторила публика.

— Но я уже был в чистилище, — робко возразил молодой человек.

— Неважно, — сказал судья, — иные всю жизнь сидят, осуждённые условно.

— Всю жизнь! — откликнулась публика.

— Это — вечные подростки, благодаря которым взрослеет народ.

— Взрослеет, взрослеет, взрослеет, — сонно пропела публика.

— На сегодня заседание закрыто, — объявил председатель, и суд встал.

Повернувшись, чтобы идти через проход к двери, молодой человек заметил, что не только прокурор и защитник, но и публика сотворена по его подобию. Сердце его сжалось в отчаянии.

— Я здесь один? — спросил он.

И публика ответила:

— Под этим сводом никого больше нет.

Наконец все сели, паровоз засвистел, и поезд пошёл обратно. Но теперь свет в гротах погас, туннель стал серым от предутреннего света, пассажиры спали. Молодой человек тронул соседа:

— Что это за странный суд был?— спросил он.

— Как же — это Верховный суд,— ответил сосед. — Тебя, что, ни разу не судили?

— Нет, — сказал молодой человек.— А разве это повторяется?

— Каждую ночь,— ответил тот сонно.

— И каждый раз судят заново?

— Да. И каждый раз это Страшный суд,— ответил человек и снова заснул.

Но немного погодя молодой человек разбудил его снова:

— Но почему все люди попадают в один и тот же поезд?

— А ты чего ждал? — спросил сосед.

— Но одних — осудили, а других — оправдали. Иных осудили условно. А похоже, что нет разницы.

— Разве? — спросил сосед, зевнув.

— А если нет разницы, почему я должен подчиняться их правилам?

— Потому что это Страшный суд, — ответил сосед и снова уснул.

* * *

Через некоторое время поезд вышел из туннеля и остановился. Пассажиры потянулись, вышли и, не оглядываясь, поспешно разошлись. Утро было серое и холодное; кто вернулся к работе, кто — к досугу, и все уже забыли, что ночью они встретятся в поезде снова.

часть пятая. ОТЪЕЗД.

1.

Машина с затемнёнными фарами остановилась у ворот аэродрома. Часовой, выйдя из будки, посветил фонариком в окно и, узнав сидящего рядом с Петром офицера, откозырял. Он ничего не спросил о Петре. Железные ворота открылись и закрылись за ними. Они проехали ещё полкилометра мимо тёмных невзрачных домиков и остановились перед длинным бетонным строением с гофрированной железной крышей.

— Приехали, — сказал офицер, выходя из машины. Это была первая сказанная им фраза с тех пор, как минут двадцать назад они бросили попытки завязать разговор.

Пётр тоже вышел. Накрапывал дождь, темнота вокруг была полной, слабо гудел самолёт, летевший, вероятно, высоко над облаками. Офицер открыл дверь. Они вошли в комнату, где стояли два старых кожаных кресла и покрытый зелёным сукном стол с иллюстрированными журналами в рваных обложках, шахматной доской и двумя книгами, судя по переплётам — библиотечными. Ещё в комнате было несколько разрозненных стульев, железная печка и настольная лампа с бумажным абажуром, который, находясь слишком близко к лампочке, был в нескольких местах прожжён.

— Устраивайтесь поудобней, — сказал офицер и исчез в соседней комнате, откуда доносился стук бильярдных шаров, сталкивающихся и катящихся в лузу. Пётр сел в кресло и раскрыл журнал. Он читал заголовки и надписи, не связывая их с относящимися к ним иллюстрациями. Реклама дамских корсетов с изображением длинных атласных ног и надменных, невидящих лиц напомнила ему Одетт, но лишь на секунду. Он чувствовал себя так, словно сидел в больнице в очереди на приём — такая была странная дрожь в сердце и в мочевом пузыре. Вдруг вернулся офицер, а с ним — ещё один.

— Ваш пилот, — сказал офицер Петру и повернулся к своему коллеге: — Ваш пассажир.

Пожимая Петру руку, пилот смотрел на него с тайным любопытством. Похоже, он был ровесником Петра, его тонкое, довольно худое лицо могло принадлежать банковскому служащему или бухгалтеру, но в манере держаться была некоторая бойкость, почти развязность. Две верхние пуговицы мундира расстёгнуты, в руках он держал короткую трубку, которую, закончив процедуру знакомства, тут же закусил зубами.

— Идёт проверка, — сказал он, — через полчасика отправимся.

Пётр кивнул. Он не знал, что сказать. Офицеры в нерешительности постояли, потом отошли в угол, где стали говорить о делах службы, не обращая на него особого внимания. Пётр чувствовал в этой подчёркнутой небрежности желание быть тактичными, но считал, что они несколько переигрывают. То смутное, больничное чувство усиливалось вместе с сопровождавшими его физическими ощущениями. Вспомнилось, как ему вырезали аппендикс, — он ждал, чтобы его переложили с каталки на операционный стол, врачи и сёстры бесконечно мыли руки и болтали друг с другом, не обращая на него внимания, как бы подчёркивая этим незначительность, заурядность происходящего. И теперь, как и тогда, он бы предпочёл, чтобы они не боялись уделить ему немного тепла, даже понянчиться с ним, а не вести себя так, словно именно его — как-никак главное действующее лицо происходящего события — оно вовсе не касалось.

Наконец, оба офицера вышли из комнаты, и Пётр снова остался один. В другой комнате стали играть в пинг-понг; стук целлулоидных шариков по столу раздражал своей монотонностью, как звук падающей из крана воды.

Девушка в голубой форме с бледным, неприветливым лицом, вошла с чашкой чаю: — Хотите сахару, сэр? — Да, пожалуйста, — сказал Пётр и откашлялся, неприятно удивлённый своим хриплым голосом. Она зачерпнула ложку сахару из банки, и Пётр заметил, что кристаллы слиплись в желтоватые комья от мокрых ложек. Он хотел поболтать с девушкой, но не знал, с чего начать. Ноги её в серых чулках в резиночку были бесформенны. Она поставила чашку на зелёный пластик стола и вышла из комнаты, не взглянув на него — из-за его ли секретной миссии или из-за инстинкта, заставляющего отводить взгляд от того, кто отмечен болезнью или чем-то похуже. Он вспомнил, как на прогулке в тюремном дворе они избегали смотреть в сторону камеры смертников.

Он хлебнул чаю. Чай был слишком сладкий, зато горячий, и он жадно выпил всю чашку. Он не отказался бы от второй, но не хотел выходить в другую комнату. Достал из кармана письмо, которое начал

утром, но расхотел закончить. Если он не сделает этого сейчас, оно никогда не придёт по назначению.

" *...Итак, Одетт, продолжения не будет*". Карандаш оставлял слишком слабый след на бумаге, лежащей на зелёном пластике. Он взял журнал с рекламой корсетов.

"До сих пор я не знаю, действительно ли фигура в иллюминаторе напоминала Осси или это была галлюцинация. Неважно. Если не отражение в зеркале, подвернулось бы что-нибудь другое. Если бы не Эндрю сказал именно ту фразу, которой я ждал, то кто-нибудь другой её сказал бы. Такие сигналы выражают твою внутреннюю готовность; Соня как-то сказала, что существует геометрия судьбы, при которой линия пересекает параллельные под одним и тем же углом.

Я знаю теперь, что любил тебя и буду любить до конца. И я понимаю, что путаница, в которую тебя затянуло, также не случайна. Мы были скрюченными человечками, ходившими по скрюченным дорожкам.

Сегодня я срываюсь по касательной с кривых путей. У меня нет больших иллюзий по поводу собственных мотивов или дела, которому я служу. В детстве мы играли в забавную игру: на листе бумаги были сплетения голубых и красных линий. Если ты просто на них смотрел, ничего не было видно. Но когда сверху клали красную прозрачную бумагу, красные линии исчезали, а из синих получался рисунок: клоун с колесом, сквозь которое прыгал пёс. А покрыв рисунок синей бумагой, ты видел рычащего льва, который гнался за клоуном по манежу. То же и с людьми: можно на них смотреть через прозрачную бумагу Сони и писать биографию Наполеона с точки зрения работы его гипофиза — что и делалось. Факт, что он, между прочим, завоевал Европу, будет только симптомом деятельности этих крошечных, размером с фасолины, долей. Можно видеть в посланиях пророков эпилептическую пену, а в Сикстинской мадонне проявление кровосмесительных желаний. Метод верный, и картина получается законченная. Только не надо считать, что она единственная. Картинка, увиденная сквозь синюю бумагу, будет не менее правдивой и закон-

ченной. Оба существуют — и клоун, и лев, переплетённые в едином узоре.

Возможно, я преувеличил, говоря, что обе картинки одинаково закончены. Со времён Ренессанса качество красной бумаги — нашей способности рассуждать — ушло вперёд по сравнению с синей — нашей интуицией и этическими понятиями. За последние четыре столетия красная бумага улучшилась, синяя — истёрлась. Но до того, в эпоху готики, чаша весов склонялась в другую сторону; я думаю, такое положение скоро вернётся. Эпоха экспериментов, о которой говорил Бернард, может продлиться ещё несколько десятилетий и произвести в мире ещё ряд взрывов. Уже теперь философские концепции и великие политические движения последних столетий безвозвратно похоронены под обломками. Все попытки их оживить — напрасны. И усовершенствованная лабораторная формула не принесёт спасенья. Век количественных измерений кончается..."

Дверь в другую комнату открылась, молодой пилот просунул голову: "Будем готовы через десять минут. Вы в порядке?"

Пётр кивнул. Из другой комнаты доносились весёлые голоса, стук целлулоидных шариков стал громче. Потом дверь закрылась. Он заторопился:

" ... Я скажу тебе, в чём моя вера, Одетт. Я считаю, что новый бог вот-вот родится. Есть вещи, которые подобает говорить только в редкие моменты, но сейчас именно такой момент, так как через несколько минут я отправлюсь.

Хвала нерождённому Богу, Одетт. Не пытайся разгадать его весть или каков будет его культ — это сделают после нас. Современные мистики так же банальны, как и политические реформаторы. Ибо мы — последние потомки человека Ренессанса, последнее звено, а не начало... "

Дверь снова открылась. Лицо молодого пилота было теперь слегка напряжённее, а весёлость чуть развязнее прежнего.

— Поехали, молодой человек, — сказал он бодро.

2.

— Поехали! — подумал молодой человек и, неловко подавшись вперёд, прыгнул.

Он падал, прижав к животу колени, переворачиваясь в гудящем потоке; потом его тело, провалившись в более спокойный слой, выгнулось, словно готовясь нырнуть; тугая спираль его паденья раскрутилась, бросив его, как метеор — неосвещённый, мягкий метеор, пересекающий атмосферу.

На секунду, пока его скрученное тело неслось по воздуху, ему показалось, что он падает вверх, прочь от земли. Он протянул руки в пустоту, желая схватиться за летящую массу, которая уже была далеко; потом дёрнул за кольцо.

Тут же у него над головой родилась некая форма — цветок, разворачивающийся и расширяющийся между ним и звёздами. Что-то сильно ударило его в пах, как когда-то тёмная поверхность воды ударила его при первом прыжке — с борта "Сперанцы". Тело дёрнулось, напряглось, потом обмякло и стоймя повисло в небе.

Он посмотрел вниз, на тихую землю. Никакая жизнь там не шевелилась, на освещённой звёздами скале ни дом, ни дерево не рисовали своего силуэта. Горы под ним были безжизненны, как кратеры на Луне.

Он взглянул вверх, где большой серый цветок раскинул свои лепестки по небу. Вся твердь небесная двигалась; горизонт наклонялся, затем, передохнув, медленно поворачивался на другой бок. Он сидел, как на качелях, свисая с этого медленно спускающегося цветка. Так он сидел ребёнком на старых качелях между двумя деревьями в саду своей матери; верёвки трещали на толстых ветках, когда он раскачивался взад и вперёд, мечтая о том, что́ он совершит в жизни.

Некому было ему подсказать, достиг ли он своей цели, и не было меры, чтобы оценить то, что он сделал. Он мог лишь надеяться, что его отбытие ускорит то, о чём следует говорить только в некоторые минуты; но сейчас была не та минута.

Потому что его занимали другие мысли, пока он тихо качался и падал, как падает на землю лист, ночью, под нелюбопытными звёздами.

Июль 1942 — июль 1943

пер. с английского Майи Улановской

Об авторе.

Артур Кёстлер (1905, Будапешт — 1983, Лондон), английский писатель и философ. В юности писал на венгерском языке; переселившись в 1922 г. в Германию, перешёл на немецкий; с 1939 г. писал на английском языке. В 1926 г. как сионист приехал в Эрец-Исраэль, жил в киббуце, был корреспондентом ряда немецких газет. В 1929 г. вернулся в Европу. Участвовал как журналист в арктической экспедиции на дирижабле "Граф Цеппелин" (1931). В 1931 г. вступил в коммунистическую партию Германии и в 1932-1933 гг. совершил поездку по Советскому Союзу. В качестве корреспондента английской газеты "Ньюз кроникл" отправился в 1936 г. в Испанию, сражался в рядах Интернациональной бригады, попал в плен, был приговорён к смертной казни. Сто дней, проведённые им во франкистской тюрьме, описал в книге "Испанское завещание" (нем. яз., 1938). Узнав об ужасах сталинского террора, вышел в 1938 г. из коммунистической партии. В 1939 г. вступил добровольцем во французскую армию, а после её разгрома в 1940 г. бежал в Англию и сражался в рядах британской армии.

В 1939 г. издал роман "Гладиаторы", посвящённый восстанию Спартака. В 1940 г. выходит самый знаменитый роман Кёстлера — "Мрак в полдень", в 1943 г. — "Приезд и отъезд", в 1946 г. — "Воры в ночи". Автор пояснял: "Центральная тема предыдущей трилогии — "Гладиаторы", "Мрак в полдень" и "Приезд и отъезд" — была этика революции; центральная тема романа "Воры в ночи" — этика выживания".

В книге "Тринадцатое колено" (1977) пытался доказать теорию хазарского происхождения ашкеназов. Признавая право евреев на национальное существование в своём государстве, Кёстлер в то же время не осуждает евреев рассеяния за тенденцию к ассимиляции. Попытку дать биологическое объяснение несовершенству человеческой натуры Кёстлер сделал в книге "Лунатики" (1959), "Лотос и робот" (1960), "Акт созидания" (1964) и др. В последние годы жизни Кёстлер утверждал право человека самому выбрать время своей смерти. Покончил жизнь самоубийством.

О переводчике.

Майя Улановская родилась в 1932 г. До отъезда в Израиль (1973) жила в Москве. В 1951 г. арестована как член Союза борьбы за дело революции — молодёжной студенческой организации, целью которой была "борьба с существующим несправедливым строем и восстановление ленинских норм". Из шестнадцати человек трое были расстреляны, десять (в том числе и М. Улановская) получили по 25 лет, трое — по 10. Срок отбывала в Иркутской области. Освобождена в 1956 г., после XX съезда партии, в связи с пересмотром дела: ей снизили срок до 5 лет и освободили по амнистии.

Работала в библиотеках Москвы; в Израиле, до настоящего времени, — в Национальной библиотеке в Иерусалиме. Перевела две книги с иврита — "Письма Йони: портрет героя" и "Книгу свидетельств" Аббы Ковнера (опубликованы в Израиле), с английского — "Воры в ночи" А.Кёстлера (Иерусалим, 1991). Автор книги "Свобода и догма. Жизнь и творчество Артура Кёстлера" (Иерусалим, 1996).

Михаил ПИЧХАДЗЕ

ЕВРЕИ В АРМЕНИИ ЕЩЁ ЕСТЬ

Однажды в гостях у друга, горского еврея, я залюбовался ковром. В его узоре были сплетены, кажется, нити всех цветов. Заметив моё восхищение, хозяин квартиры сказал: "Так вот и мы, евреи, — разные. Но в этой разности — наше единство и наша суть..."

В самом деле, каких только евреев, оказывается, нет на свете: американские, венгерские, польские, румынские, французские, испанские, немецкие, русские, бухарские, я — из грузинских евреев, которые, как утверждают историки, проживают в Грузии вот уже 26 веков. Кого нет в природе — так это армянских евреев. Но вот евреи в Армении — есть, и в этом я ещё раз убедился во время своей недавней поездки в эту древнейшую страну.

Население в Армении удивительно однородное. Среди более чем трёх миллионов человек свыше 90 процентов — представители коренной национальности.

Римма Варжапетян (в девичестве Феллер), возглавляющая еврейскую общину, рассказала мне: "Еврейская община Армении насчитывает сегодня тысячу человек. Во II веке до н.э. на территории Армении проживали 9 тысяч еврейских семей. В Эриванской губернии с 1840 года существовали две еврейские общины выходцев из Европы и из Персии. Крупным центром являлась синагога сефардских евреев. Простояла она до 1924 года. В 1995 году раввин Герш Меер Бурштейн, представитель ХАБАД, открыл в Ереване синагогу. С 1991-го в республике действует еврейская община.

При общине открыты воскресная школа, ульпан, региональный центр репатриации. Его директор Софа Багинян отмечает: "Многие еврейские семьи жили здесь на протяжении нескольких поколений. Сегодня мы стараемся держаться вместе. Хотя, признаться, дискриминации никогда не ощущали, и антисемитизма у нас не было. Большинство евреев состоят в смешанных браках.

Ассимиляция идёт быстрыми темпами и увеличивается с каждым последующим поколением. Евреи Армении гораздо

меньше, чем грузинские евреи, принимают участие в еврейских праздниках, знают традиции, сохраняют ритуалы. И это понятно, ведь основу нашей общины составляют потомки выходцев из России, с Украины, из Белоруссии".

Но сегодня Армения, как и Грузия, лидирует в числе стран диаспоры, еврейское население которой репатриируется. Основными причинами репатриации представители общины называют пессимистические прогнозы на будущее (79 процентов членов общины безработные) и тревогу за судьбу детей.

Среди причин, удерживающих людей от возвращения на историческую родину: страх перед необходимостью учить иврит, неподходящий для начала новой жизни возраст, опасения не найти работу. "Мы — за Израиль, — сказал мне Лев Козлинер, — следим за всем, что там происходит. Одна дочь у меня учится в Израиле, а теперь туда же едет по программе "НААЛЕ" вторая. Что касается меня, то я поеду, когда почувствую, что для страны не буду балластом".

Эксперты утверждают: без ассимиляции евреев в мире могло быть 25 миллионов. Сегодня нас 13 миллионов. Поездка в Армению лишний раз заставляет задуматься над этими цифрами.

Тель-Авив (Израиль)

"Алеф", № 642, 18-25 июля 1996 г.

Вардван ВАРЖАПЕТЯН

ЕВРЕИ В АРМЕНИИ ЕЩЁ БУДУТ

Армяно-израильские отношения родились в тот миг, когда в ереванском аэропорту приземлился израильский самолёт с продовольствием и медикаментами для жертв спитакского землетрясения. Это произошло в декабре 1988-го.

22 апреля 1992 г. посол Израиля в России Арье Левин, прибывший в Ереван, и министр иностранных дел Армении Раф-

фи Ованнисян обменялись нотами об установлении полных дипломатических отношений между Государством Израиль и Республикой Армения.

27 апреля 1994 г. правительство Израиля впервые осудило геноцид армян 1915 года. Выступая в кнессете, зам. министра иностранных дел Йоси Бейлин заявил: "Мы всегда будем противостоять всем попыткам стереть из памяти эту страницу истории, даже если в политическом отношении это и не будет полезным для нас".

Кажется, всё складывалось наилучшим образом для развития отношений между двумя странами. Но добрые намерения остались всего лишь декларацией, хотя надо признать, что Израиль был более активен в этом вялом диалоге.

16 сентября 1996 г. зам. министра иностранных дел Армении Вардан Осканян принял посла Израиля в Грузии и Армении Лили Хахами, проинформировав её о подготовке к президентским выборам, о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

А на следующий день господин Осканян принял меня. Первый вопрос: "Почему до сих пор нет посла Армении в Израиле? Означает ли это, что между двумя государствами есть какие-то принципиальные разногласия?"

— Никаких принципиальных разногласий, которые мешали бы развитию армяно-израильских отношений, нет. Основная проблема — финансовая. Содержание посольства обходится дорого, и тем не менее я надеюсь, что открытие посольства в Тель-Авиве — вопрос скорого будущего, ибо мы считаем отношения с Израилем и необходимыми, и весьма перспективными. Правительство Нетаньяху занято поисками мира с соседними странами. Мир необходим и Армении; мы — в пути, мы ищем своё место в современном мире, и нам необходимо развивать международные связи.

Итак, как следует из ответа г-на Осканяна, армяно-израильским отношениям ничто не мешает, но их фактически нет, хотя нужны они прежде всего Армении. Ибо так распорядилась история, что вопросы, над которыми ломают голову в Ереване, жизнь ещё раньше задала Израилю: как строить свою государственность? как себя защитить? как себя накормить? как развивать отношения со страной, правители которой (и миллионы простых

граждан тоже) сделали всё, чтобы истребить евреев? Опыт, накопленный еврейским государством в решении этих головоломок, бесценен для Армении, но подсмотреть готовые ответы в конце задачника нельзя. А вот поучиться можно.

И всё-таки армяно-израильские отношения есть. Они проявляются прежде всего в том, что евреи уезжают (точнее, улетают) из Армении. Причём на каждого "летучего еврея" приходится... "столько, да ещё полстолько, да четверть столько" армян. Сейчас еврейская община Еревана насчитывает 460 чел., а всего в республике осталось меньше тысячи евреев.

Об этом мы говорим с председателем еврейской общины Армении Риммой Варжапетян — красивой, деловитой, энергичной женщиной. Она мечтает построить в Ереване общинный дом, где евреи могли бы обсуждать и решать свои проблемы, отмечать праздники, принимать гостей, учить иврит, читать газеты, журналы, книги, изучать историю своего народа. А пока есть квартира, где собираются активисты общины, есть рабочий кабинет Риммы на втором этаже управления акционерного общества "Армпромналадка" (Р.Варжапетян — зам. директора Роберта Киракосяна, человека умного и доброго).

Да, общинный дом пока мечта, но мечта, которую обсуждали очень практичные люди, — мэр Еревана Ашот Мирзоян, главный архитектор столицы Гурген Мушегян, директор солидной строительной фирмы "Ереванинвест" Владимир Подольский. А пока своего дома нет, евреи отмечают праздники в просторной, уютной столовой завода "Арммотор" (спасибо директору завода Карлосу Петросяну!). Когда в прошлом году праздновали Рошашана (еврейский новый год), уставили столы праздничным вином, яблоками, виноградом и мёдом, и посол Лили Хахами сказала: "Я счастлива быть здесь и праздновать один из великих праздников", — Римма была счастлива. Сколько порогов она обила, в сколько сердец напрасно стучалась, пока ни пришла к г-ну Хачатряну, генеральному директору "Армянских авиалиний". Надо напомнить, что именно "Армянские авиалинии" стали спонсором 32-й Всемирной шахматной олимпиады. Генеральный директор очень удивился: "Евреи — да, конечно... рад, что есть такой прекрасный праздник, но при чём здесь мы?"

Римма стала горячо объяснять, что деньги нужны евреям, которые живут здесь, в Армении, где они поселились в неза-

памятные времена, и дай Бог проживут ещё тысячу лет на одной земле с армянами. А, кроме того, необходим регулярный рейс Ереван — Тель-Авив, и еврейская община сделает всё, чтобы открыть такой воздушный мост и уж это-то имеет прямое отношение к "Армянским авиалиниям".

Короче говоря, г-н Хачатрян распорядился выдать деньги, чтобы евреи могли встретить Роша-шана. "И самое главное, — заметила Римма, — он помог с радостью, ему самому было приятно сделать нам подарок".

Праздники редки, а будни у евреев такие же, как у всех: семья, работа, немного политики. Конечно, все они разные люди: по возрасту, жизненному опыту, интересам. С некоторыми из них Р. Варжапетян меня познакомила.

— Полина Шапошникова — адвокат, заслуженный юрист, принимала участие в процессе над убийцами из Сумгаита. Она постоянно занесённая надо мной десница закона, чеховский "человек с молоточком", следит, чтобы вся деятельность общины проходила в точном соответствии с законом. Муж Полины Львовны Иосиф Козлинер был создателем и директором русского драматического театра в Ереване.

Иосиф Заславский — профессор Ереванского университета, математик, умница, эрудит, самостоятельно изучил иврит, в нашей воскресной школе преподаёт историю еврейского народа. А возглавляет школу известный ботаник доктор наук Георгий Файвуш.

Иосиф Зильман — геолог, лауреат Государственной премии СССР, первооткрыватель многих месторождений полезных ископаемых в Армении. Его дочь Ида — дизайнер, талантливый художник.

А вот мой заместитель Валерия Карлинская, по мужу Флджян, преподаватель французского языка. Медицинскую комиссию у нас возглавляет невропатолог Елена Меликян-Кудши, помогает больным, чем только можно. Недавно министерство здравоохранения выделило еврейской общине гуманитарную помощь, и распределение её стало заботой Елены.

Всеми вопросами, связанными с репатриацией, ведает Софа Багинян (в девичестве Шапиро); как вы понимаете, это очень трудная, ответственная и деликатная работа, но Софа превосходно с ней справляется.

Владик Гаслер — поэт, переводчик. Его мама Сара Гаслер — старейший член нашей общины, ей девяносто лет. Она профессор, много лет возглавляла кафедру педиатрии в медицинском институте. Её сестра Роза — музыкант, педагог, первая учительница известного композитора Эдуарда Мирзояна.

Здесь, в Ереване, вы, возможно, не раз слышали имя Беллы Марковны Есаджанян — она профессор, один из создателей комплексной системы обучения русскому языку в армянской школе. Вообще евреи, несмотря на свою малочисленность, заметны в жизни страны.

— Римма, а супруга президента Люся Тер-Петросян участвует в жизни общины?

— Нет, к сожалению. Даже ни разу не поинтересовалась, как живётся здесь евреям.

— И как же?

— Для евреев Армения — хороший дом. Что нас здесь любят, это будет сильно сказано, но что к нам относятся с уважением, с вниманием и пониманием — это так. Я всегда чувствовала себя здесь личностью.

— Возможно, благодаря тому, что вы знаете армянский язык.

— Я выучила армянский, потому что стала женой армянина. В Армении вообще редки проявления ксенофобии, здесь доброжелательно относятся к представителям других национальностей, хотя это не означает, что проблем у еврейской общины нет.

Пока есть евреи, есть и проблемы. Это нормально. Но главное, чтобы евреи в Армении жили и впредь, по возможности долго и счастливо.



ЦИФРЫ. ДАТЫ. ИМЕНА.

АРМЯНЕ И ЕВРЕИ. РАССЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ МИРА. 1996.

Страна	Население (чел.)	Армяне (чел.)	Евреи (чел.)	Число евреев, выехавших в Израиль с 1948 г.
Австралия	17.853.000	33.000	96.000	3.414
Австрия	7.918.000	3.000	9.000	5.380
Азербайджан	7.472.000	неизв.	29.000	24.650
Албания[1]	3.414.000	600	нет	356
Алжир	27.325.000	неизв.	50	25.681
Антильские о-ва	266.000	неизв.	400	
Аргентина	34.180.00	100.000	250.000	43.083
АРМЕНИЯ[2]	3.763.500	3.560.000	900	1.236
Афганистан	18.879.000	неизв.	10	4.123
Багамские о-ва	272.000	неизв.	200	
Бангладеш[3]	136.000.000	нет	неизв.	
Барбадос	261.000	неизв.	40	
Бахрейн	549.000	неизв.	30	
Беларусь	10.163.000	6.000	58.000	52.000

[1] В 1991 г. вся еврейская община Албании (300 чел.) выехала в Израиль.

[2] Население Армении 3.753.500 человек (на 1 января 1995).

[3] Последний армянин в Бангладеш умер в апреле 1991 г.

Бельгия	10.080.000	16.000	40.800	3.840
Бермудские о-ва	63.000	неизв.	70	
Болгария	8.952.000	27.000	2.800	42.521
Боливия	6.252.000	неизв.	600	396
Босния-Герцеговина	3.527.000	неизв.	600	
Ботсвана	1.443.000	неизв.	50	
Бразилия	159.143.000	32.000	190.000	8.103
Ватикан	1.800	неизв.	неизв.	
Великобритания	58.091.000	16.000	300.000	25.632
Венгрия	10.161.000	4.000	76.000	30.039
Венесуэла	21.378.000	7.000	35.000	819
Вьетнам	71.600.000	неизв.	неизв.	
Габон	1.420.000	неизв.	неизв.	
Гаити	7.035.000	неизв.	25	
Гана	17.800.000	неизв.	неизв.	
Гваделупа	421.000	неизв.	50	
Гватемала	10.322.000	неизв.	1.200	
Германия	80.953.000	7.000	60.000	17.678
Гибралтар	31.000	неизв.	600	
Голландия	15.022.000	неизв.	30.000	6.112
Гондурас	5.493.000	неизв.	40	
Гонконг	5.838.000	неизв.	2.500	
Греция	10.182.000	18.000	4.800	3.859
Грузия	5.470.000	410.000	17.000	15.023
Дания	5.173.000	1.100	8.000	1.314
Джибути	560.000	120	неизв.	
Доминиканская Республика	7.684.000	неизв.	250	
Египет	61.636.000	5.800	100	37.518
Заир	42.552.000	неизв.	320	

Замбия	9.196.000	неизв.	50	
Зимбабве	11.200.000	неизв.	925	714
ИЗРАИЛЬ[4]	5.600.000	2.100	4.620.000	
Индия	918.570.000	800	5.800	26.536
Индонезия	194.615.000	1.800	20	
Иордания	3.860.000	2.600	неизв.	
Ирак	14.654.000	21.000	120	129.539
Иран	65.758.000	122.000	25.000	76.244
Ирландия	3.539.000	неизв.	1.000	673
Исландия	296.000	неизв.	неизв.	
Испания	40.170.000	500	14.000	1.412
Италия	57.782.000	1.800	34.000	4.161
Йемен	13.873.000	неизв.	800	51.127
Казахстан	17.027.000	22.000	15.300	5.840
Канада	29.000.000	75.000	360.000	7.600
Кения	27.343.000	неизв.	400	
Кипр	740.000	3.000	30	
Киргизстан	4.667.000	4.000	4.500	3.000
Китай	1.208.841.000	неизв.	50	1.070
Колумбия	34.545.000	неизв.	5.560	1.570
КНДР	21.814.000	неизв.	неизв.	
Корея	44.563.000	неизв.	150	
Коста-Рика	3.347.000	неизв.	2.500	
Куба[5]	10.960.000	900	900	661
Кувейт	2.380.000	10.000	неизв.	

[4] Население Израиля 5.553.000 человек (на 1 июля 1995 г.).

[5] Один из богатых евреев — Рикардо Субирана, социалист и сионист одновременно, — купил для Фиделя яхту "Гранма" (по-французски "*бабушка*"), на которой Кастро с 18 единомышленниками 1 декабря 1956 г. прибыл на Кубу, — этот день считается началом кубинской революции. Фидель Кастро отблагодарил Субирану, назначив его послом в Израиле.

Лаос	4.440.000	неизв.	неизв.	
Латвия	2.563.000	3.600	15.800	10.031
Ливан	2.915.000	100.000	20	4.062
Ливия	5.000.000	100	5	36.730
Литва	3.706.000	1.800	6.300	5.291
Люксембург	401.000	неизв.	600	84
Мавритания	2.300.000	неизв.	неизв.	
Мадагаскар	12.185.000	неизв.	неизв.	
Македония	2.100.000	неизв.	100	
Малайзия	19.740.000	неизв.	неизв.	
Мали	8.338.000	неизв.	неизв.	
Мальта	364.000	неизв.	60	
Марокко	26.488.000	250	7.500	296.677
Мексика	91.858.000	3.000	40.700	3.177
Мозамбик	15.527.000	неизв.	40	
Молдова	4.420.000	5.800	28.500	39.079
Монако	31.000	неизв.	1.000	
Монголия	2.247.000	неизв.	неизв.	
Мьянма (Бирма)	45.555.000	неизв.	20	751
Намибия	1.530.000	неизв.	60	
Непал	19.611.000	неизв.	неизв.	
Нигер	8.154.000	неизв.	неизв.	
Нигерия	88.500.000	неизв.	неизв.	
Никарагуа	4.275.000	неизв.	10	
Новая Зеландия	3.631.000	неизв.	4.900	443
Новая Каледония	178.000	неизв.	70	
Норвегия	4.318.000	неизв.	1.500	319
Объед. Арабские Эмираты	2.389.000	500	неизв.	
Оман	1.694.000	неизв.	неизв.	

Пакистан	126.000.000	неизв.	260	
Панама	2.585.000	20	7.000	176
Папуа — Новая Гвинея	4.011.000	неизв.	100	
Парагвай	4.830.000	неизв.	1.200	
Перу	23.331.000	неизв.	3.000	1.141
Польша	38.800.000	26.000	6.700	171.471
Португалия	9.866.000	неизв.	900	247
Пуэрто-Рико	3.646.000	неизв.	3.000	
Россия	147.370.000	2.554.000	340.000[6]	409.221
Руанда	7.902.000	неизв.	неизв.	
Румыния	22.922.000	16.000	14.000	273.525
Сальвадор	5.641.000	неизв	180	
Саудовская Аравия	17.869.000	3.000	неизв.	
Сенегал	7.952.000	неизв.	неизв.	
Сербия и Черногория	10.763.000	неизв.	2.500	10.016
Сингапур	2.821.000	10	300	
Сирия	14.171.000	100.00	250	9.945
Словакия	5.333.000	неизв.	6.000	9.143
Словения	1.942.000	неизв.	75	
США	255.195.000	1.486.000	5.800.000	71.000
Сомали	6.709.000	неизв.	неизв.	
Судан	27.220.000	8.000	неизв.	
Суринам	418.000	неизв.	200	
Сьерра-Леоне	4.274.000	неизв.	неизв.	
Таджикистан	5.587.000	5.700	8.200	
Таиланд	60.000.000	неизв.	250	
Таити	215.000	неизв.	120	

6 По данным Госкомстата численность евреев в России составляла в 1989 г. 551.047 чел., на начало 1994 г. — 394.160, на начало 1996 г. (по данным этнодемографа М.Куповецкого) — 340.000 человек.

Тайвань	21.658.000	неизв.	75	
Танзания	26.869.000	неизв.	неизв.	
Того	3.810.000	неизв.	неизв.	
Тринидад и Тобаго	1.285.000	неизв.	неизв.	
Тунис	8.733.000	неизв.	2.000	53.054
Туркменистан	4.010.000	32.000	1.200	524
Турция	60.771.000	220.000	25.000	61.221
Уганда	18.690.000	неизв.	неизв.	
Узбекистан	21.349.000	42.000	36.000	62.169
Украина	51.460.000	56.600	195.000	317.263
Уругвай	3.167.000	14.000	32.500	6.835
Фиджи	771.000	неизв.	40	
Филиппины	66.188.000	неизв.	250	
Финляндия	5.088.000	60	1.200	723
Франция	57.747.000	400.000	590.000	29.997
Хорватия	4.504.000	неизв.	2.600	
Центральноафриканская Республика	2.879.000	неизв.	неизв.	
Чад	5.064.000	неизв.	неизв.	
Чехия	10.295.000	неизв.	6.000	14.800
Чили	14.044.000	300	22.000	4.723
Швейцария	7.131.000	3.000	19.000	3.053
Швеция	8.652.000	5.800	17.000	1.465
Шри-Ланка	17.423.000	неизв.	неизв.	
Эквадор	11.220.000	неизв.	1.000	137
Эстония	1.582.000	4.000	3.000	927
Эфиопия	53.435.000	1.300	500	47.305
ЮАР	40.555.000	37.000	106.000	16.000
Ямайка	2.489.000	неизв.	300	
Япония	124.815.000	100	2.000	169

ГОРОДА, ГДЕ ЖИВУТ 100.000 (И БОЛЬШЕ) ЕВРЕЕВ

Нью-Йорк (США)	1.750.000
Майами (США)	535.000
Лос-Анджелес (США)	490.000
Иерусалим (Израиль)	411.000
Париж (Франция)	350.000
Тель-Авив (Израиль)	339.000
Филадельфия (США)	254.000
Чикаго (США)	248.000
Хайфа (Израиль)	221.000
Лондон (Великобритания)	220.000
Сан-Франциско (США)	210.000
Бостон (США)	208.000
Москва (Россия)	200.000
Торонто (Канада)	175.000
Вашингтон (США)	165.000
Холон (Израиль)	163.700
Буэнос-Айрес (Аргентина)	180.000
Ришон ле-Цион (Израиль)	160.200
Петах Тиква (Израиль)	152.000
Беер-Шева (Израиль)	147.900
Нетания (Израиль)	144.900
Бат-Ям (Израиль)	142.300
Бней-Брак (Израиль)	127.100
Рамат Ган (Израиль)	122.200
Ашдод (Израиль)	120.300
Киев (Украина)	110.300
Санкт-Петербург	105.000
Балтимор (США)	100.000
Сан-Паулу (Бразилия)	100.000

ГОРОДА, ГДЕ ЖИВУТ 100.000 (И БОЛЬШЕ) АРМЯН

Ереван (Армения)	1.177.000
Лос-Анджелес (США)	850.000
Москва (Россия)	260.000
Бостон (США)	230.000
Сан-Франциско (США)	220.000
Нью-Йорк (США)	190.000
Фресно (США)	170.000
Караклис (Армения)	162.000
Кумайри (Армения)	115.000

ЕВРЕИ — ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ. XIX-XX вв.

ПРЕЗИДЕНТЫ ИЗРАИЛЯ

1. Хаим ВЕЙЦМАН (1874-1952)	1948-1952
2. Ицхак БЕН-ЦВИ (1884-1963)	1952-1963
3. Залман ШАЗАР	1963-1973
4. Эфраим КАЦИР (р. 1916)	1973-1978
5. Ицхак НАВОН (р. 1921)	1978-1983
6. Хаим ГЕРЦОГ (р. 1918)	1983-1993
7. Эзер ВЕЙЦМАН (р. 1924)	с 1993-го

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ИЗРАИЛЯ

1. Давид БЕН-ГУРИОН (1886-1973)	1948-1954
2. Моше ШАРЕТ (1894-1965)	1954-1955
3. Давид БЕН-ГУРИОН	1955-1963
4. Леви ЭШКОЛ (1895-1969)	1963-1969
5. Голда МЕИР (1898-1978)	1969-1974
6. Ицхак РАБИН (1922-1995)	1974-1977
7. Менахем БЕГИН (1913-1992)	1977-1983
8. Ицхак ШАМИР (р. 1915)	1983-1984

9. Шимон ПЕРЕС (р. 1923)	1984-1986
10. Ицхак ШАМИР	1986-1992
11.Ицхак РАБИН	1992-1995
12. Шимон ПЕРЕС	1995-1996
13. Беньямин НЕТАНЬЯХУ (р. 1949)	с 1996-го

АВСТРИЯ

Энгельберт ДОЛЬФУС (1892-1934) — федеральный канцлер (1932-1934).
Бруно КРАЙСКИЙ (1911-1990) — федеральный канцлер (1970-1983).

ВЕНГРИЯ

Бела КУН (1886-1938) — глава Венгерской советской республики (1919).
Матиаш РАКОШИ (наст. фамилия РОЗЕНБЕРГ, 1892-1971) — председатель Совета министров (1952-1953).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Бенджамин ДИЗРАЭЛИ (1804-1881) — премьер-министр (1868, 1874-1880).

ГОНДУРАС

Хуан ЛИНДО — президент (1847-1852).

ИСПАНИЯ

Франциско ФРАНКО БААМОНДЕ (1892-1975) — глава испанского государства (*каудильо*) в 1939-1975. Происходит из рода *марранов* — крещёных евреев.

ИТАЛИЯ

Сидней СОННИНО (1847-1924) — премьер-министр (1909-1910).
Луиджи ЛУЦАТТИ (1841-1927) — премьер-министр (1910-1911).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Джулиус ВОГЕЛЬ (1835-1899) — премьер-министр (1871-1876).

ПАНАМА

Макс Шолом ДЕЛВАЛЬЕ — президент (1969).
Эрик Делвалье МАДУРО — президент (1987-1988).

ПЕРУ

Эфраим ГОЛЬДЕНБЕРГ — премьер-министр (с 1994-го).

РУМЫНИЯ

Петре РОМАН (р. 1946) — премьер-министр (с 1990-го).

РОССИЯ

Яков СВЕРДЛОВ (1885-1919) — председатель ВЦИК (1917-1919).

САЛЬВАДОР

Хуан ЛИНДО — президент (1841-1842).

ФРАНЦИЯ

Леон БЛЮМ (1872-1950) — премьер-министр (1936-1937, 1938, 1946).
Пьер МЕНДЕС-ФРАНС (1907-1982) — премьер-министр (1954-1955).

УКРАИНА

Ефим ЗВЯГЕЛЬСКИЙ (р. 1948) — и.о. премьер-министра (1994).

АРМЯНЕ — ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ. XIX-XX вв.

АРМЕНИЯ

Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН (р. 1945) — президент Республики Армения (с 1991-го).

Ованес КАЧАЗНУНИ (наст. фам. ИГИТХАНЯН, 1868-1938) — премьер-министр Республики Армения (28 мая 1918 — август 1919).

Александр ХАТИСЯН (1874-1945) — глава правительства (август 1919 — май 1920).

Амо (Мгер) ОГАНДЖАНЯН (1873-1947) — премьер-министр Независимой Армении (5 мая 1920 — 23 ноября 1920).

Симон ВРАЦЯН (1882-1969) — премьер-министр Независимой Армении (24 ноября 1920 — 2 декабря 1920).

Вазген МАНУКЯН (р. 1946) — председатель Совета Министров (1990-1991).

Гагик АРУТЮНЯН (р. 1948) — и.о. премьер-министра (1991-1992).

Хосров АРУТЮНЯН (р. 1948) — премьер-министр (1992-1993).

Грант БАГРАТЯН (р. 1958) — премьер-министр (1993 -1996).

Армен САРКИСЯН (р. 1953) — премьер-министр (с 9 октября 1996).

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Роберт КОЧАРЯН (р. 1955) — премьер-министр (1994), президент (с 22 декабря 1994 г).

АВСТРИЯ

Давид АБРАГАМОВИЧ (1843-1915) — президент палаты депутатов рейхстага (1897).

БОЛГАРИЯ

Рената ИНДЖОВА (р. 1953) — премьер-министр (1994-1996).

ВЕНГРИЯ

Ференц САЛАШИ (1897-1946) — председатель Совета министров (1944-1945).

ЕГИПЕТ

НУБАР-ПАША (1825-1899) — премьер-министр (1876-1879, 1884-1888, 1894-1895).

ЛИВАН

Элиас САРКИС (1924-1984) — президент (1976-1978).

МЕКСИКА

Плутарко КАЙЕС (1877-1945) — президент (1924-1928).

СССР

Анастас МИКОЯН (1895-1978) — председатель Президиума Верховного Совета (1964-1965).

ФРАНЦИЯ

Эдуард БАЛЛАДЮР (р. 1929) — премьер-министр (1993-1995).

ДАТЫ АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ

XI в. Первый исландский историк Ари Торгильсон Мудрый (1067-1145) в своей "*Книге об исландцах*" упоминает трёх армянских епископов Петра, Абрахама и Стефана, занимавшихся на острове миссионерской деятельностью.

1390 Первое упоминание о поселившихся в Москве армянах.

1393 Смерть Левона VI Лузиняна — последнего армянского царя. "В церкви целестинов много картин и памятников, между прочим монумент Леона, царя

армянского, который, будучи выгнан из земли своей турками, умер в Париже в 1393 году". (*Н. Карамзин. Письма русского путешественника.*)

1701 Встреча в Москве армянского дипломата Исраэла Ори (1658-1711) с Петром I, во время которой обсуждался план освобождения Армении.

1711, 2 марта Опубликован Сенатский указ "Об умножении и облегчении армянского торгу", в котором, в частности, сказано: "Армян, как возможно, приласкать и облегчить им участь, в чём пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда".

1789 Первый армянин в Сингапуре — Аристаскес Саркис.

1827, октябрь В Ереване осуществлена первая постановка комедии Александра Грибоедова "Горе от ума"; это был единственный спектакль, на котором присутствовал автор.

1829, сентябрь Первое известное восхождение на вершину Арарата совершил профессор физики Дерптского университета Фридрих Паррот (1791-1841) и армянский писатель Хачатур Абовян (1809-1848).

1917, 2 декабря Выступление английского политика Роберта Сесиля на митинге в Лондоне: "Девиз нашего сегодняшнего собрания — освобождение народов. Мы стремимся к тому, чтобы арабские земли принадлежала арабам, армянские — армянам, еврейские — евреям".

1936, 26 марта Освящена армянская церковь в Сингапуре (архит. Джордж Колеман).

1946 "Первая большая парикмахерская (на целых четыре кресла!) в Ереване появилась после войны, в сорок шестом, когда в Армению прибыл первый караван репатриантов. Кто-то из вернувшихся на историческую родину привёз оборудование парикмахерской". (*А. Григорян. И тогда в Ереване...*)

1949 По приказу Сталина 103.000 армян (т.е. каждый двенадцатый) были высланы в Сибирь.

1950 "Прекрасная, красивейшая из всех церквей Еревана — церковь св. Григория Просветителя. Судьба её сложилась трагично. Разграбив до ниточки, сначала в ней разместили редакцию газеты "Безбожник", затем открыли кинотеатр под тем же названием, а кончили тем, что, прикрыв и то и другое, отдали церковь под театр кукол. Но она пережила всё, и даже "период обострённой классовой борьбы", стала подмогой верующим в годы войны, но не устояла перед генпланом развития города и была взорвана в 1950 году доблестными сыновьями матери Армении — коммунистами". (*А. Григорян. И тогда в Ереване...)*

1973 Футбольная команда "Арарат" (Ереван) сделала "золотой дубль", став чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

1977, 8 января Взрыв в московском метро. ТАСС и известный провокатор КГБ Виктор Луи мгновенно заявили, что взрыв устроили евреи. Впоследствии вину свалили на армян: были арестованы и казнены Степан Затикян, Акоп Степанян, Завен Багдасарян, хотя вина их так и не была доказана.

1991 Последний смертный приговор, вынесенный гражданину Армении, приведён в исполнение в Саратове.

1992	Полностью прекращено движение пассажирских поездов из Еревана в Москву в связи с военными действиями в Абхазии.
1996, 12 марта	Председателем парламента Нагорно-Карабахской Республики избран Артур Товмасян (р. 1963).
1996, 3 апреля	На Нью-Йоркском телевидении зазвучала армянская речь, в эфир вышла независимая программа — армянский телечас "Ардзаганк" (редактор и ведущая Карине Кочарян).
1996, апрель	Постановлением правительства Москвы в столице создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
1996, июнь	Армения стала членом Европейской ассоциации нумерации товаров EAN-International. Отныне у неё имеется собственный торговый штрих-код под номером 485. Первыми армянский товарный штрих-код получили Ереванский коньячный завод и фирма "Джермук", выпускающая минеральную воду.
1996, 8-9 июня	Прошёл съезд Армянского общенационального движения (АОД). Левон Тер-Петросян, выступив на съезде, заявил, что, "продолжая полностью разделять либерально-демократическую идеологию движения, не считает, что АОД является по-прежнему главной политической силой в стране".
1996, 28 июня — 3 июля	В Ереване прошёл съезд партии "Дашнакцутюн", несмотря на то, что её деятельность решением суда приостановлена на территории Армении.
1996, июль	Вновь заработал один из крупнейших в мире телескопов (диаметр зеркала — 2,6 метра) Бюраканской астрофизической обсерватории. Пятилетний

простой в его работе был вызван энергетическим кризисом. В пуске телескопа помощь бюраканцам оказали их коллеги из Марсельской обсерватории.

1996, 12 июля Президент США Билл Клинтон принял католикоса Киликийского Арама I. Католикос рассказал президенту о своём пастырском визите в Калифорнию. Он особо подчеркнул необходимость окончательного и справедливого решения карабахской проблемы, выразив уверенность, что ключ к её решению — самоопределение. В конце встречи Арам I вручил президенту Клинтону высшую награду Киликийского католикосата — орден "Большой крест".

1996, 18 июля Гибель "Боинга-747" американской авиакомпании TWA в небе недалеко от Нью-Йорка (командир — Стив Снайдер, второй пилот — Ральф Геворкян). Погибли все 228 пассажиров, среди них несколько армян из Калифорнии.

1996, 20 июля - 5 августа XXVI Олимпийские игры в Атланте. Сборная Армении впервые участвовала в летней Олимпиаде. "Золото" завоевал Армен Назарян (греко-римская борьба, 52 кг), "серебро" — Армен Мхитарян (вольная борьба, 48 кг). В других национальных сборных великолепно выступили Андре Агасси (США) — победитель турнира теннисистов; его отец Майк Агасси выступал за сборную Ирана на Олимпийских играх в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952). Армен Хаджибеков (Россия) завоевал "золото" в стрельбе из пневматической винтовки; Тимур Таймазов (Украина) стал сильнейшим среди тяжелоатлетов; Елена Бунатянц-Шакирова (Россия) стала олимпийской чемпионкой в составе команды баскетболисток; Армен Багдасаров (Узбекистан) завоевал "серебро" в соревнованиях дзюдоистов (86 кг); Ирина Азнавурян (Россия) добыла шпагой олимпийскую "бронзу".

1996, август — В Ереване вышел первый номер армяно-баскского журнала "АРАКСЕС" (редактор Ваган Саркисян) на армянском и испанском языках.

1996, 8 сентября — Католикос всех армян Гарегин I освятил в Эчмиадзине миро, которое назвал "миро возрождения".

1996, 15 сентября - 2 октября — XXXII Всемирная шахматная олимпиада в Ереване собрала 127 мужских и 89 женских команд. У мужчин победила сборная России (Гарри Каспаров, Владимир Крамник, Алексей Дреев, Пётр Свидлер, Евгений Бареев, Сергей Рублевский), у женщин — сборная Грузии (Майя Чебурданидзе, Нана Иоселиани, Кетеван Арахамия, Нино Гуриели).

1996, 22 сентября — Президентские выборы в Армении. Президентом вновь избран Левон Тер-Петросян (р. 1945).

1996, 25 сентября — Выступление оппозиции, обвинившей власти в фальсификации президентских выборов. Несколько тысяч человек, штурмом взяв здание Национального собрания, захватили его председателя Бабкена Араркцяна. Полиция рассеяла манифестантов. К счастью, погибших не было, но без раненых не обошлось.

1996, 9 ноября — Премьер-министром Армении назначен Армен Саркисян (р. 1953), физик по образованию, бывший до этого послом в Великобритании.

1996, 24 ноября — Президентом Нагорно-Карабахской Республики вновь избран Роберт Кочарян (р. 1954).

ДАТЫ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

1788 — Британские корабли доставили в Австралию заключённых. Среди них были шестнадцать евреев (в том числе 16-летняя Эстер Абрахамс с новорожденной дочерью). Арестанты стали первыми евреями Австралии.

1905, 4 ноября — Доктор Дубровин и депутат Государственной Думы Пуришкевич создали "Союз русского народа", которому правительство тотчас выделило субсидию — 2.500.000 рублей. Император Николай II щеголял в военном сюртуке, на лацкане которого красовался значок "Чёрной сотни".

1917, 2 декабря — Выступление английского политика Роберта Сесиля на митинге в Лондоне: "Девиз нашего сегодняшнего собрания — освобождение народов. Мы стремимся к тому, чтобы арабские земли принадлежали арабам, армянские — армянам, еврейские — евреям".

1938, ноябрь — В Италии принят закон, запрещающий для евреев военную службу. Все офицеры-евреи вынуждены были уйти в отставку, но двое из них — контр-адмирал Понтремолли и генерал-майор Умберто Пульезе — особым приказом были возвращены в армию как необходимые специалисты.

1944, 21 декабря — "**21 декабря, четверг**.

Вот новый талмудический вопрос, однако смертельно опасный. Евреям предписано ездить в трамвае только на передней площадке, а в вагон не входить. С позавчерашнего дня на трамваях написано крупными буквами — новый порядок: "Входить только с передней площадки. Выходить только с задней площадки". Какой заповеди следовать выходящему из трамвая еврею? Ведь каждое нарушение

приказов может означать для него: тюрьма, а затем лагерь и конец. Вопрос оживлённо обсуждается; что решат — запишу".

Из дневника Виктора Клемперера (1881-1960), профессора Дрезденского университета.

1949, 10 февраля Победителем конкурса на лучший проект герба Государства Израиль стал репатриант из Латвии Габриэль Шамир (Гутель Шефталович, 1904-1992).

1951 Из Баку и Тбилиси по приказу Сталина депортировали всех курдских евреев.

1961, 19 сентября "Литературная газета" (Москва) напечатала стихотворение Евгения Евтушенко "Бабий Яр", принёсшее поэту мировую славу.

1968, 28 декабря Операция "Подарок": после нападения арабских террористов на израильский самолёт в Афинах (декабрь 1968 г.) 76 бойцов под командованием Рафаэля Эйтана высадились в международном аэропорту Бейрута и взорвали 14 самолётов авиакомпаний арабских стран.

1972, май Арабские террористы захватили самолёт бельгийской авиакомпании "Сабена" и заставили экипаж посадить его в израильском аэропорту им. Бен-Гуриона. Угрожая взорвать самолёт, они потребовали освободить из тюрем своих сообщников, оружия, денег и возможность беспрепятственно покинуть страну. Израильские коммандос молниеносно захватили лайнер, ликвидировали террористов и освободили 97 заложников, при этом двое солдат и четверо пассажиров были ранены. В операции принимали участие нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху, недавний министр внутренних дел Эхуд Барак, директор Моссада Дани Ятом и Узи Даян (племянник Моше Даяна).

1986, декабрь	Террористами обстрелян офис израильской авиакомпании "Эл Ал" в международном аэропорту Рима: 16 человек убиты, около 80 ранены.
1994, 1 июня	Президент Бразилии Итамар Франку подписал закон, предусматривающий пять лет тюремного заключения за изготовление и использование нацистской символики, такой, как свастика.
1996, 7 февраля	Мемориальная церемония в музее "Яд ва-Шем" (Иерусалим) в честь *праведника мира* Вариана Фрая (1908-1967). В 1940 г. Вариан Фрай, состоявший в Комитете спасения, который возглавляла Элеонора Рузвельт, был направлен во Францию, где в течение 13 месяцев с риском для жизни снабжал людей поддельными документами, позволявшими им вырваться на свободу; среди тех, кому он помог спастись, были художник Марк Шагал (1887-1985), скульптор Жак Липшиц (1891-1973), философ Ханна Арендт (1906-1975).
1996, июнь	Венгрия стала первой страной Восточной Европы, приступившей к решению проблемы еврейской собственности, конфискованной во время Второй мировой войны. Правительство и еврейская община подписали протокол о создании Фонда наследия венгерского еврейства. Правительство внесёт в этот фонд 1 млн. долл. "живыми деньгами" и ещё 26 млн. долл. в "компенсационных купонах"; фонду будет передана также когда-то конфискованная собственность, включая произведения искусства, религиозные реликвии и (даже) часть недвижимости. Цель создания фонда — выплачивать ежегодную ренту 20 тысячам венгерских евреев, пережившим Холокост.
1996, 4 июля	Премьер-министр Польши Влодзимеж Чимошевич и глава администрации города Кельце Богуслав Сизельский попросили прощения у еврейского населения за погром, учинённый 4 июля 1946 г. На

митинге, состоявшемся перед домом, где 50 лет назад при непосредственном участии польской армии и полиции толпой были растерзаны 72 еврея, Чимошевич выразил "глубокое сожаление" по поводу причастности поляков к событиям тех дней и призвал оба народа к примирению. В церемонии приняли участие лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и сотни евреев, специально прибывших из Израиля, Европы и Америки. А накануне этого дня неизвестные погромщики разбили около 70 надгробий на еврейском кладбище в Варшаве.

1996, 9 июля — В Вашингтоне состоялась встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Билла Клинтона. В тот же день израильский премьер-министр встретился с госсекретарём США Уорреном Кристофером, министром обороны Уильямом Перри и министром торговли Микки Кантором.

1996, 15 июля — Банкир Амшель Ротшильд (р. 1955), принадлежавший к британской ветви этой семьи финансистов, был найден повешенным в парижской гостинице "Бристоль".

1996, июль — Израиль и Египет подписали контракт о строительстве в Александрии нефтеперерабатывающего завода стоимостью 2 млрд. долл. Реализация проекта будет осуществляться в рамках совместного предприятия, предоставленного израильской группой "Мерхав" и египетским бизнесменом Хусейном Салемом, при техническом содействии Европы и США.

1996, 20 июля - 5 августа — XXVI Олимпийские игры в Атланте. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали в соревнованиях яхтсменов — Гал Фридман (класс "Мистраль"), Шани Кемди и Анат Фабрикант (класс "470").

1996, 22 августа — Взрывом самодельной бомбы повреждена хасидская синагога в Марьиной роще (Москва).

1996, 28 октября — По поручению президента России Бориса Ельцина академик Александр Яковлев и директор ФСБ Николай Ковалёв передали послу США в Москве Томасу Пикерингу и директору Национального музея памяти Холокоста в Вашингтоне Уолтеру Райчли документы из архива НКВД-КГБ-ФСБ общим объёмом более чем 14 тысяч страниц о злодеяниях фашистов на территории Европы, а также материалы процессов над фашистскими преступниками, прошедших в СССР в 1946-1949 гг.

1996, 6 декабря — Впервые государственным секретарём США стала женщина — Мадлен Олбрайт (Мария Яна Корбелова, р. 1937), бывшая до этого постоянным представителем С!ША при ООН. Г-жа Олбрайт родилась в Чехословакии, откуда её семья была вынуждена бежать дважды — в период фашистской оккупации и во времена коммунистов. Новый госсекретарь испытывает самые добрые чувства к Израилю.

САМИ О СЕБЕ

Родился в Феодосии 1817 года июля 17 дня. Родители: Константин Григорьевич и Рипсиме Айвазовские. Вероисповедания армяно-григорианского.

Иван АЙВАЗОВСКИЙ (1817-1900) — русский художник.

Немецкость и еврейскость во мне не только не вредят друг другу, но даже помогают.

Густав ЛАНДАУЭР (1870-1919) — немецкий философ и писатель.

Что у меня общего с евреями? У меня нет почти ничего общего даже с самим собой.

Франц КАФКА (1883-1924) — австрийский писатель.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почётным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощённая наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ (1891-1938) — русский поэт.

Узкий круг, в котором я вращался в Вене, не желал знать ничего о национальных еврейских проблемах. Связи этих людей с еврейством были донельзя слабыми. Я же был душой и мыслями евреем, евреем! Я стал догадываться, что всякое истинное искусство, а музыка в особенности, коренится в народе, в народном искусстве.

Иоахим СТУЧЕВСКИЙ (1891-1983) — композитор, виолончелист, этнофольклорист.

Я крестился в 1941 году. Переходя в христианство, я понимал, что не отрекаюсь от своих корней. Я никогда ни от чего не отрекался. Мне кажется, что я в своём еврействе стал как бы более совершенным.

Леон ЗАК (1892-1980) — французский художник.

...Как бы я не метался между всякими музыкальными языками, всё равно я останусь армянином, и не азиатом-армянином, но армянином-европейцем, который вместе с другими заставит всю Европу и весь мир слушать нашу музыку. А слушая эту нашу музыку, слушатели должны будут непременно сказать: расскажите нам об этом народе, покажите нам эту страну, которая имеет такое искусство. Вот мечта моей жизни.

Арам ХАЧАТУРЯН (1903-1978) — композитор.

Здесь, в Америке, я представляю себя в аудиториях такими словами: "*Меня зовут Левон Сюрмелян, и я — гордый армянин*". Моим студентам запоминается "*гордый армянин*".

Левон СЮРМЕЛЯН (р. 1905) — американский писатель.

Никогда и никому я не кланялся до земли. До земли кланяюсь я армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне. Кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали сегодняшние охот-

норядцы слова презрения и ненависти: "Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил".

До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мной в сельском клубе.

Василий ГРОССМАН (1905-1964) — советский писатель.

Моё еврейство — это "житейская трудность", потому что в еврея меня превратили обстоятельства, законы, мир. Трудность, навязанная извне. В остальном же я венгерский поэт, родичей своих я перечислил, и мне всё равно, какого мнения об этом сменяющие друг друга премьер-министры. Они могут отвергать меня или принимать — моя "нация" на моей книжной полке не вопит: "Вон отсюда, пархатый жид!", родные края и пейзажи распахнуты передо мною, куст не вцепляется своими колючками в меня больше чем в другого, дерево не приподымается на цыпочки, чтобы мне было не дотянуться до его плода. Если бы мне пришлось испытать что-нибудь подобное, я бы убил себя, потому что жить по-иному, чем я живу, я не могу, ни верить по-иному, ни думать.

Миклош РАДНОТИ (1909-1944) — венгерский поэт.

Честертон как-то заметил, что люди делятся на три категории: первая — это просто люди; их больше всего и они лучше всех. Разве русскому еврею не найдётся среди них место?

Михаил ГЕФТЕР (1918-1995) — историк.

На углу Садовой какие-то трое остановили меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись и спросили:

— Ты ещё не в Израиле, старый хрен?!

— Ну что вы, что вы?! Я дома. Я — пока — дома. Я ещё летаю во сне.

Я ещё расту!..

Александр ГАЛИЧ (Александр ГИНЗБУРГ, 1919-1977) — русский поэт, прозаик, драматург.

Я армянский художник. Во мне, как бы я ни повернулся, сказывается армянин. Таким я вырос. Таким воспитала меня мать. Но я рос во Франции, и я представитель этой страны!

ЖАНСЕМ (Ованес СЕМЕРДЖЯН, р. 1920) — французский художник.

Я родился в Бердичеве. В 1923 году. В бедной еврейской семье. На чердаке. С трёх лет... а сейчас мне семьдесят три года... могу сказать о себе, что ещё не встречал такого фанатика, как я.

Чего в нас больше: разного или похожего? Не знаю. Но будь моя воля, я бы воздвиг над планетой огромный монумент и назвал бы его "СОГЛАСИЕ".

Арон БУХ (р. 1923) — художник.

Если меня молоть, как пшеницу, то из меня выйдет Родина.

Паруйр СЕВАК (Паруйр КАЗАРЯН, 1924-1971) — армянский поэт.

Я специально выбрал этот маленький музей — там, в подвале, под каменными плитами этого зала находятся армянские ковры, хурджины и хачкары. Там мои корни, сокровища, которые питали меня всегда и везде.

Сергей ПАРАДЖАНОВ (1924-1990) — кинорежиссёр, художник.

Порой надо продвигаться, стремиться к началу, к истокам... В противном случае мы никогда не узнаем себя. Можно только позавидовать тому, кто чувствует в своём вздохе, в своей крови кровь и вздох Первого Армянина (Ара, Арама, Айка или Ваагна). Честное слово, я это чувствую.

Генрих МАЛЯН (1925-1964) — армянский режиссёр.

Так или иначе я еврей. Я всегда знал, что я еврей. С детства. Я не считал, что это хорошо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль. Я любил его, как еврейское государство. Как государственную машину... Ибо это сила, которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не может... Я всю жизнь знал, что я еврей, и поэтому моя душа тянулась к государству Израиль. Это первое и главное.

Анатолий ЯКОБСОН (1935-1978) — литературовед, поэт, переводчик.

Я пессимист и, как многие евреи и армяне, обречён страдать...

Эдгар ХАНСЕЛЬТРАТ (р. 1935) — немецкий писатель.

Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.

Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.

Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —

запруда, мельница, просёлок...
а что там дальше, знает Бог.

Лев ЛОСЕВ (р. 1937) — поэт, сын писателя В.А.Лифшица.

Многие армяне (особенно грузинские армяне) недолюбливают евреев. Хотя куда логичнее бы им недолюбливать русских, грузин или турок. Евреи тоже не питают к армянам особых чувств. Видимо, изгои не склонны любить других отверженных. Им больше нравится любить хозяев. Или на худой конец — себя...

Сергей ДОВЛАТОВ (1941-1990) — русский писатель.

Быть армянином в моём понимании — это, прежде всего, соблюдать заповеди, общие для каждого христианина, и, прежде всего — "*почитай отца и мать*". Чтить родителей значит не только уважать их, но уважать обычаи, традиции, родной язык, веру предков. А уважать — значит не только сохранять прошлое в тех пределах, в которых оно явлено нам, но и приумножать его, совершенствовать.

Паруйр АЙРИКЯН (р. 1949) — армянский правозащитник, политик.

По национальным импульсам, складу ума и отношению к действительности я, безусловно, еврей. По всему остальному — писатель, мыслящий и живущий на русском языке.

Дина РУБИНА (р. 1953) — писатель.

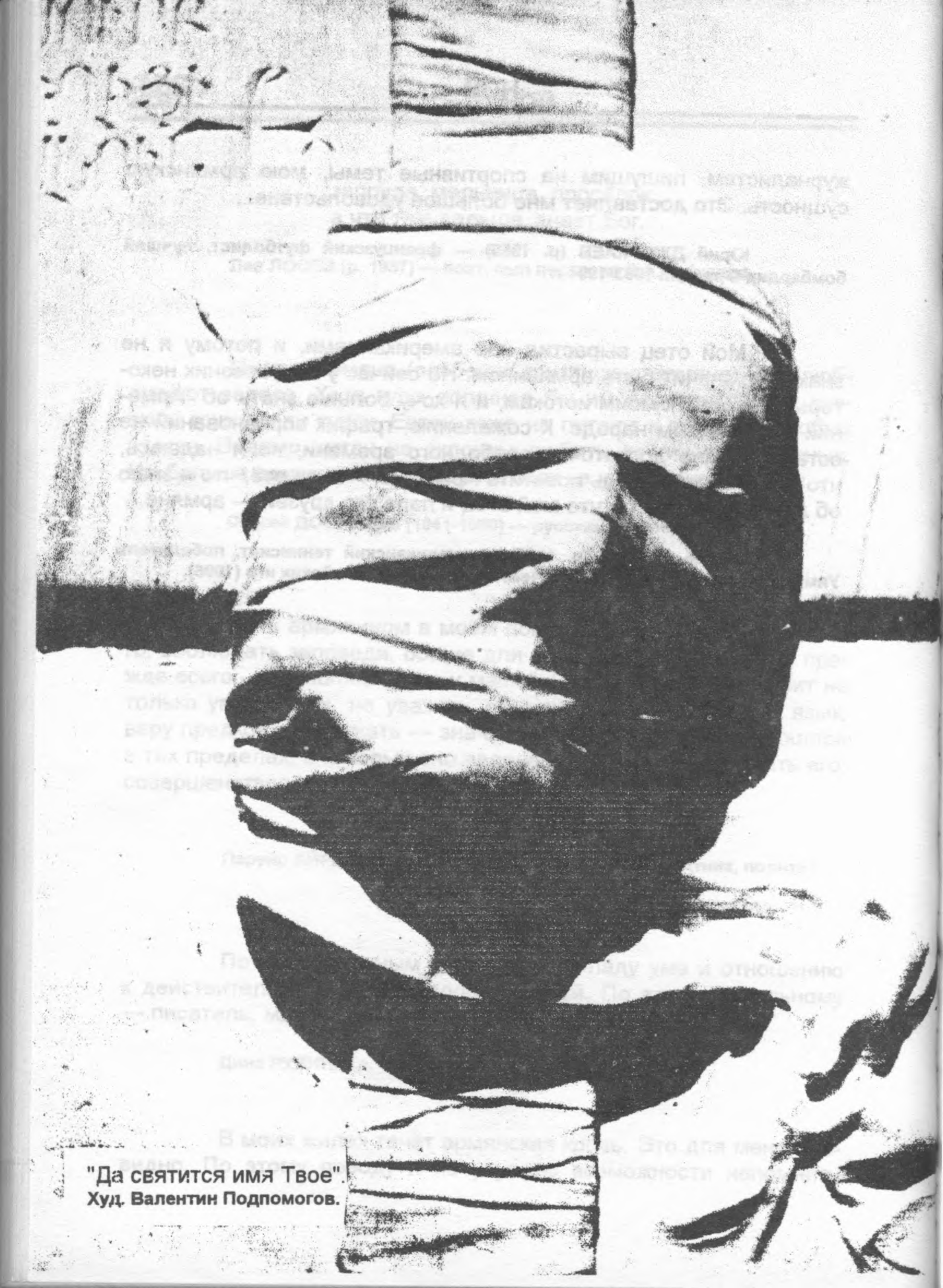
В моих жилах течёт армянская кровь. Это для меня очевидно. По этому поводу я не упускаю возможности напомнить

журналистам, пишущим на спортивные темы, мою армянскую сущность. Это доставляет мне большое удовольствие...

Юрий ДЖОРКАЕВ (р. 1959) — французский футболист, лучший бомбардир Франции 1993-1994 гг.

Мой отец вырастил нас американцами, и потому я не знаю, что значит быть армянином. Но сейчас у меня возник некоторый интерес к моим истокам, и я хочу больше знать об Армении и армянском народе. К сожалению, график соревнований не оставляет мне достаточно свободного времени, но я надеюсь, что смогу когда-нибудь посетить Армению. А пока всё, что я знаю об армянах — это то, что мой отец и пара его друзей — армяне.

Андре АГАССИ (р. 1970) — американский теннисист, победитель Уимблдонского турнира (1992) и чемпион XXVI Олимпийских игр (1996).



"Да святится имя Твое".
Худ. Валентин Подпомогов.

Вардван ВАРЖАПЕТЯН

ЛИЦО

Валентину Подпомогову

То, что друзья твои видели —
это ещё не лицо.

То, что враги твои видели —
это ещё не лицо.

И то, что ранами о́тнято —
это ещё не лицо.

И то, что бинтами о́бнято —
это ещё не лицо.

И то, что слабело, как пламень —
это ещё не лицо.

И то, что твердело, как камень —
это ещё не лицо.

Лицо твоё видела мать —
в тот миг, когда ты родился.

1 октября 1996
Ереван

Элеонора МАНДАЛЯН

СКОЛЬКО ЛИЦ У ХУДОЖНИКА?

Валентин Подпомогов, предупреждаю сразу, — не эмигрант. И, скорее всего, никогда им не будет, несмотря на то, что сын его живёт в Лос-Анджелесе, а на языке живописи можно свободно разговаривать в любой стране мира. Правда, вместо него в Америку эмигрируют его картины: только в Лос-Анджелесе их уже не менее десятка. Вот я и подумала, что ценителям искусства небезынтересно будет узнать поближе их создателя. Тем более, что Подпомогов стоит того — как художник и как человек.

Живёт он там, где родился, а именно — в Ереване, нежно им любимом. И хоть по фамилии, доставшейся ему от украинца-отца, он не армянин (армянкой была мать), сам он себя считает рафинированным армянином, а в Ереване о нём отзываются примерно так: "Наш Валюшка — соль Армении". "Кто не знает Подпомогова, тот не знает Армении!" Да, это армянский художник. Впитавший каждой клеточкой тела (и души, если она материальна) быт Армении, культуру, её гордость и боль...

Но поведу рассказ по порядку. Итак, родился Валентин давно. В 1924 году. Рос беспутным шалопаем, не желавшим учиться. По его собственным (хвастливым!) признаниям, просидев в 4-м классе несколько лет, был из школы благополучно выдворен и на радостях больше туда не вернулся. С тех пор он при каждом удобном случае спешит сообщить, что образование у него четырёхклассное. А когда делает на обратной стороне картины очередную задушевную надпись, не смущаясь, спросит: "*а* или *о*?", вызывая тем самым весёлую, но отнюдь не снисходительную улыбку. По части грамотности "наш Валюшка" — второй Пиросмани (но ни в коем случае не по стилю живописи, потому что он не только не примитивист, но, как утверждают некоторые — с чем я, кстати сказать, не согласна — армянский Рембрандт). Однако четырёхклассное образование ничуть не помешало ему быть какой-то период главным художником при Ереванском горсовете.

Картин он принципиально не писал. Самой большой его страстью было кино (после кутежей, конечно, по части которых он

мастер непревзойдённый). Почти всю свою молодую и зрелую жизнь Валя работал на киностудии "Арменфильм" художником-постановщиком, создав галерею прекрасно оформленных кинокартин. На этой ниве мы с ним и познакомились, когда я, только что окончившая Художественно-театральный институт, попала к нему в ассистентки.

Совершенно особенный мир кино показался мне сказкой. Сказкой вдвойне от того, что работала с Подпомоговым. В институте моим учителем был маститый скульптор, академик Ара Саркисян, чьи монументальные памятники украшают площади Еревана, и я очень гордилась этим. Но та школа, которую я прошла у Подпомогова, дала мне значительно больше, чем все пять лет в институте. Это художник от Бога, никогда нигде и ни у кого не учившийся. Надо было видеть, как он делал эскизы к декорациям! Получив часть постановочных за два месяца до запуска картины, он тотчас пускался в загул. Проходила неделя... другая... месяц — Валя, по его собственному выражению, не просыхал. Но это окружающим могло показаться, что он только "гуляет". А где-то там, под черепной коробкой, шла напряжённая работа — зарождался, обдумывался, шлифовался облик будущего фильма, "ключ", в котором он должен быть решён. Наконец, за неделю, а то и за сутки до сдачи эскизов Валя усаживался за планшет. Композиция легко и свободно ложилась на картон, проступая во всех деталях, как фотография в проявителе. Он казался в эти моменты гением, проводником Высших Сил. Так он работал 20 лет назад, так живёт и работает сейчас. И, кстати, верит в параллельные миры, Высший Разум, в парапсихологию, как не могут не верить все "подключённые" — все гении и большие таланты.

Мы начали работать над фильмом "Карине". Это лёгкая и динамичная музыкальная комедия, в которой молоденькая Карине-героиня пела под фонограмму Гоар Гаспарян, а её брата играл оперный певец, муж Гоар Гаспарян — Левон Тиграняն (разумеется, пел сам за себя). Все декорации в фильме были условные, рисованные — так решил Валя. И мы с ним, не доверяя работникам постановочного цеха, расписывали их сами. А в свободное от съёмок время собирали огромное мозаичное панно (из осколков цветных армянских камней) — "Мать Земля" для зала

симпозиумов в Бюраканской обсерватории. Случалось, выполняли и другие "халтуры", на которые Валя был мастер.

По окончании съёмочного периода он вспомнил вдруг, что на "Арменфильме" нет мультипликации. Его юмористически-саркастический склад ума очень хорошо укладывался в гротескные мультипликационные персонажи. Собрав группу молодых ребят, он повёз нас в Москву, на "Союзмультфильм" — учиться. А потом, по возвращении, мы открыли мультстудию и приступили к созданию первого армянского мультфильма "Капля мёда" по сказке Ованеса Туманяна. Основные эскизы, персонажи разрабатывались Валей, а мы "вдыхали в них жизнь". Для меня, после фильма "Карине", это была вторая сказка, подаренная Валей.

Подпомогов дружил со всем Ереваном сразу. К нему тянулись люди без разделения на профессии и взгляды. Потому что рядом с ним окружающие словно попадали в другое измерение. А когда он был в ударе, смеялись до изнеможения. Он рассказывал анекдоты так, как только он может рассказать, хохмил, разыгрывая целые сцены с переодеванием. Валя телосложения щуплого, почти тщедушного, "изящно-компактный", с молодых лет пронзительно лыс. При этом отнюдь не комплексует, напротив — лихо обыгрывает свою внешность. На голове у него неизменный берет или пилотка, скрывающая лысину. Но при удобном случае он её с гордостью демонстрирует. Когда он, нахлобучив, к примеру, до бровей старую помятую шляпу и нацепив на ноги и руки четыре перчатки, начинает с уханьем скакать по комнате, изображая испуганную обезьяну, все хватаются за животы.

Вале всегда претила чрезмерная манерность и чопорность, он тут же придумывал какую-нибудь выходку, чтобы шокировать людей. А выходкам его не было конца, не случайно его близким другом много лет подряд был "великий хохмач" Генрих Ованесян, режиссёр кинокомедии "Три плюс два".

У Вали врождённый порок сердца. "Меня ни одна холера не возьмёт, — заверяет он. — Я ж при жизни заспиртовался". К нему вызывают в очередной раз "скорую", врач озабоченно спрашивает: "Что вы чувствуете, больной?" (У Вали при этом сердце колотится, как бешеное, с перебоями). И "больной" с видом ударника отбивая ладонями на столе нестройную дробь, демонстрирует ему свои сердечные ритмы.

В другой раз, катаясь по полу от почечных колик, он спросил врача, явно с подвохом: "Доктор, это рак?" — "Ну что вы, дружок, — камешки", — утешил доктор. "Камешки? — с комично-ехидным лукавством прищурился Валя, сидя на полу в промежутке между приступами. — А что под камешками?"

Когда его укладывают в больницу, для врачей и всего обслуживающего персонала наступают праздничные дни. На Пасху он для всех расписывает изумительной красоты яйца, над дверями его палаты появляется профессионально (как из типографии) выполненный плакат типа: "Советский больной — самый здоровый больной в мире!"

Как-то на новоселье у наших друзей (которым мы с Валей накануне целый месяц расписывали на стене панно) хозяин дома, отплясывая рок-н-ролл, вошёл в раж и, подняв Валю над головой... уронил его. Опасных повреждений, к счастью, не оказалось, лишь сильный ушиб большого пальца ноги. Но Валя такого случая не упустил, и на следующий день пол-Еревана увидело его, потешно ковыляющим на костылях с огромной забинтованной культёй.

Две трети своей жизни Валя занимался чем угодно, только не живописью. Кино, мультипликация, любые оформительские работы по государственным и частным заказам. Был он и непревзойдённым мастером по оформлению декораций. А учитывая, что всё он всегда делает в последний момент, можно представить, как раздражалось и нервничало, бегая за ним перед майскими или ноябрьскими праздниками руководство республики. Его неистощимые фантазии и изобретательность не знали предела.

Лучшие надгробные памятники Ереванского кладбища, пантеона в частности, выполнены либо лично Валей, либо по его эскизам. Сколько изящества, вкуса и мастерства в любой работе, в любой вещи, которой касалась рука этого с виду несерьёзного шутника-гуляки! В его доме, в его мастерской всё сделано им самим. Камин с чеканным барельефом хранителя огня, бар с театральными масками и огромным омаром по центру, лестницы с узорными балясинами. Стиль? Эклектика конца прошлого века с заявкой на средневековье. На стене коллекция старинного оружия (настоящего). Пока не было у Вали мастерской, а её у него долго не было, он превратил в мастерскую квартиру. Жена и двое

детей ютились где-то по углам, а на почётном месте в столовой неизменно стоял верстак. Паркет был покрыт опилками, стружками, пятнами краски и клея. Домочадцы всё молча, я бы даже сказала, благоговейно сносили. Казалось, в воздухе так и витает невысказанное: Вале всё можно. Он — гений.

Получив, наконец, мастерскую — сырую, подвальную дыру без окон, без дверей и в придачу с крысами, он принялся из неё делать "конфетку" и совсем забыл, что есть у него дом и семья. Там работал, там и жил. А домочадцы навещали его. Впрочем, на семейные торжества он являлся... С кучей друзей.

Много лет мы уговаривали Валю заняться настоящей живописью. Но он упорно отказывался. Однажды нам всё-таки удалось его уговорить. Им тогда уже было прожито ровно полвека. (Тут он явно перещеголял даже Ван Гога, начавшего, как известно, заниматься живописью уже в зрелом возрасте и до Валиных пятидесяти не дожившего.) Он создал поразительной выразительности грустную обезьяну, назвав картину "Ностальгия". Его обезьяна потрясла Ереван.

С тех пор Валя не занимается практически уже ничем, кроме живописи. Правда, картины рождаются из-под его кисти не так часто, как хотелось бы. И не потому, что над каждой он работает кропотливо и тщательно, напротив, Валя всё делает быстро, ему всегда легко всё даётся (а если и бывают трудности, то об этом никто не знает). А потому, что кутежи и общение для него по-прежнему главное в жизни. Он руководствуется принципом: дружба — понятие круглосуточное. И двери его мастерской не закрываются ни днём, ни ночью, несмотря на огромного, чёрного, сатанинского вида пса, которого он завёл. Валя вообще обожает собак. Много лет назад держал сразу двух боксёров. И когда один из них попал под машину, лучшая профессура города, хирурги-светилы по всем правилам своего искусства оперировали пса у него дома, на обеденном столе, благо все они были закадычными друзьями.

Чем по-настоящему богат Валя, так это друзьями, которых притягивает к нему бездна обаяния. И сегодня у Вали в мастерской можно встретить киношников и композиторов, врачей и художников, учёных и совсем молоденьких актёров и актрис, забегающих в свой перерыв из соседнего Камерного театра (где, кстати сказать, работает его дочь Жэка — яркая и своеобразная

личность). Все они теперь почтительно величают Валю "маэстро", но непременно на "ты". И, зная его нрав, невольно улыбаешься этому выспренному и старомодному словечку. Выкопав под домом у мастерской дополнительное пространство, Валя устроил для друзей средневековый бар ужасов со светящимися черепами и страшными масками, среди которых есть и сделанная мною маска — маска Ямы, индийского бога смерти.

Уезжая в Америку, я перевезла к Вале все свои скульптуры. Он расставил их в мастерской и дома, для каждой найдя постамент и место. А лет 10 назад я сделала портрет Подпомогова в бронзе и граните и тоже подарила ему. Не ему даже, а настоящим и будущим почитателям его таланта.

Талант Валентина Подпомогова! О живописи рассказывать словами — дело пустое и неблагодарное. Её надо видеть... не видеть даже, а смотреть — осмысливать, переживать. Но картины Подпомогова — несколько иное. Их можно пересказывать, как драмы Шекспира. Практически все картины, о которых пойдёт речь (и те, о которых не успею рассказать), рождались на моих глазах. Он приходил ко мне в мастерскую поделиться замыслом, набрасывал с ходу эскизы, всегда эмоционально и с вдохновением. Потом исчезал на какое-то время из поля зрения и возникал вновь, чтобы позвать взглянуть на воплощённый в масле замысел.

Работает он в стиле "старых мастеров" эпохи Ренессанса. Цвет для него вторичен. Гамма в основном серебристо-серая. Главное — идея. Ей подчинено всё — линия, форма, фактура. Это целые философские трактаты, мистически-пророческие, я бы сказала, полные напряжённейшей внутренней драматургии.

Вот, к примеру, на большом полотне монументальнейшее творение рук человеческих — конгломерат культур и народов, этакая конусообразная башня, начинающаяся храмами и пирамидами Египта... выше — армянские христианские храмы с любовно выделенным на ладони облака Звартноцем... Башня заканчивается кристаллами современных небоскрёбов, уходящих в небо. А над нею, подобно терновому венку, рассеивающееся полукружием облако — облако от ядерного взрыва, погубившего создателей этого величественного монумента, возводимого ты-

сячелетиями. К обезлюдевшим сооружениям тучами устремляются крысы (как известно, не боящиеся радиации). *"Mea culpa".*

А вот два могучих быка натужно тянут плуг, пытаясь вспахать голую скалу, — это символ Армении, возделанной непосильным трудом. "*Страна Хайастан*".

Дружбой тоже можно закабалить, считает Валя, — превратить в раба. И создаёт великолепный портрет в старинной овальной бронзовой раме. "*Памяти друга*". Череп благородной лошади с длинной, тщательно расчёсанной гривой, выписан с трогательной выразительностью, ничем не уступая традиционному салонному портрету. На черепе уздечка с петлёй, наброшенной на крюк. И рядом на стене подкова. Что это? Орудия власти или любви?

"*Похороны Бога*" — это первоначальное название. В каталоги работа вошла как "Perpetuum mobile". Согбенные — скорбью больше, чем ношей, скрытые под накидкой фигуры бесконечных, теряющихся за горизонтом людей несут распятого Христа. Нам видны лишь его ступни и мощный поток света, уходящий от Христа в небо.

Тема Христа у Вали обыгрывается неоднократно, ни разу не повторяясь. Всякий раз он находит новое, ни на что и ни на кого не похожее решение. "*Распятие*" — в воздухе парит лишь оболочка распятого тела, содранная кожа. А душа упорхнула, как птица из разорённого гнезда. Христос, упавший на колени, прописан с тщательностью автопортрета (да это автопортрет и есть!). Под ним не остывшие ещё угли пепелища опустошённой голой земли. В глазах Христа слёзы. Ладони простёрты к зрителю с немым, полным боли укором: "Люди! Что вы сделали с вверенной вам Землёй?!"

На "*Тайной вечере*" льющийся сверху свет отбрасывает тень от Христа — терновый венок, которого ещё нет. Вместо 12 апостолов справа и слева от фигуры — зажжённые свечи, тени от которых превращаются в человеческие фигуры в капюшонах. Одна из свечей погасла и чадит. Её дым окутывает Христа. Это, конечно же, Иуда.

Кстати, свеча — неизменный элемент картин Вали. Как искра надежды, даже в самой трагической, в самой безысходной ситуации. Апофеоз "симфонии" свечей в картине "*Бессмертие*".

Представьте каменистую дорогу в ночи, уходящую в небо. На дороге, как бредущие люди, одни только свечи, звёздами мерцающие вдали. На переднем плане оплавившиеся огарки, слившиеся в сплошную массу, в которой угадываются обнажённые человеческие тела. И над всем этим в полную высоту вертикального холста полупрозрачная могучая свеча. Это гимн гению человеческому. Он посвятил его Шекспиру, которого обожает, наверное, ещё и потому, что сам немножко Шекспир в живописи.

Картины Подпомогова, как правило, — протест, вызов несправедливости во всех её проявлениях. "*Борьба*". Ещё одно распятие? Да. Но распята на сей раз Природа на железобетонном кресте цивилизации. Корчится в предсмертных судорогах голое сухое дерево, впиваясь скрюченными корнями в растрескавшуюся землю. Оно ещё живое, ещё борется!

Неотъемлемой частью картины Валя считает раму как её продолжение и оправу. И поэтому делает их сам. Правда, Валя никогда не был богатым человеком, а потому и картины-то начал писать, как он сам любил сострить, на старых простынях своих друзей, а рамы делал из подручных материалов. Сказывалась многолетняя практика работы в кино, где всё — бутафория, имитация. А уж он истинный мастер имитации.

Отвлекаясь, вспомню, как он научил меня, расписывая декорации, передавать фактуру тёсаного камня, кирпичной кладки, дерева... Воодушевившись, я расписала тогда холл у себя дома под туфовые плиты. И много лет потом люди, заходя к нам, трогали стену и не верили, что это не камень.

Валя может передать фактуру любого материала. Иные (недоброжелатели) называют его за это "ремесленником", как бы в упрёк сравнивая с Шиловым. Если дым — он зримо невесомо струится и даже пахнет дымом. Если тлеющий уголёк, тронь — обожжёшься.

Подпомогова глубоко волновал геноцид армян 1915 года. Он посвятил ему не одну картину. Самая монументальная из них — "*Реквием*". Огромное полотно. На голой, выложенной каменными плитами (следы цивилизации) земле осколки разрушенных сооружений. Вдали чудом уцелевший храм, вернее, его остов. А на переднем плане могучий, низвергнутый полуразбитый колокол. Ветер гонит клубами пыль. Ещё дымит пепелище, делая нас, зрителей, сопричастными тому времени, той трагедии. Чёр-

ное небо тяжело навалилось на поруганную землю. Но в самом центре среди туч раскрылось небесное окно, из которого щедро пролился на землю божественный свет.

Когда начались события в Карабахе, Сумгаите, Баку, Подпомогов посвятил им целую серию эмоционально насыщенных, величественных и скорбных, и, конечно же, весьма своеобразных полотен.

Не правда ли, трудно совместить работы Подпомогова и избираемые им темы с обликом их создателя — гуляки, кутилы и шутника Где он настоящий? В качестве биографической ремарки так и подмывает сказать: конечно же, в произведениях. Как художник, он одинок и мрачен в глубинах своей души. И подлинное его нутро нашло свой выход в его полотнах. А остальное — маска... маскарад... маскировка. Но нет, не скажу. Для этого я его слишком долго и слишком хорошо знаю. Он одинаково искренен, одинаково "играет сам себя" и когда доводит до сумасшедшего хохота друзей, и когда создаёт полные трагизма произведения, от которых иной раз мороз дерёт по коже и становится страшно за будущее, не своё — человечества.

Интересная деталь: кого бы ни писал Валя (а он никогда не работает без натуры), в каждом персонаже он изображает себя. Будь то знаменитая грустная обезьяна в "*Ностальгии*", "*Домовой*", уютно устроившийся в замочной скважине, коленопреклонённый Христос или жертва концлагеря ("*Посвящение*") с только что простреленной навылет головой и застывшим в живых ещё глазах недоумением — за что?! — всё это он, Валя, легко узнаваемый. Везде разный, но всегда трогательный, трагичный и величественный в своём вселенском одиночестве. У бронзового хранителя огня над камином и у Мадонны с младенцем (которую он писал по заказу католикоса для Эчмиадзина, но в последний момент католикос нашёл, что у Мадонны слишком "шальные", грешные глаза), и на распятой коже Христа — одинаковые ступни и руки — его, Валины.

В музее современного армянского искусства в Ереване картинам Подпомогова отдан большой круглый зал. Они есть практически у всех крупных армянских коллекционеров. С самого начала ещё при твёрдом рубле они пошли на валюту, мгновенно взлетели в цене. Самая дешёвая из них стоит несколько тысяч долларов. Считают, что Подпомогов сегодня — самый дорогой

художник в Армении. К нему приезжают заказывать работы из Европы и Америки. Их пытаются вывозить контрабандой. А здесь, в Лос-Анджелесе, появились даже подделки, выдаваемые за Подпомогова.

Искусствовед Генрих Игитян в предисловии к его каталогу называет Валю человеком ушедшего поколения. Я не могу с этим согласиться и, уверена, не согласится сам Валя. По количеству прожитых лет — возможно, по духу — никогда. И чтобы опровергнуть такой "ярлык", расскажу о последней "выходке" нашего маэстро. В Лос-Анджелесе среди армян вдруг прошёл слух, что Валя... умер. Мы с мужем бросились звонить ему домой. От дочери Жэки узнали, что слухи о его смерти несколько преувеличены, но Валя в настоящее время в больнице. Звоню к нему в палату. И что я слышу! "Поздравь меня! — кричит он в трубку. — Я женился! Мы тут, в больнице, чудненько проводим время!"

Помните, Рубенс женился на Елене Фурман, когда ему было 55, а ей — 17. Валя перещеголял и великого Рубенса. Ведь ему в апреле стукнуло 72! Его избранница с дивным глазами (у Вали всю жизнь была особая слабость к красивым женским глазам) лет пять назад пришла к нему в мастерскую совсем юной девушкой, да так там и осталась, без памяти влюбившись в него. Они и сейчас живут в этом сыром холодном подвале, где зимой на стенах иней. Свою квартиру после смерти жены он оставил дочери, думается, в первую очередь потому, что ему претят тривиальные, аккуратно прибранные городские квартиры.

"Панорама" (Лос-Анджелес), № 805, 11-17 сентября 1996 г.



НИКОЛАЙ ЭСТИС
Рис. Лидии Шульгиной

приглашение

Союз
художников РСФСР
Московская
организация
Союза
художников РСФСР

приглашают Вас
на открытие выставки
Николая
Александровича
ЭСТИСА

темпера
литография
рисунок

Дорогой папа, мне очень понравилась выставка.
Целую. Саша.

3 ноября 1994

Мир, изначально существующий, дан нам, как хаос. Организация его в форму есть первая и необходимая (в значении — невозможности избегнуть, обойти) задача настоящего художника. Однако есть и вторая, высшая задача — организация мира по смыслу. По привычке мы отдаём это профессиональным рассуждателям — философам и прочим. Однако художнику принадлежит здесь первое место, ибо только он имеет право на откровение. Вот этого и желаю.

В.Р.
1 октября 1966

Я только что с выставки московских художников, где я зевал два часа. А тут уже третий час и не могу уйти, все физиологические потребности забыты — не хочу есть, отдыхать, хочу быть здесь. Я впервые испытываю такое сильное духовное чувство. Спасибо тебе, Эстис! Спасибо за то, что я забыл про часы обеда.

П. Сергеев из Истры
1978

Пространство и время сливаются в музыке цвета.
Теченье столетий и миг; в мгновении — чистого лик.
Ты, человек, стоящий лицом к вечности, —
Ты сам — пространство, время и вечность.

С. Эрдели, 9 января 1979
Златоуст

Николай Александрович, посетил Вашу выставку. Признаться, ничего не понял. Вас не хватает для объяснений. А вообще-то спасибо.

Н. Артёмов
январь 1979, Златоуст

Ухожу с выставки в смятении, взволнована, нужно всё осмыслить, ещё раз увидеть, чтобы лучше понять и разобраться. Как-никак я рядовой зритель, и если уж меня взволновали ваши работы, значит они талантливы.

З. Кирилловская,
7 апреля 1983

Задуматься задумался, но ещё не понял. Но уже сейчас могу поспорить с вами: искусство должно делать людей лучше, а если они ничего не поняли, они лучше не станут. А задумываются ведь не все.

Студент Ижевского мед. ин-та (подпись неразб.)
30 июля 1983

Очень тонко, прочувствованно, всё на сказочной недоговорённости, неясности... и — ясности, внутренней ясности души.

Лев Кропивницкий
1 сентября 1984

Раньше я таких работ не видел, и был бы счастлив сроду их не видеть, — ничего бы не потерял.

Г.И. Антонов
1 сентября 1984

Спасибо Николаю Эстису за то, что он думает душой.

В. Крицман, Москва
10 сентября 1984

Сейчас, сегодня и всегда смотреть на Ваши работы, дорогой Коля, большая и глубокая радость. Как хорошо, что есть такие художники. Я верю, что в будущем Вы будете ещё больше овладевать чувством и сознанием всех, кто соприкасается с Вашим творчеством. Это прекрасные листы — и композицией, и цветом, а главное — своим большим содержанием. Смотришь — и думаешь о главном, самом главном...

Р. Славуцкая
12 сентября 1984

Мазнина!

В. Пузанов,
6 октября 1987

Это сюрприз — приехать в Ново-Иерусалимский монастырь и нечаянно увидеть выставку художника.

Здесь я вижу настоящего мастера. Удивительно органичны темпера и тончайшее цветовое решение. Очень интересны разработки серий — "Композиция", "Деревья". Каждая серия закончена.

С. Вихорев,
18 октября 1989

Мазня всегда останется мазнёй, как бы это ни называли, хотя намазано со вкусом (смачно) и в оригинальной манере. Бездарности возвышают бездарностей, внушая, что в мазне "что-то" есть. Гнать надо Эстиса из Храма.

Без уважения,

А. Савельев

Как это понимать? Где ключ? Где искусство?

А. Павленко,
3 марта 1987

Дорогой Эстис-джан!
Очарована Вашими птицами, деревьями, композициями!

Катарина Мурадян,
15 июля 1987

Николай Александрович!

Увы, не согласен с восхищёнными отзывами о вашей выставке. Видимо, есть определённая категория людей — и очень большая! — которых не затронет ваше искусство. Лично я — сторонник реализма. Ваши работы выполнены в другой — иррациональной манере, они хороши по цвету, но собранные вместе, производят унылое впечатление, кажется, что всё это обилие материала, краски, бумаги лучше было бы использовать для более художественных и эстетических произведений.

В. Петрусенко, инженер (Москва)
7 января 1988

И всё-таки это лучше, чем водку пить.

Яков Деркач, главн. инженер (Днепропетровск)

Николаю Эстису — из Бодлера:

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана — больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо кинут на палубу — жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,

Распластавши на палубе сильные крылья,
Он, как вёсла, их жалко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным,
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, Поэт, ты царишь над грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.

Спасибо за выставку!

Раиса Пчелова,
12 ноября 1990

М-м-м... да-с! Наскальные рисунки пещерного человека — шедевры по сравнению с вашими "художествами". Ваши лапшеподобные фигуры, хаотичные пятна и судорожные мазки вызывают лишь грусть по настоящему искусству. Творите, Бог с вами, разве запретишь? Но — умоляем! — не выставляйтесь, не показывайте людям свою неумелость, скудость мысли. Да бывали ли вы в Третьяковке-то?! Неужто Третьяков приобрёл бы ваши "творения"? * Ну-ка, сообразите-ка. А в Русском музее бывали? Рекомендуем. Да, чуть не забыли! Один совет: попробуйте научиться рисовать. Просто рисовать.

подпись неразб.
Москва, 5 ноября 1990

---

* В 1984 г. Третьяковская галерея купила первую работу Н.Эстиса, потом ещё четырнадцать. Его работы есть в Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва), Пермской картинной галерее, Ярославском художественном музее, в Коллекции Костаки, в музеях США, Германии, Эстонии. — *Редакция.*

Не знаю, уважаемый Николай Александрович, как выразить впечатление от ваших работ. Мне кажется, то, что я сейчас переживаю, за меня прекрасно сказал Иосиф Бродский:

У всего есть предел; в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.

Всего вам доброго!

Игорь Савельев (Мурманск)
лето 1992

Наше вам!!
Чтоб все...
Шли туда...
Куда надо...

Русские

Изумительно! Это живёт рядом с Тышлером, Фальком, Зверевым.

Татьяна Егоршина, Рязань
ноябрь 1994

Николай, очень хороши два зала с „Птицами" и „Крыльями" — жемчужные тона, отлично построены композиции, настроение дают длительное, чистое.

Р. Щипарёва,
20 ноября 1994

Наслаждён, потрясён, одухотворён.

Л. Маркосян

Честно говоря, обе выставки* произвели на меня просто ошеломляющее впечатление. Можно без преувеличения сказать, что это — Филоновский формат.

С. Губайдулина
4 августа 1996

Это — большое счастье: иметь таких соседей!**

Виктор Суслин
4 августа 1996

---

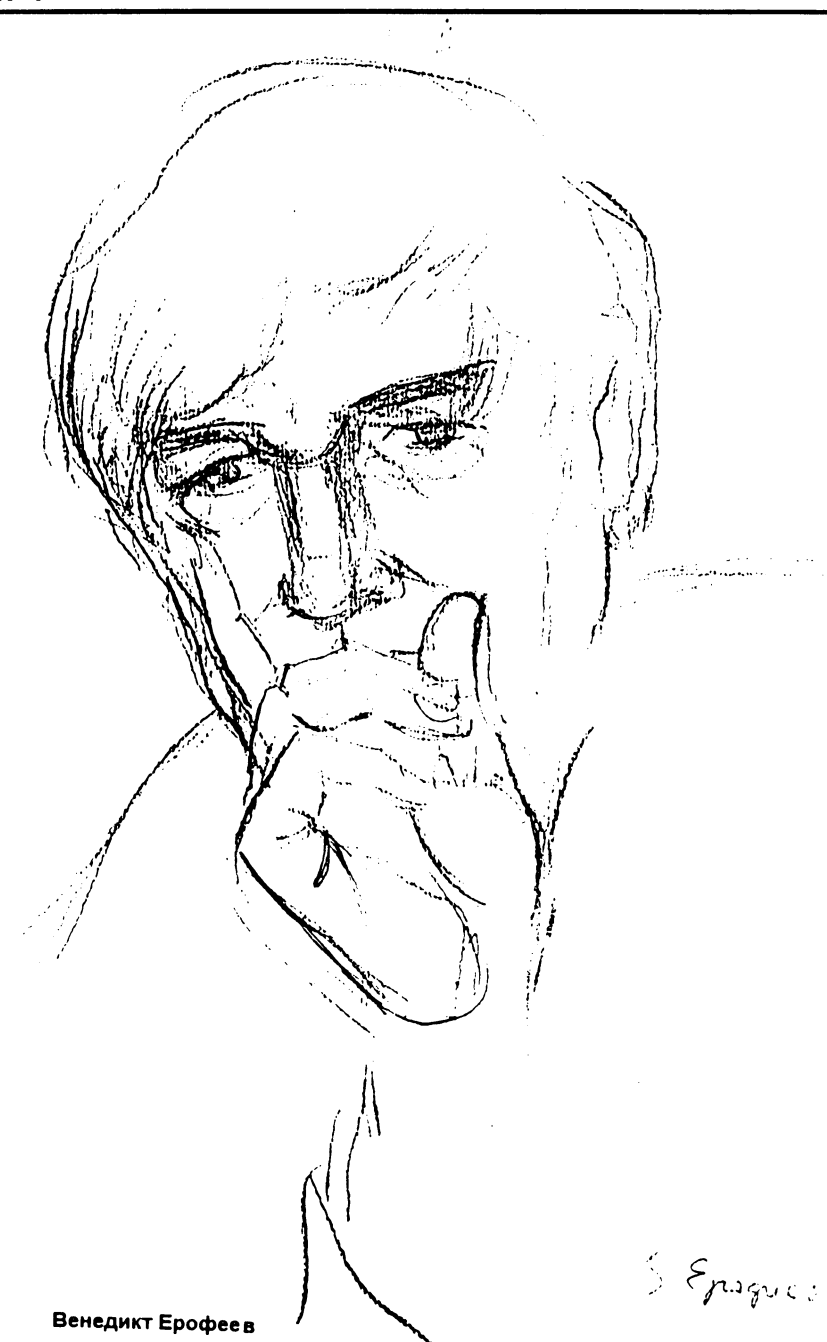
* Имеется в виду выставка Л. Шульгиной и Н. Эстиса в г. Утерзене (Германия) 4 августа — 8 сентября 1996 г.

** Запись композитора Виктора Суслина, живущего ныне, как и София Губайдулина, в немецком городе Аппен под Гамбургом.

Шесть рисунков Отто Новикова



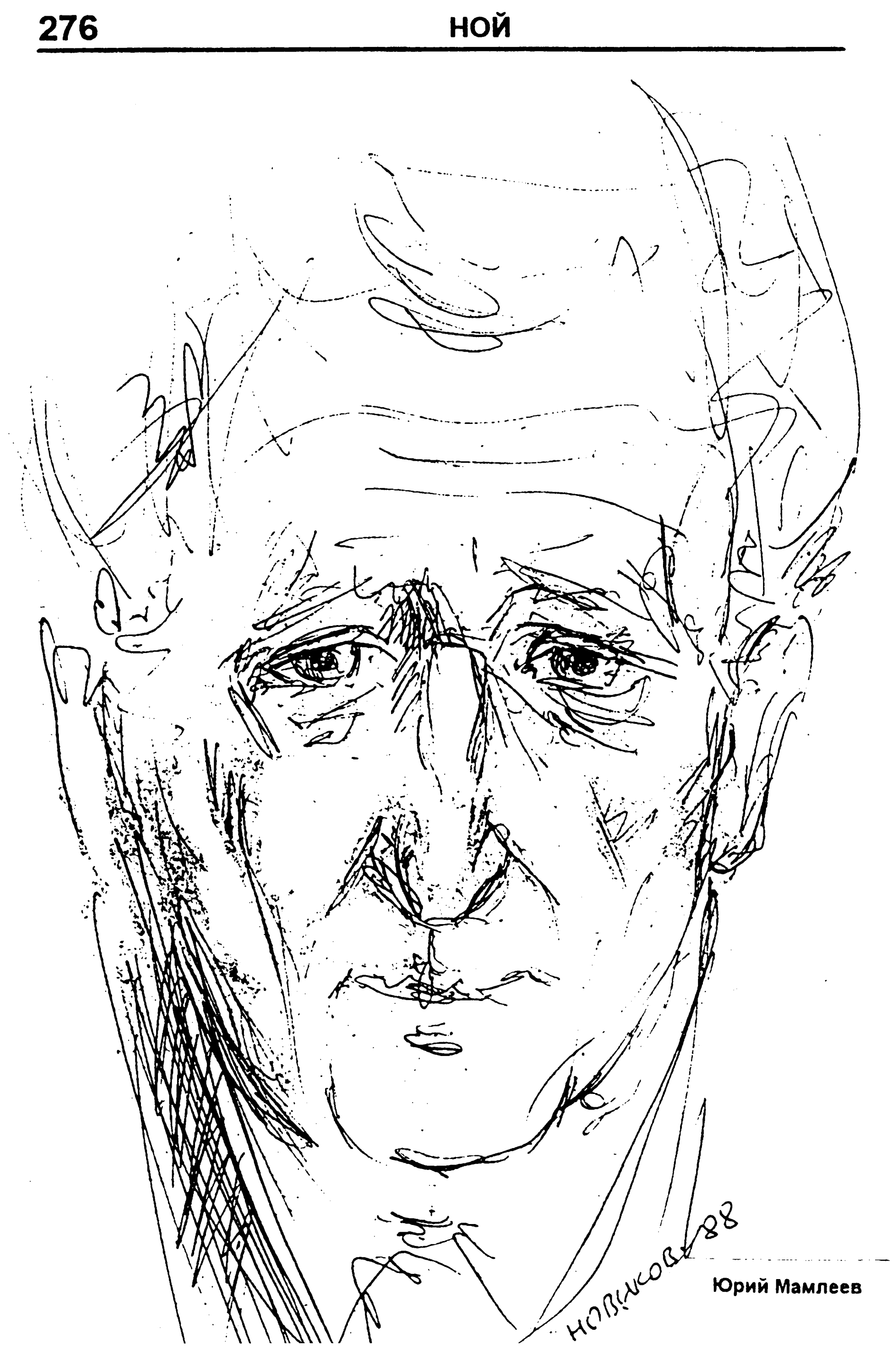
Лина Мкртчян



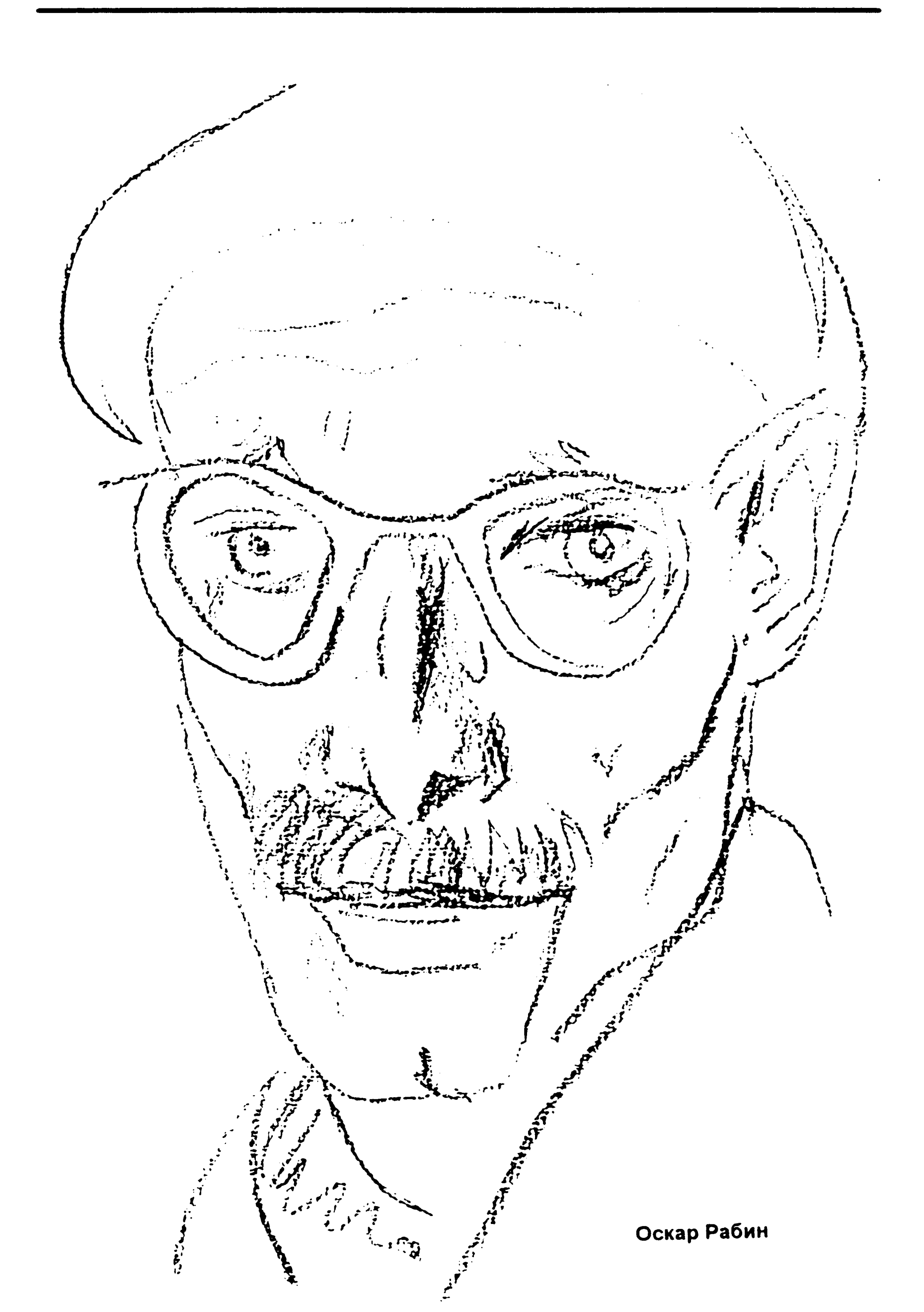
Венедикт Ерофеев



Юрий Кублановский



Юрий Мамлеев



Оскар Рабин



Михаил Шварцман

Дмитрий ТЕРЕХОВ

МАЛЕНЬКИЙ ПОРТРЕТ В БАРОЧНОЙ РАМЕ

записки художника

Иль, может, из моих друзей
Двух-трех великих нет людей?

Пушкин

Знаете, как бывает в музеях?

На пустой стене — маленький портрет в барочной раме. Сам он — темен и почти не виден. Зато кругом — резные листья со следами стертой позолоты, сатиры, нимфы, сюжеты королевских забав.

Рама стара и прекрасна, легка и суха. Ее не портят ни следы древоеда, ни отколы, ни трещины. Прошли века.

Теперь это уже что-то вроде короны, некий признак высшего достоинства, драгоценный ковчег, где сохраняется Дух.

Раскрытые створки удерживают шлифованное стекло, в котором совсем темно, только чуть светит серо-голубой взгляд, едва угадывается прекрасный купол лба, небрежный мазок воротника под старым лаком, да сургучное ухо, да складка от крыла носа к углу рта.

Остальное — ты сам. Собственное отражение. Смотри сколько хочешь. И все-таки...

Глава I. ЗНАКОМСТВО

Поедем, я готов, куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я.

Пушкин

И все-таки сначала надо познакомиться и сказать, что шел 1947 год.

Вот — моя мама, Лия Викторовна Терехова-Обни́нская. Она еще довольно молода. Ей чуть-чуть за сорок.

Она — дочь Виктора Петровича Обнинского, журналиста и публициста, трагически погибшего за год до революции и известного по своим книгам “Новый строй” и “Последний самодержец Николай II”.

Облик маминой матери, Клеопатры Александровны Саловой, на памяти у многих — благодаря прекрасному рисунку Серова “Дама с зайчиком”, сделанному в 1904 году, в год рождения моей мамы...

Подмосковный город Обнинск, каким-то чудом до сих пор носит это имя, хотя ударение перескочило на первую букву.

По семейным преданиям в доме Обнинских, стоящем и сейчас в руинах на окраине этого города, в 1812 году отсиживались от французов. Просто заперлись. А с крыши ночами было видно зарево над Москвой, полыхавшее за девяносто верст на северо-востоке.

Это о маме, для начала.

Теперь — Анюша, или Анна, или Анна Ивановна Трояновская — моя тетка, двоюродная сестра мамы. Ее отец — московский терапевт Иван Иванович Трояновский, а мать — Анна Петровна Обнинская — родная сестра маминого отца.

В 1947 году Анюше уже шестьдесят три, и она в полной мере — живой осколок прошлого. В начале века училась живописи в Париже, у самого Матисса, кроме того, одно время серьезно занималась пением в какой-то консерватории в Италии. Впоследствии прожила всю жизнь в Москве, была с незапамятных времен членом Союза художников и, не без успеха, преподавала пение, занималась дома, на Арбате, в Скатертном переулке.

Доктор Трояновский имел в жизни два великих пристрастия — искусство и орхидеи. В этой любви он был совершенно счастлив. Одна из лучших в мире коллекций орхидей принадлежала Ивану Ивановичу. И когда случился пожар и сгорело почти все, то со всего мира ему начали присылать клубни погибших цветов, и таким образом потерянное, казалось, безвозвратно было быстро восстановлено.

Лечились же у Ивана Ивановича почти все известные в то время художники и музыканты. Среди них были Левитан и Серов, а также Шишкин, Шаляпин, Рахманинов, Танеев, и даже Римский-Корсаков как-то приезжал к нему в Москву.

Анюша вспоминала:

— Тихий, вежливый человек с длинными бледными пальцами...

Дом Трояновских в Буграх был в четырех верстах от дома Обнинских. В Москве же обе семьи жили у Никитских ворот, в нескольких шагах друг от друга. Все знакомства были общими.

Это — Анюша.

А теперь — главное. Святослав Теофилович Рихтер.

Здесь ему тридцать два года. Москва только начала восхищаться его концертами. Еще было много людей, предпочитавших Софроницкого или Гилельса. Однако Большой зал консерватории, когда там играл Рихтер, уже бывал так переполнен, что ни о каких билетах в кассе и речи не могло быть.

Мама звала его Слава. Анюша — Славушка, Славенька; когда же речь заходила о серьезном — Святослав. И очень редко, за глаза, конечно, когда дело касалось каких-то государственных или культурно-мировых значений, Анна говорила: "РИХЬТЕР" — с мягким "Х".

— Рихьтер!

И глаза ее делались жесткими и наступательными. Тут уж — никаких поблажек! Она его защищала! Она любила его нежно и восхищенно, хотя и деспотически. А говоря о нем с нами, часто прибавляла слово "бедный".

Анюша читала по-французски и по-немецки как по-русски, — наверное, только чаще, чем по-русски. И слово "бедный" на этих языках, как выражение нежности, понимания, сострадания как-то естественно перешло в ее сознании на личность Святослава Теофиловича и прочно здесь утвердилось.

Анна Ивановна говорила:

— Святослав играет сегодня... Бедный мальчик! Он совсем болен...

Потом, помолчав:

— Господи, только бы ему начать.

Речь, помню, шла о вариациях A.B.E.G.G. Шумана.

Рихтер в те годы играл очень большие программы, и многое впервые в своей жизни. Поэтому каждый концерт был для него и для нее испытанием. Вариациями A.B.E.G.G. начинался один из таких концертов в Большом зале консерватории.

В этот день Анюша все как бы тихо напевала про себя простой немецкий мотив — первые такты и повторяла:

— Господи, только бы начать, ведь совсем, совсем болен бедный мальчик...

Чем же был болен Рихтер?

Страшной взыскательностью внутреннего слуха. Он был болен таким совершенством музыкального воображения, что никакие руки, даже его, никакая техника не казались ему достаточными для выполнения своих задач. Из-за этого до сих пор многим не понятна его беспощадность к себе, его постоянное недовольство собой. Особенно трудно, особенно страшно ему было начинать концерты.

И вот, в безмолвии переполненного, ожидающего зала, где слуховое напряжение так велико, что кажется осязаемым, он сидит за роялем, откинув голову, как бы вспоминая; то кладет, то снимает с клавиатуры руки, примериваясь; и вдруг неожиданно начинает... Он сыграл тему чисто и легко, и как будто издалека. Это даже не прозвучало, а словно донеслось в зал из увитого плющом старого немецкого окна, и началась шумановская поэзия. Вариации — одна лучше другой. Концерт с каждой минутой все больше захватывал зал.

Как во всяком великом искусстве, здесь счастливо соединялись противоположности. Размах и точность. Вулканическая мощь и бережность. Сила и нежность. Никто еще не играл так прозрачно, как Рихтер, так подчиняя себя автору и так всем НЕВИДИМО владея.

А ведь всего два часа назад он сидел за столом у Анны Ивановны и молчал. Иногда — тихо вздыхал, рассматривая стену, чуть двигая углом рта.

Так выслушивают тяжкое известие или думают о непоправимом. И на его лице появлялась горестная складка, как на старинном портрете, которую так мешало видеть отражение!

Сказать, что я любил Рихтера, — это ничего не сказать! Я опасался называть его по имени и отчеству. Я говорил ему только ВЫ с самой большой буквы. Он же хотел, чтобы я звал его Слава, что было НЕМЫСЛИМО для меня. И это ВЫ надолго осталось и только с годами перешло в спокойное и взрослое Святослав Теофилович. А он говорил иногда:

— Анна Ивановна, вы видите, как мне с Митей трудно? Он меня слишком уважает...

Многие годы я провел рядом с Рихтером. Судьба подарила мне счастье видеть его, есть, гулять, разговаривать с ним, часто быть рядом, когда он работал, слышать его рассуждения о музыке, литературе, живописи, о театре, о кино, я бывал почти на всех его московских концертах, и я совершил непростительное: ничего не записывал, не вел никаких дневников, не считал эти счастливые дни, которые складывались в годы, десятилетия, уходя и уходя... И сейчас я располагаю только его драгоценным присутствием в моей памяти. Только этим...

Итак, для начала, три человека.

Мама, Анна Ивановна, Святослав Теофилович... По ходу рассказа в освященный круг будут входить и навсегда уходить люди, знавшие и не знавшие друг друга...

Но с чего же все-таки начать?

Глава II. ЧУЖИЕ СЛЕДЫ

Прими собранье пестрых глав
Полусмешных, полупечальных...

Пушкин

Но с чего же все-таки начать?

А, с начала...

Послевоенная Москва лежала в кольце окружной железной дороги. Западные окраины начинались прямо у метро "Сокол". Это была последняя станция, и если ехать нужно было дальше, то пересаживались на трамвай или на троллейбус.

Уже здесь, у метро, жизнь была совсем деревенской. Одноэтажные деревянные домишки только крышами виднелись над кустами сирени и жимолости. Тут же пощипывали пыльную траву козы, перекликались петухи. Здесь кончалась Москва.

Район за железной дорогой назывался "Покровское-Стрешнево". Одна из его частей, поселок "Красная горка", состоял из четырех проездов, вдоль которых располагались небольшие зимние дачи на одну, две семьи, с садами, заросшими яблонями, георгинами и настурциями. Иногда, правда, практичные люди сажали тут что-то полезное, например, укроп, но почему-то больше было принято разводить цветы. Воду для поливки доставляли в ведрах, никаких моторов и шлангов тогда ни у кого не было. И в жару, вечерами у колонки бывали очереди. Это был своеобразный клуб. Здесь соседи общались, корректно разговаривая на бытовые темы.

Красную горку, в основном населяли семьи польско-латвийского происхождения.

Поселок огибался рижской железной дорогой, и поворот здесь был так крут, что идущий состав не просматривался одновременно с первого и последнего вагонов, где были таможенные посты. Это давало возможность рижским контрабандистам выбросить в какой-то момент свой груз и беспрепятственно миновать таможню на вокзале. Выброшенное поднималось сообщниками или родственниками. Так некоторые объясняли национальный состав этого местечка. Но можно ли было верить в наши ясные сталинские времена столь романтической версии?

Итак, центр поселка являл собой перекресток с колонкой и телефонной будкой. Тут же находился двухэтажный дом архитектора Гофмана, строителя здешних дач, выдержанный во вкусе северного модерна. Напротив — дом семейства Гражец. Состав его был не совсем ясен. Замкнутость, такая частая для тех времен, надежно скрывала все,

что там происходило. Лишь один его обитатель Феликс, высокий, молодой латыш, регулярно появлялся с ведром у колонки, холодно и вежливо здоровался и погружался в созерцание своих ног...

Через несколько дач жила старушка Цявловская, родственница известной пушкинистки Татьяны Григорьевны Цявловской. Рядом с ней — семья инженера Златолинского с полупарализованным сыном по имени Орест. Мы же делили кров с семейством Недзвецких, вернее с малой частью, оставшейся от него: двадцатитрехлетней вдовой Марусей — Марией Ивановной, и ее совсем еще маленьким сыном — Витей.

Мужчин в поселке почти не было. Кто-то не вернулся с войны, кто-то был арестован...

У нас же в те годы, иногда, тайно, гостил близкий друг моих родителей, человек очень примечательный.

Еще до революции он стал летчиком-испытателем. Летал вместе с Нестеровым. В советское время, до тридцать седьмого года, был каким-то крупным авиационным офицером, учил Громова и Чкалова. В тридцать седьмом — арест, тюрьма, лагерь. Через десять лет, уже стариком, он оказался в Чистополе, на поселении без права выезда. Изредка ему все же удавалось тайно приехать в Москву, повидать семью. Останавливался он в нашем доме, что было крайне опасно и для него и для нас...

С его приездами все замирало. Мне строго запрещалось приводить в эти дни товарищей не только домой, но и во двор. Окна занавешивали, а если кто-то все-таки случайно приходил, то его дальше порога не пропускали и мама вела разговор прямо на крыльце. А в это время наш тайный гость был уже на чердаке или в подвале и там исчезал совершенно, имея опыт долго преследуемого человека.

В один из таких дней, поздним летом или ранней осенью, я бежал домой после какой-то уличной игры. И вдруг на песчаной дорожке от калитки к дому увидел чужие следы. Это были узорчатые отпечатки подошв дорогих заграничных ботинок. Я обмер. Тихо и осторожно дошел я до угла дома и выглянул. Мама, стоя на ступеньках крыльца, улыбаясь, разговаривала с высоким, довольно молодым человеком.

Он был явно не нашей среды. Какой-то другой. Рыжие, короткие волосы над куполом лба, прямой, небольшой нос и чуть выдвинутый подбородок. Его лицо и руки, покрытые красным загаром, красивая голубая рубашка с нагрудными карманами и бежевые брюки — все говорило о нем, как о человеке издалека. Мой страх стал уступать место любопытству. Я подошел. Слушая разговор, я разглядывал его лицо. У него была широкая добрая улыбка и загадочно-привлекательные серо-голубые глаза. Но опять-таки они были какие-то не наши. Потом, уже

взрослым, я прочел о таких глазах у Томаса Манна: *"Глаза цвета далёких гор..."*

Он показался мне иностранцем, прекрасно говорящим по-русски. Едва уловимая мягкость в произношении шипящих, какое-то полу "Ж", полу "З", еле ощутимый намек на нерусский акцент.

Он: — Анна Ивановна прислала со мной два билета в консерваторию. Вот. Если будете иметь время и желание...

Мама: — О, спасибо. А кто играет?

Он: — Один пианист.

Мама: — Кто же?

Он: — Вы его вряд ли знаете.

Мама: — А Вы кто? Как Вас зовут?

Он: — Меня? Слава.

Мама держит билеты, и ей явно неловко. Он так обаятелен, так воспитан, вежлив, приехал специально затем, чтобы передать билеты, а в дом-то пригласить нельзя. Да, неудобно. Оба чуть-чуть смущены. Ну, до свидания...

Он шел к калитке, печатая обратные следы. Из-под брюк видны задники светло-коричневых ботинок. Один из них надорван по шву, как бывает, когда долго надевают обувь, не развязывая шнурков.

На другой день мы увидели нашего вчерашнего гостя. Он почти выбежал на эстраду Большого зала консерватории, развевая полы фрака и отвечая на горячий прием, очень низко поклонился налево, направо и прямо, как бы раскалывая рукоплещущий зал ровно пополам!

Помню общее. Прекрасную рыже-красную голову, и купол лба, и сургучное ухо над белым лаком стоячего воротника. Его профиль был совсем уже не вчерашний. Закрытые временами глаза и складка от крыла носа к углу рта. Он играл. У него не было темпов, у него было движение и дыхание музыки широкие и естественные, как природа. Звук рояля богат как оркестр. Нет! Это было больше и лучше, чем конкретно материальный оркестр. Это был оркестр, только на уровне САМОЙ МЫСЛИ! Естественно, что понял я это намного позже. Тогда же я это только ощутил.

Иногда он стал бывать у нас. И эти приходы, и эти концерты были для меня и праздником, и серьезнейшим содержанием моей еще полудетской жизни.

Он говорил мне "Вы" и относился ко мне не как к сыну своих друзей, а как к своему собственному, очень молодому другу, и это наполняло меня гордостью и восторгом.

Так в эту осень вошел в мою жизнь Святослав Теофилович Рихтер. Я много рисовал его профиль на клочках бумаги, стараясь никому не показывать моих рисунков. Купол лба, короткий прямой нос и

эта горькая складка от крыла носа к углу рта, которую я так хочу уловить теперь сквозь свое отражение и не могу. Темно... Такая рань, а уже темно!

Глава III. ЗИМА

Зима, что делать нам в деревне...

Пушкин

Такая рань, а уже темно. На дворе давно холода. В доме от сырых дров пахнет лесным костром, а тепла все-таки нет. Очень редко, по вечерам, давали электричество, но в основном пользовались “коптилками” — маленькими склянками с фитилем. Эта чадящая лампадка света почти не давала, и если что-то терялось, то до утра. Руки мерзли на холодной клеенке. У печки немного теплее. Тень от маминых плеч и головы — на стене и потолке. Против слабого света ее волосы золотятся и обрисовывают светящимся контуром темную голову. В углах плоско и черно.

С темнотой приходила тоска. Морозило так, что под кроватями был иней. Шла глухая страшная зима. Говорили о какой-то банде, об убийствах, об исчезновении людей. Если кто-нибудь поздно возвращался, его встречали у трамвая.

Еду составлял в основном здорово подмороженный картофель. Чаще всего его пекли в золе печки и долго, с наслаждением, грели им руки, перебрасывая с ладони на ладонь.

Так же холодна и темна была школа, наполненная обозленными, испуганными мальчишками. Возникали жестокие и опасные игры. Развлекались, скатываясь по лестничным перилам, всей тяжестью опираясь на ладонь. Это доставляло бездну удовольствия, если рука не натыкалась на аккуратно вставленный в поручень кусок бритвы.

И все же было и хорошее! У нас прекрасно преподавалась литература. Основные сочинения программы читались на уроках вслух. В эту зиму было много Пушкина — “Повести Белкина”, “Дубровский”, “Капитанская дочка”. Это занимало значительное время. Иногда захватывались и послеурочные часы.

Темными вечерами на учительском столе горела свеча. Электричества не было и в школе. А нас, полуодетых, голодных детей старались научить любить наш язык, хорошо говорить и писать по-русски.

Другие предметы тоже, по-видимому, преподавали неплохо. Из моих одноклассников вышло несколько известных в науке людей, но к точным дисциплинам интереса я не проявлял, и в памяти от этих уроков у меня ничего не осталось.

Свои тетради по математике и физике я покрывал рисунками, среди которых видное место занимал Рихтер, его профиль, фигура во фраке, рояль... И снова — лоб, нос, подбородок и складка от крыла носа к углу рта.

А холодам и потемкам, казалось, не будет конца. Под нашим мостом была найдена занесенная снегом женская голова. Приезжала милиция с фотографом и следователем.

Победившая Москва была временами ужасна. Город мерз, голодал и всячески страдал.

А в Большом зале консерватории — концерт из произведений Баха. Рихтер — Дорлиак.

Английские сюиты, песни-хоралы с Ниной Львовной, Итальянский концерт, A moll'ная фантазия и фуга.

Великие музыканты играли великую музыку для победившей столицы, где было так много несчастных, потерявших все, отчаявшихся людей.

С этого времени на долгие годы для меня самое прекрасное начиналось с Баха.

Однако все имеет свой конец.

Глава IV. БАЛ

И блеск и шум и говор бáлов...

Пушкин

Однако все имеет свой конец. Пришел конец и этой зиме. Уходили в прошлое ужасы войны. По вечерам везде уже был свет, и наша лампа, еще из дома Обнинских, уютно и низко горела над столом. Чаще приходили гости, иногда допоздна велись интересные разговоры.

Вернулось радио! (Ведь во время войны все приемники были взяты государством, дабы вражеские голоса не смущали сердца наших граждан).

Святослав Теофилович и Нина Львовна получили двухкомнатную квартиру в новом красивом доме на улице Левитана, в поселке “Сокол”.

Теперь мы жили совсем близко. Если пройти минут семь небольшим лесом, а затем перешагнуть несколько путей окружной дороги, то окажешься прямо под аркой их дома, прямо под их балконами на четвертом этаже.

Было решено новоселье отметить балом. Но во что же одеться? Все были так бедны, хорошей одежды ни у кого не было. Тогда было объявлено, что хорошо одетых на бал просто не пустят. Все должны были надеть все самое худшее. И даже если у кого-то окажутся целые брюки, то на них надо обязательно нашить заплаты.

На один вечер новая квартира становилась трактиром. Трактом же считалась железная дорога, проходившая прямо под балконом.

Мама шила мне заплаты, а я думал, что бы принести им сегодня. Конечно же, много сирени. Она росла под нашими окнами и была так крупна и пышна, что казалась прохладным куском благоуханной белой пены. Ну, что же еще? Что бы могло быть в трактире? Петух? А хорошо бы. И я решил: нужно живого белого петуха!

Пришел к нашим дальним соседкам, милым пожилым женщинам, жившим в маленькой даче, где всегда пахло старым деревом и яблоками.

В их опрятном хозяйстве, на задворках, обитали несколько кур под началом прекрасного громадного петуха. Это был ослепительной белизны красавец, красноглазый, тяжелый и полный самых бесспорных мужских достоинств.

Мне открыла дверь одна из хозяек.

Я: — Ксения Петровна, здравствуйте. У меня к Вам большая просьба: дайте мне, пожалуйста, на один вечер Вашего петуха. Я хочу взять его в гости.

Сказал и вижу, как она растерялась. Что это? Глупая мальчишеская выходка, или я потерял рассудок?

Тут я рассказал, что Святослав Рихтер получил квартиру и пригласил нас сегодня на новоселье. Объяснил все. Одеться не во что, принести нечего. И так как большинство в таком положении, то и решили сделать что-то вроде трактира, чтобы все были одеты одинаково плохо, и никто бы не чувствовал свою бедность.

— Ну, словом, не дадите ли петуха? Его никто не обидит и, может быть, даже покормят. А завтра утром я Вам его принесу.

Ксения Петровна была человеком умным и с юмором. Рихтера слышала по радио.

Петуха я тут же получил, посадил его в хозяйственную сумку с молнией, надел заплатанные брюки и взял букет...

Дом Рихтера был полон людей знакомых и не знакомых. Мебель еще не привозили, и только один новый платяной шкаф стоял в углу, блестя створками.

У двери — молодой Ростропович, в зеленой рубахе и с гитарой. У него здесь было три обязанности: он был распорядителем, то есть встречал и провожал, он был в ответе за трактирную музыку, он же был и "вышибным". Если кто-нибудь, расшумевшись, переходил границу приличия, "вышибной" приближался и, не поднимая рук, резко таранил виновного животом (этим мягким толчком общество освобождалось от нежелательной персоны и порядок моментально восстанавливался).

Святослав Теофилович, как и все, плохо одетый, восхищался букетом, размером едва ли не с дерево. Потом сирень куда-то передали, и мы нагнулись над сумкой. Я дернул молнию. Сжавшийся петух ошалело тряхнул головой и вдруг взорвался пухом, хлопками, ветром! Мы оба отпрянули — оба не ожидали. А что, собственно — трактир как трактир. Петух же начал метаться, он бился то о ноги, то о плечи и лица, стараясь найти убежище, шумно спасаясь, издавая клекот и серьезно пугая дам. Что было делать?

Я посадил его на шкаф. Он, к счастью, скоро там успокоился, принял свою величавую осанку и красиво стоял боком, Кося красным глазом на развеселившихся людей. Потом медленно и величаво, как фрегат, повернулся задом, и на лаке створок появилась известковая вертикаль...

Утром петух был передан в руки смеющейся Ксении Петровны. Так кончился праздник. Надо было жить дальше.

Глава V. БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем.

Пушкин

Надо было жить дальше. Однако мы почти голодали. Садясь за стол, мама клала мне и старшему брату (приемному сыну моих родителей) по кусочку хлеба. Мой кусочек исчезал моментально, и оставался пустой суп. Брат как-то отозвал меня и сказал серьезно:

— Когда садишься за стол, следи, чтобы хлеб был у тебя до конца обеда, а то мама плачет...

Рихтер любил и умел много ходить. Его прогулки растягивались на целый день. Он мог пройти сразу 30 — 40 километров. Уезжал он обычно с Ленинградского или Белорусского вокзалов, а кончал прогулку на какой-нибудь станции Рижской железной дороги, откуда на электричке рукой подать до Покровского-Стрешнева, и можно попасть домой уже без московского транспорта.

Однажды весной, вечером он появился у нас с авоськами в обеих руках. В каждой находилось по одной трехлитровой банке и по шесть бутылок, очень плотно закупоренных. Он целый день собирал для нас березовый сок...

Наша крыша была крута, но над серединой дома имелась небольшая, слегка наклонная, площадка. Если посмотреть отсюда на западный склон, то можно было видеть треугольное отверстие в железе, много раз заклеенное прокрашенными тряпками. Сюда каким-то чудом попал осколок немецкой бомбы.

Если же лежать на площадке вверх лицом, то очень скоро начинало казаться, что небо не над тобой, а внизу, и что ты плывешь над ним, и его тонкий пар смещается слоями на разных глубинах, то прикрывая, то открывая его синюю бесконечность.

Рихтер пришел к вечеру. Мама что-то готовила на керосинке, а он говорил с нами о Дебюсси. А потом играл отрывки из “Моря”, наполняя две наши деревянные комнаты чем-то совершенно несоразмерным с домашним обиходом. Ночью через подоконник валил сырой лесной воздух...

Пасха в этом году была поздняя. Мы с Анюшей решили подарить Рихтеру пасхальное яйцо, но хотели, чтобы оно было очень большое. Долго думали, как его сделать. Было уже тепло. Можно работать во дворе. Там, на садовом столе, были сделаны из глины две впалые полуформы, идеально совпадающие при наложении. Затем в них была многослойно вклеена газетная бумага. Она мялась, но в целом форма была хороша. Когда все окончательно высохло, получилось большое, правильное газетное яйцо, легкое и жесткое. При постукивании оно издавало сухой гулкий звук. В него была вклеена суровая нитка с петлей. Что-то рисовать на нем не хотелось, а выкрасить одним цветом казалось слишком просто.

Мы изобразили на нем небо. Все яйцо — бесконечное небо, с темной глубиной, слегка прикрытой многослойным прозрачным паром. Да это получилось уже и не небо, а только его глубина, и это странно противоречило выпуклой форме. Хотелось как-то возвратить яйцу его разрушенную глубиной поверхность. И вот появились нерегулярные

белые мазки. Это не были птицы, а только как бы их полет или оброненные перья, медленно оседающие в синеве...

Святослав Теофилович был доволен и мыслью, и выполнением. Он пригласил меня красить пасхальные яйца. Мы работали целый день и не сделали ни одного похожего на другое, а выкрасили ровно сто штук.

Была чудесная Пасха. Голубое яйцо висело под плоским плафоном лампы и тихо поворачивалось вокруг оси.

Гости уже ушли. Недавно начавшаяся ночь была наполнена звучащей тишиной. То дальний паровозный гудок, то перестук колес пустых вагонов...

Святослав Теофилович выглянул на балкон и кивнул мне, чтобы я вышел. Мы стояли, наклонившись над перилами. Далеко внизу отсвечивал фонарями асфальт. Святослав Теофилович вынул из кармана перегоревшую лампочку. Она тут же оказалась за перилами. Одновременно мы бросились в узкую дверь и, застряв там, услышали хлопок. Потом еще откуда-то появились лампочки, уже не перегоревшие. Хлопок и еще хлопок. К счастью, прохожих не было.

На улице пусто, сыро и тепло. Весна переходила в лето.

Глава VI. ДАЧА

Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна иная, старая весна?

Пушкин

Весна переходила в лето. Анюша снимала дачу почти рядом с нашим домом — всего двадцать минут на автобусе по Волоколамскому шоссе.

Простенький городок Красногорск был уже принарядившийся и немного подкрашенный после войны.

Здесь строили незатейливые домики, сажали молодые яблони и смородину в явной надежде на какое-то будущее. Эта мелкая россыпь молодых хозяйств как крупа покрывала невысокие зеленые холмы с розовевшими местами карьерами.

Грязная речушка, перегороженная плотиной, шумела, а в тихих водах запруды отражались зубчатые стены и башни дореволюционной ситцевой фабрики, смахивающей на оперный замок.

Домик Анны Ивановны принадлежал пожилым молодоженам. Им было лет по шестьдесят. Хозяин просто не мог дня прожить, не подкрасив какую-нибудь царапину на стенах или наличниках своего дома, и так уже лоснившегося голубым и белым. Сад цвел и благоухал, а за ним стройными рядами были спланированы грядки.

Хозяева, очевидно, так любили друг друга, что не могли и минуты прожить врозь.

Внутри их новой бело-голубой уборной имелась гладко выструганная и покрытая лаком доска. В ней трогательно соседствовали два круглых отверстия. Одно — побольше, другое — поменьше. Это нас смешило, и мы по очереди вспоминали всякие классические пары — кто больше: Пелиаз и Мелизанда! Филимон и Бавкида! Ацис и Галатея! Такие же, как Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, Тристан и Изольда имели меньшую стоимость по причине своей сверхизвестности.

У хозяев был пес Джульбарс. В целом — немецкая овчарка. Но Красногорск есть Красногорск, и поручиться головой за чистоту породы Джульбарса никто не мог. Однако пес весил килограмм пятьдесят, был бурно приветлив и от радости мог легко сбить с ног. Из всех нас Джульбарс явно выделял Рихтера. Ведь только он был в силах держать эту огромную собаку на руках, животом вверх, как ребенка. Так они оба любили иногда погулять по саду. Мы хохотали, а хозяева деликатно посматривали издали и как бы не замечали.

Ели на маленькой террасе. Место Рихтера было у окна. Его огромный загорелый локоть висел над дорожкой. Готовила Анна всегда с любовью, но особенно когда бывал Святослав Теофилович. Тогда она просто священнодействовала у двух керосинок, и эти трапезы были великолепны и изобретательны.

Вот мы за столом. С нами Наталья Владимировна Сапожникова, старинная подруга Анны. Попросту — Пуша. Это бывшая фрейлина последней императрицы. Теперь же она стара, глуха и бесконечно добра. Фиолетовая от сердечной недостаточности, чуть вывернутая нижняя губа делает ее лицо почти детским. Это — дивная душа, всем понятная и симпатичная.

Итак, Наталья Владимировна Сапожникова сегодня с нами. Она почти не слышит разговора и поэтому не может во всем участвовать. Живет чуть-чуть отдельно.

Анна (очень громко):

— Пуша, я Вам кладу! (Тут надо подставить тарелку.)

Не слышит.

Анна:

— Пу-ша! (Это уже пронзительная терция.)

Опять не слышит.

Анна:

— Ж..А!!!

Теперь слышит, то ли понимает, то ли нет. Поспешно кивает головой, а Рихтер на всякий случай торопится бросить спасательный круг:

— Анна Ивановна, а как Вы мне рассказывали про монастырь кармелиток в Венеции, помните?

Обедаем и слушаем про монастырь. Это занятно и рассказывается артистично. Потом гуляем втроем, без Пуши, ей трудно ходить. Она моет посуду.

Фабрика — Шильонский Замок. Воскресение. За разливом речки — костры. Жгут всякий хлам. Что ж, все хотят жить по-новому.

Глава VII. ИНСТИТУТ

В начале жизни школу помню я.
Там нас, детей беспечных, было много.

Пушкин

Что ж, все хотят жить по-новому. И правильно. Рихтеру присудили Сталинскую премию, и они с Ниной Львовной переехали теперь в самый центр, в дом Союза композиторов, в большую квартиру, где даже с двумя роялями кажется просторно. Но стены так звукопроводимы, что заниматься трудно, мешает музыка соседей, ведь в этом доме все музыканты.

По-новому решил жить и я. Прежде всего нужно было бросить школу. Будучи в восьмом классе, понял:

— Больше не могу. Все!

Разговаривать дома об этом не хотелось, и утром я уходил с портфелем болтаться по улицам. Какое это было время! Как играла фантазия, как сладка была эта одинокая уличная свобода!

Влиять на меня было некому. Брат уже жил своей семьей. Все выяснилось через полгода. Дома началось смятение, но поправить положение уже было невозможно.

В это время в художественном институте, в виде исключения, принимали и без законченного школьного образования. Конечно, такое бывало очень редко. Счастливчики занимались вечерами на специальных курсах и, уже студентами, кончали десятилетку.

Первый серьезный экзамен — рисунок. Конкурс — десять человек на место. Рисовали два дня по шесть часов. В зале, уставленном мольбертами, тихо и напряженно. Дежурный педагог строго следил за ходом экзамена. В конце второго дня в зал вошел худой высокий старик со старомодной тростью и медалью лауреата Сталинской премии. Он быстро осмотрел рисунки, вынул какой-то затертый листок, сделал пометки и ушел. Дальше меня ждала катастрофа — шестнадцать ошибок в диктанте! Сдавать остальное было бессмысленно и я махнул рукой на образование.

Через две недели захожу в институт за документами и вижу свою фамилию в списках принятых. Уверенный, что это ошибка, иду в ректорат, где мне объясняют, что мой рисунок понравился профессору Егорову и он берет меня в свой класс. Это было счастье, упавшее прямо с неба. Теперь не будет армии, я остаюсь в Москве, с мамой. Я — студент...

Профессора Егорова звали Владимир Евгеньевич. Он был народный художник, лауреат и абсолютный авторитет в институте. Это был известный сценограф еще со времен "Серебряного века", еще с Русских театральных сезонов в Париже, где с огромным успехом шли его спектакли. Некоторые егоровские постановки дожили до наших дней. Школьником я видел его "Синюю птицу", поставленную чуть ли в 1911 году в дивных декорациях — гравюрах. А о его работе с Эйзенштейном и Прокофьевым в советское время поговаривали вполголоса. Ведь официальный взгляд усматривал здесь формализм. И хотя Егорова иногда и поощряли, но не за это.

Однако в институте Егоров мог все. Мог и выбирать себе студентов, как выбрал, вернее подобрал меня.

Егоров занимался только с мальчиками, и то после очень непростого отбора. Занятия шли в большом классе, почти зале. Курс делился на две группы, которые работали в одном помещении, сидя раздельно, каждая возле своей модели.

Егоров, как я уже сказал, вел только мальчиков. Другую группу в большинстве составляли, естественно, девочки. У них был свой педагог — тихий, близорукий доцент Дмитриев. Егоров не замечал ни Дмитриева, ни его девочек, не считался он и с чувствами наших молоденьких натурщиц. Бывало трудно. Лестница опиралась прямо на небо, и нужно было как-то карабкаться.

Все рисовалось на больших листах самым мягким карандашом, почти гуталином, одной линией, не отрывая руки, без всяких стираний. Если же что-то срывалось, лист переворачивался, и это была уже четверка. Если же и на обороте не получалось, то неудачник надол-

го отправлялся работать в морг. Мы все попеременно через это проходили.

В морге с ножом и карандашом, бодрясь изо всех сил, мы изучали, КАК устроены милые тела наших натурщиц.

А в классе тем временем занятия шли со своим драматизмом.

Конструкция и форма изучались в одновременном сопоставлении. Натурщицы стояли в обнимку со скелетами. Все это отдавало средневековьем. Многие не выдерживали. Случались истерики, вплоть до обмороков. Егоров не щадил никого, и мы перед ним были еще более голы, чем наши модели.

Как ужасен был егоровский гнев! Увидев ошибку или ощутив какой-то компромисс, он бил резиновым концом своей палки в неудачное место рисунка, оставляя круглые, буро-черные, нестираемые следы.

Палка металась от рисунка к живому телу, чертя овалы и треугольники широко и размашисто, почти задевая беззащитные животы и ключицы, колени и переносицы.

Эти грозы были страшны, но непродолжительны, Егоров быстро уставал. Он вдруг замолкал и величественно возвращался в свое кресло, где совершенно уходил в себя, оставляя потрясенную аудиторию переживать происшедшее. Он же долго сидел неподвижно и вдруг начинал декламировать.

Например:

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?

Он читал, выкрикивая смысловые акценты, и вдруг замолкал на полуслове и опять впадал в тихую прострацию, безразлично смотря перед собой старыми глазами.

Так продолжалось изо дня в день. Все его страшно боялись. И вот, когда напряжение и усталость от него достигали последних пределов, он неожиданно делался ласковым, почти нежным, говорил печально и как бы виновато "дорогие друзья" и немного церемонно, по-старинному, звал всех к себе домой, к роскошному столу, уставленному водкой и дорогими закусками.

В его старомосковском профессорском доме хозяйничала пожилая приветливая дама с аристократическим лицом, величавой осанкой и старинной брошкой на строгом платье. Встречая, он потупясь говорил смиренно, что это его натурщица и он вот уже тридцать лет изменяет с ней своей покойной жене...

Сейчас в Шехтелевском фойе Художественного театра висит большая парижская фотография нашего несравненного Владимира Ев-

геньевича. На ней он молод, красив, в изысканном белом смокинге и с таким же белым цилиндром на коленях. А в драгоценных створках ковчега из темноты стекла безразлично смотрят перед собой старые глаза испанского портрета...

Но даже эта выдающаяся личность, даже эти драматические уроки не могли удержать меня в кругу институтских дел.

Я начал пропадать в консерватории. Особенно меня интересовали репетиции дирижеров.

Бацилла музыки от Рихтера вовсю бушевала во мне. Это было захватывающе. Феран Кинэ, Курт Зандерлинг, Янош Киференчик, Франц Конвичный, Герман Абендрот!

Я слышал, что они говорят оркестру, чего хотят, и видел, как это достигается.

Курт Зандерлинг репетировал “Реквием” Моцарта. Он долго добивался баланса струнных и меди, потом спрыгнул с эстрады и, дирижируя, ходил между рядов, слушая из разных мест. Наконец, указав куда-то в сторону портрета Шуберта, он крикнул, чтобы трубы были направлены туда. Так ставилась эта музыкально-пространственная драма. Ну можно ли было отказаться видеть и слышать это?! А как завораживающе выглядели партитуры, где на каждой странице размещались всего одна или две строчки! Эта толпа интонаций, красок и тембров, летящая в самом времени на пяти линейках!

Так проходил мой первый год в институте. К концу зимы, когда отсыревшая Москва чихала и кашляла, я впервые попал в мастерскую Фалька.

Лавина новых впечатлений захлестнула меня как морская пена, полная жизни, бодрости и здоровья.

Сатиры били в литавры, играли нимфы вокруг темного стекла!

Глава VIII. У ФАЛЬКА

Ты царь. Живи один.

Пушкин

Сатиры били в литавры, играли нимфы вокруг темного стекла. И оно, сверкнув, пропустило нас в респектабельный вестибюль Перцовского дома.

Пологая, широкая лестница легко поднимает вокруг пятиугольной глубины. Вот и тихий коридор четвертого этажа. Как высоки, как добротны здесь двери! Какие громкие имена начертаны на латунных дощечках! Здесь мастерские художественной элиты. Стараясь не шуметь, идем до конца этой галереи авторитетов и видим, наконец, незаметную маленькую дверь. Здесь кончается парадность. Винтовая лестница ведет на чердак, к Фальку. Напыщенная буржуазность, внушительность сразу уступают место подлинно художественной красоте.

В жилище Фалька прежде всего поражало пространство и цвет.

Многоугольная мансарда с косыми стенами, переходящими в потолок через балки и какие-то дополнительные изломы, освещалась двумя окнами. Одно, ровное, выходило на реку и Кремль, и вечерами в нем были видны красные звезды; другое, косое к полу, открывало звезды на небе. Окна никогда не занавешивались, и их звездное содержимое было своеобразным поэтическим эпиграфом протекающей здесь жизни.

Мастерская была и причиной и следствием фальковской живописи. Тонко цветной воздух, как будто чуть пыльный, серебристый, сыровато-туманный, окутывал стол, старое кресло, пианино с театральным макетом, нелепо стоящее посреди мастерской. Здесь реальность выглядела, как живопись, как еще не написанные картины, очень глубокие, полные автобиографического драматизма. Скудная еда на столе — непреднамеренно составляет натюрморт.

Фальк, тихо разговаривая, иногда берет что-то со стола, медленно жует. Проглатывает. Потом опять долго разговаривает. Так он мыслит, чаще молча, иногда — вслух, если есть посетитель. Так он ест — по кусочку, между делом. Я никогда не видел обедающего Фалька.

У него был оливковый цвет лица. Автопортрет в красной фреске очень похож. Настоящая автобиография в живописи, полное выражение его духовного и физического состояния.

Был ли Фальк болен? И да, и нет. Конечно же — да. Ведь еще так недавно он потерял на войне сына. Но можно ли говорить о болезни великого художника, работающего день и ночь, ежедневно продолжающего совершать свое восхождение, на этом многоугольном чердаке, с косыми окнами, за которыми уже одни только звезды?..

Был ли Фальк беден? На этот вопрос у меня тоже ответа нет. Был ли беден Сократ? Или Диоген?

Он был абсолютно свободен и абсолютно, по-видимому, одинок. Бесчисленное количество жен в его жизни лучше всего говорит, до какой же степени был одинок Фальк.

Его последняя жена Ангелина Васильевна Щекин-Кротова, отдавшая всю жизнь этому замечательному художнику, уже тогда была с ним. Ее ежедневным трудом, заботами, даром многое предвидеть стоял и охранялся этот дом, вернее жизнь и искусство Фалька.

Он же сам, казалось, существовал один, в мире своих изображенных пространств, в мире своих загадочных портретов, где лицо являло полную духовную сущность человека, переходя почти что в лик, и в то же время было написано, ощупано светом и кистью, как натюрморт. Такие портреты являли собой невиданную полноту, единение мысли и формы. Все это тихо светило и наполняло мастерскую, путая реальное и изображенное.

Здесь как-то не шутилось, не смеялось, а подавленности никакой не было. Все было спокойно, без поспешности и серьезно. Время здесь измерялось сеансами. Портрет Габричевского, например, писался более ста сеансов.

Фальк сидел в кресле, немного наискось к холсту. На коленях просторная старая палитра с горами красок по краям, сухих и свежих. В середине янтарно-прозрачная площадь. Тут-то все и происходит.

Фальк мешает краску. Долго добавляет то одно, то другое. Это может длиться хоть час, хоть больше.

Цвет — это образ, говорил Фальк. Потом одно прикосновение к холсту, и опять мешает и мешает свой цвет — образ...

Так идут часы, так он ежедневно работает годами, может быть десятками лет.

Расположение Фалька заключалось в полуулыбке и в самом доброжелательном разборе работ.

Он говорил тихо:

— Ах, как красиво, — и переходил к подробным оценкам существующих и несуществующих достоинств. И только после того, как робость и оторопь тебя оставляла, начинался, собственно, урок.

Он много говорил об углах картины, о направлении мазков, особенно у нижнего края. И чувствовалось, что это была только та часть тонкой художественной материи, которая тебе на сегодня доступна, об остальном не говорилось пока.

Слушая Фалька, стараясь ничего не пропустить, глубже понять его, я стал работать внешне очень на него похоже.

Однажды я принес ему несколько холстов. Поставил к стене, жду. Приходит Фальк и, как всегда, хвалит. Через некоторое время появляется Ангелина Васильевна, смотрит и говорит:

— Робби, а когда ты это писал?

Я был просто убит. Молча сидел на кушетке и смотрел в пол. Фальк сел рядом, обнял слегка. Стал говорить.

— Знаете, в искусстве подражания нет. Все это одни разговоры. Не верьте. В искусстве есть отбор. Только отбор. Сегодня вы отбираете то, что видите здесь у меня, скоро, может быть, к этому прибавится что-то другое, смешается, потом еще и еще, другое и другое, и так будет смешиваться и смешиваться, если вы не перестанете восхищаться и любить искусство. Так постепенно будет складываться ваше художественное лицо. Это же сейчас только начало, и, по-моему, неплохое. Мы ведь все зависим от того, ЧТО ЛЮБИМ. От того, что удалось нам понять, ну еще, конечно, от внешних причин, от судьбы, но от этого — меньше.

Было ли это уроком? Здесь все было уроком, в самом высоком смысле. Быть у Фалька, видеть, как он, по неоспоримому праву, спокойно и тихо владеет медленно накопленным художественным совершенством. Вдыхать пахнущий красками воздух и с ним поэзию еще не написанных картин в его многоугольной мастерской, где в окнах горели звезды, — это было уроком, только не школьным. Здесь не завоевывалось умение, здесь наследовался ДУХ.

По воскресеньям Фальк, по точному выражению Рихтера, давал "концерты живописи". Перед гостями стоял мольберт, на который попеременно ставились картины. У Фалька было две или три рамы со стеклами, и в них по очереди укреплялись холсты. Именно укреплялись, ведь подрамников было так мало, что по окончании работы холст снимался, и в рамах картина едва держалась, то опираясь на картонку, то на подогнутые гвозди.

Фальк считал, что стекло совершенно необходимо живописи; отражения, по его мнению, больше помогают, чем мешают, напрягая зрительное усилие, концентрируя внимание.

Итак, картины в рамах и под стеклами ставились на мольберт, и наступало безмолвное созерцание тихой фальковской гармонии. Потом еще и еще. Было ли это учебой? Не знаю, ведь я при нем никогда не рисовал. Однако я обязан ему всем.

Фальк любил музыку и обожал Рихтера. Мы часто сидели рядом на его концертах. В такие вечера Фальк был непривычно наряден, ведь дома я видел его только в рабочем халате.

Чувствовалось, как он ждал концерта, как хорошо ему было в зале, в кресле. Он слушал, ловя каждый звук, слушал, заслушивался и куда-то исчезал, да так, что я плечом чувствовал пустоту.

Фальк спал. И это было не от усталости, и не от старости, нет!

Это начиналось со слухового созерцания, с какого-то рода медитации, переходя в полное растворение в гармонии и в самоисчезновение, наконец.

Таков был Фальк; такова была эта жизнь. И окна, и звезды, и на стене в старой испанской раме — оливковый портрет.

Глава IX. ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ

Все это к моде очень близко.

Пушкин

На стене, в старой испанской раме — оливковый портрет, а на столе — сверток и конверт.

Анна: — Смотри, что мне Святослав подарил!

Это был отрез тонкого шерстяного материала с золотой редкой нитью. Очень модное и дорогое парижское достижение. В конверте — ордер в ателье Большого театра для шитья платья.

Анна: — Ордер, это Бог с ним, а вот в этом мы сегодня пойдем!

Кто за один день сошьет вечернее платье — не ясно. Мы обедаем, о чем-то говорим, но пора собираться.

Анна поверх домашней холщовой рубахи заворачивается в парижский отрез, и сразу делается поразительно красивой. Уже вся она от плеч до щиколоток черна, тонка и блестяща. Туфли делают ее выше и стройнее. Седые волосы подвиты и напоминают напудренный парик. Она похожа на старую маркизу с парадного портрета.

Мы, по ходу дела, выясняем, что такого подъема (она выставила туфлю из складок) нет ни у кого. Что-то подобное было, правда, у Торнаге, да и то чем-то хуже, и к тому же это было так давно, что теперь уже всеми напрочь забыто. С этим мы спокойны. Непонятно, правда, куда девать оставшиеся складки драгоценной материи, лежащей на пыльном полу. Завернуть нельзя, выпадут. Только одно — отрезать. Режем. Платье — великолепно. Концерт — само совершенство. Мы все — счастливы. Через день — опять концерт. Опять заворачиваемся и опять что-то режем. Через день — еще концерт! Еще раз заворачиваемся, но тут-то оказывается, что ткани почему-то не хватает. Но решаем, что теперь это будет юбка. Узкая юбка до пола! Наплевать, что придется опять отрезать почти половину, наплевать! Даже хорошо. Оставшийся кусок можно накинуть на плечи, как шаль, и это так подойдет к темно-серому свитеру с высоким горлом. И нельзя же, в конце концов,

ходить все дни подряд в одном и том же платье! Какая удача, что это теперь так! Нет, это просто несравненно лучше платья!

Через месяц от отреза остался только шарф.

... А тем временем век завалил за половину...

Глава X. ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ

И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благотворствуешь ты музам в тишине.

Пушкин

А тем временем век перевалил за половину. Мир готовился отмечать юбилей Баха. Шостакович написал к этому торжеству “Двадцать четыре прелюдии и фуги” — во всех тональностях. Это было большим событием мировой культуры. В Москве много говорилось о новом сочинении Шостаковича, хотя его почти никто не слышал. Рихтер уже учил этот опус и бесконечно им увлекался.

Но на минуту прервемся. Вы, наверное, уже заметили, что с продвижением моего рассказа имя — Рихтер — почти вытеснило милое и домашнее — Святослав Теофилович. Я сам все время обращаю на это внимание. Это происходит само по себе, хотя, по-видимому, не случайно. Ведь идут годы. Мальчишкой, играя с петухом или бросая с балкона лампочки, я, бесконечно его любя, все-таки не мог до конца понимать, КТО ОН на самом-то деле. С возрастом это постепенно открылось для меня, и в моем внутреннем слухе все чаще звучит имя — Рихтер. Теперь это даже уже не имя, а понятие. Странно думать, что это — фамилия, просто фамилия, так же странно это и применительно к Фальку.

“Я видел двух великолепных Фальков”. Ничего себе! Тут можно просто запутаться совершенно. Это все теперь понятия, точно так же, как стали понятиями фамилии Чехов, Толстой, Пушкин, Блок.

Однако вернемся.

Итак, у Рихтера было два издания “Прелюдий и фуг”. Оба одинаковые; но одно, совершенно новое, стояло на пюпитре рояля дома, а другое всегда было у него в руках. Куда бы он ни шел, тетрадь была с ним. Он никогда не носил портфелей и папок, ноты держал в руке, и поэтому на картонной обложке имелся серый шершавый след его огромной ладони.

Сколько раз я видел его с этой тетрадью, но никогда не видел, чтобы он туда заглядывал. Он только нес ее в руке и В СЕБЕ.

У нас он иногда ставил ее, закрытую, на пюпитр и играл оттуда номер за номером.

Теперь весь мир знает эти несравненные композиции как высшее совершенство мысли и формы.

В поэтическом же отношении это, конечно, подлинно русская, даже я бы рискнул сказать, советская музыка.

Самые тайные, исповедальные движения души, какая-то тяжелая работа мысли, совести, так хорошо знакомые каждому здесь, обычно бесследно уходят, исчезают невысказанными и, может быть, даже неосознанными.

Шостакович собрал все это и увековечил в прекрасной поэтической и равно умозрительной форме — в прелюдии и фуге. Интонации их — то юродствующие, то древнеправославные, наполненные то разгулом, то плачем, то сумеречно-тихие, безразличные, как само время, скупо отмеренное. Оно едва тянется под низкими небесами... "В России надо жить долго". "Приказал долго жить". Да, время здесь особенное. Много его или мало?.. Вот она, самая глубинная, тайная мысль, выраженная так ясно, но в отвлеченном материале музыкального звука, в отвлеченной форме прелюдии и фуги, и поэтому пропущенная всеми цензурами и ставшая доступной для каждого! Как все это было автобиографично в то время! Ведь многие тогда жили глубоко скрытой, иногда очень содержательной жизнью, и музыка Шостаковича воспринималась почти как награда. Не за дела. Какие там дела! Только за образ жизни и мыслей. Это была великая музыка, как бы о нас самих, затерянных и никому не нужных... Тихо тянется время под мутными небесами. Много его или мало? Кто знает... Кругом просторно и бессильно. Такая у нас свобода. Свобода от желаний и даже от надежд. Чугунный пол, высокий свод, одиночество. Почти святость. Пусть будет так; навсегда так... И вдруг: ясный голос пионерской трубы! И алый вымпел! И нежная поросль мальчишеских ног... Но откуда опять чувство едва уловимой опасности? Еще — далеко и, смотрите, уже — вокруг! Тонкая отрава, пригретая где-то в разомлевшем мареве... И снова гулко и просторно, спокойно и смутно, свободно и бессильно. И — навсегда...

Теперь это уже давно вошло в лучшую часть мировой культуры, стало признанным, великим шедевром. Сейчас это уже не совсем наше. Мы поделились. Но что могут здесь слышать японцы, например, или англичане? Как они это воспринимают? Что им тут понятно, кроме замечательной музыки и феноменальной формы?

В прелюдии уже содержится весь образ. Полное воплощение поэтической мысли, нравственной идеи. Что же еще?

А еще — фуга. Через нее все содержание проходит, как свет сквозь призму, дробясь в бесчисленных преломлениях умозрительного

музыкального пространства, разрушаясь и самовоздвигаясь на собственных обломках, громоздясь на фантастических высотах и навсегда утверждаясь в восхищенном сознании!

Конечно же, мир это видит. Но может ли проникнуть посторонний в самую глубину поэтической мысли, заключенной уже не в форме, и даже не в музыке, а в самой отдаленной глубине слухового воображения и душевного состояния?

Итак, близился день, когда Рихтер должен был играть "Прелюдии и фуги" в Москве впервые.

Он, конечно же, очень волновался и решил сыграть пока одну треть — восемь прелюдий и фуг. В этот же концерт была включена ми-мажорная сюита Генделя, как бы выражая паритет: Гендель-Шостакович. Сюита Генделя ясна и прохладна. Простая ясность сплетения голосов, только как бы сверху украшенная неожиданными гаммками, трелями и форшлагами. Медленная мечтательная сарабанда и опять блестящая изобретательная жига. В его тяжелых руках это звучало роскошно и плотно. Нарядное барочное совершенство!

Со всеми повторениями сюита шла минут тридцать и составляла первое отделение концерта.

Второе отделение — Шостакович. Восемь прелюдий и фуг. Перед московским концертом все это было раза три обыграно в Италии.

В день концерта Рихтер у Анюши. Он — за роялем, а я за столом. Анюша то в комнате, то в кухне. Мне видна его спина вполоборота, спокойная правая рука с массивной кистью. Он в майке с короткими рукавами. За его спиной открытое окно в Скатертный. Отсвечивает золотая щетина. Он пока не брит. Заниматься будет до четырех, потом — ванна, бритье и одеваться к концерту.

Прелюдии и фуги идут одна за другой. Все поразительно. Все — форма и дух. Но уже чувствуется, как он волнуется. Поиграв, останавливается, вздыхает, посматривает на стену с овальным зеркалом. Слушает ВНУТРИ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ, отвлеченно и одиноко. Он сейчас абсолютно замкнут в своем совершенном слухе, туда за ним не последуешь, там он совсем один. И опять мне видна эта горькая складка, от крыла носа к углу рта.

Но все, время кончать. Уже четыре. Перед самым уходом он насквозь, без повторений, прокатил сюиту Генделя — ослепительно! И быстро ушел...

Вот мы в концерте. Нам тоже передалось его волнение и теперь не по себе.

Над эстрадой яркий свет. Все стихло. Ждут.

Он быстро вышел в обвалившийся восторгом зал, в новом фраке, блестящ и сосредоточен. Раскланялся, сел за сверкающий

Стейнвей. Бушующий зал мгновенно смолк. Как же была плотна и страшна эта вмиг упавшая тишина, тишина великих ожиданий.

Сейчас — Гендель... Рихтер не начинал... Внимание переходит в напряжение... Он молчит... Что же это? Ведь это почти катастрофа! Поднятая голова. Руки бессильно опущены. В зале едва уловимое движение. Наконец-то первые такты. Но что же с ним?! Он неузнаваем! Ведь это едва ли четверть от того, что только что было дома.

Он играл с усилием, совершенно очевидным, как бы нехотя, преодолевая сюиту. Так прошло первое отделение... После антракта он гениально играл прелюдии и фуги! С каким-то редким даже для него подъемом и совершенством! Зал стоя рукоплескал ему и Шостаковичу. Это был не успех. Это был триумф!

На другой день он пришел к Анюше при мне. Он был весел, и, как будто, доволен вчерашним. Мы за столом. Смеемся.

Анюша:

— За что ж ты Генделя так отодвинул?

Он:

— Знаете, я вышел, сел, и прямо передо мной в ложе — Шостакович!

(Он тут же показал, очень похоже, подперев пальцем щеку, известную фотографию Шостаковича).

— Знаете, ну так близко, так близко, тут уж не до Генделя совсем...

Потом рассказывал, как после концерта Шостакович выражал ему свой восторг и приглашал, настоятельно звал, к себе.

— Мы, мол, живем в одном доме.

Анюша сияет:

— Когда же ты пойдешь?

Он:

— Ну как это можно? Я и Шостакович! Мог бы я пойти в гости, скажем, к самому Генделю?..

В этот вечер мы как-то особенно много смеялись. Было хорошо и спокойно.

Глава XI. ПОСЛЕДНЕЕ О МАМЕ

Прийдет ужасный час...

Пушкин

Было хорошо и спокойно. Но не надолго. В начале сентября умерла мама. Ее последняя двухдневная болезнь прошла в беспамятстве, и мы не простились...

Расскажу об этом просто и коротко. Утром она перестала дышать. Я стоял и смотрел в ее лицо на подушке. Она ежесекундно менялась: делалась все темнее и как будто бы меньше... Потом услышал чьи-то осторожные слова:

— Это уже не она...

Я же просто стоял. Вот и все. Сколько раз думал я об этой неизбежной, страшной минуте. Вот она... Ну, что же, похожа она на то, то я представлял себе? Нет... Все было слишком обыденно, просто... День как день, обычное утро. Девять часов. В окне солнце и редкие облака, да слегка пожелтевшие листья. На подушке маленькое темное лицо. Нет, это уже совсем не она...

Пора было начинать печальные хлопоты, и кроме меня делать это было некому. Я оставил маму заботам нескольких знакомых женщин и ушел... Возвратился часа в четыре. Мама высоко лежала на столе, под белой простыней до груди, в черном шелковистом платье, со своим прежним, но сильно побледневшим лицом. Мне подали сложенный листок. В нем стояло:

Митя, думаю о Тебе.

Слава.

Он никогда не звал меня на Ты. Единственный раз в этой записке. Первый и последний... Он был здесь без меня.

Так я остался один. Впереди была жизнь. Но сейчас все было темно и смутно. Думал ли я о будущем? Не знаю. Нет, наверное.

Глава XII. ПРОЩАНИЕ

Так мы расстались, с этих пор
Живу в своем уединенье.

Пушкин

Нет, наверное, страшно трудно быть рядом с безутешным человеком!

Он был со мной очень прост, спокоен, мягко весел; часто что-то дарил, нужное на каждый день: то джемпер, то галстук, то шарф. Все время спрашивал Анюшу обо мне.

В эту осень я особенно часто видел его. Он почти все время был у Анюши, работал предельно много, по двенадцать, тринадцать часов в день. Поднимались двадцать две совершенно разные программы для предстоящего многомесячного турне по Америке. Ведь это уже было сравнимо только с историческими концертами Антона Рубинштейна. Такое количество музыки одновременно мог держать в голове и руках только он.

Анюшина коммуналка тихо скрежетала зубами, и как-то утром, когда собрались пить чай, дверь раскрылась и в комнату был выплеснут ночной горшок.

Так шла эта колоссальная работа, так готовилось одно из лучших художественных свершений Святослава Рихтера. Но не только это создавало трудности. Рихтер ехал в Америку очень надолго. Он просил, чтобы Нине Львовне разрешили поехать с ним. Однажды Анюша потихоньку рассказала мне, что он имел тяжелейший разговор с чиновником министерства и получил самый грубый отказ.

Рихтер заболел. Сильно поднялось давление. Это серьезно угрожало предстоящим гастролям. Лететь на самолете в таком состоянии было нельзя. В последний день Нине Львовне все-таки разрешили выезд, очевидно, только из-за его болезни.

Были куплены билеты на поезд Москва-Шербур, прямо до океана, и дальше — на теплоход до Нью-Йорка...

Я провожал его. Приехал с утра. Он был один. Нина Львовна — уже на вокзале с багажом. Мы что-то ели на кухне. Потом он сказал:

— Ну, пора!

Еще раз присели на дорогу у стола, поднялись и пошли.

К Белорусскому вокзалу продвигаемся не спеша, пешком. Между нами какой-то спокойный разговор, не помню сейчас, о чем. Он выглядит неплохо. Идет легко, но не торопясь.

Вот и вокзал. Его вагон номер ноль — у самого локомотива, и мы довольно медленно, обходя бесконечные группы провожающих, идем вдоль всего состава, к элегантным заграничным вагонам впереди. Вот уже виден конец перрона. Вдруг, пока еще издали, видим Нину Львовну, окруженную провожающими. Они все энергично нам машут. Кто-то побежал навстречу. Рихтер идет не прибавляя шага.

Нина Львовна страшно бледна и встревожена. И было от чего! Лишь только его рука коснулась поручня — поезд тронулся! Так я проводил Рихтера навстречу его всемирной славе...

Ну, вот и все! Двенадцать глав; для формы лучше не придумаешь!

Глава XIII. ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ

Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много.

Пушкин

Ну, вот и все! Двенадцать глав; для формы лучше не придумаешь! И последняя — “Прощание”. Чего же еще?

Но, когда вспоминаешь о Рихтере и о той поразительной жизни, обо всех этих людях, как-то жалко остановиться. Хотя противоречивая память временами сбивает с толку...

Все мы из Москвы следили за Рихтером, были с ним, что называется, душой. Очень ждали его домой.

Его концерты начинались по нашему времени в четыре часа утра. В этот ночной час я часто просыпался. Все время до нас доходили какие-то известия из Америки. То мы слышали, что ему трудно играть на американских роялях. У них для его тяжелых рук клавиатура слаба и мелка. То мы слышали о его триумфах, о толпах людей, не попавших в переполненные залы и ожидающих его у дверей, чтобы хотя бы мельком его увидеть и поаплодировать, пока он садился в машину.

В одном университетском городе он увидел после концерта такую толпу. Узнав, что здесь много студентов, он сейчас же вернулся в зал и повторил всю программу специально для них!

Близилось Рождество и Новый год. Рихтер возвращался домой. Его импрессарио Сол Юрок решил, во что бы то ни стало встречать Рождество вместе с Рихтером и проводить его до берегов Франции.

Двадцать четвертого декабря, где-то между Старым и Новым светом, где-то между Северным и Южным полюсом, быть может, над Атлантидой, в зимнем неспокойном океане они встречали праздник. Так рассказывали...

Ну, а мы, в Москве, готовили Рихтеру подарок. Это был спектакль.

Глава XIV. СПЕКТАКЛЬ

Театр уж полон; ложи блещут...

Пушкин

Это был спектакль, приготовленный со всей серьезностью и самоотдачей, поставленный прямо в его шестидесятиметровой комнате, в доме композиторов, в Брюсовском переулке.

Комедия Мольера "Сганарель, или Мнимый рогоносец" была хоть и коротка, но невероятно сложна хитроумными сплетениями сверкающего сюжета!

Большинство актеров было студентами театрального института или консерватории. Это были одареннейшие люди, в будущем их ждала заслуженная известность, а сейчас мы пока еще студенты, все молоды, и этот спектакль для нас и цель, и смысл, и главное событие жизни.

Играли Наташа и Маша Журавлевы, Митя Дорлиак, Галя Писаренко и ее муж Мира. Договорились, что я сделаю декорации, но актеров не хватало, и меня уговорили постоять в середине этого искрометного хоровода и сказать только одну фразу:

— Счастливец! Счастливец! Какая чудная женщина досталась ему!

Да! Но для меня это было почти недостижимо. Я стоял круглым дураком среди моих талантливых друзей, и, вызывая всеобщий хохот, свою фразу чревовещал.

Всю работу направлял Дмитрий Николаевич Журавлев. Он тут же использовал мою сверхъестественную неподвижность и безрезультатность по-режиссерски; тем ярче, смешнее и блистательнее выглядела карусель вокруг меня. Ведь все они были уже настоящие актеры, ве-

ликолепно двигались, свободно и смешно импровизировали. Я же, в самой середине, демонстративно болел столбняком. Та́к вот. Но, чтобы я совсем уж не свалился, Дмитрий Николаевич иногда меня бережно заводил:

— Ну, Митенька, Вы наш любимый актер. Давайте-ка еще разок! "Счастливец! Счастливец! Какая чудная женщина..." Понимаете, какая это женщина? Она же просто ч-чудная! А он — счастливец! Ну, давайте...

Пьеса игралась темпераментно и шла двадцать три минуты.

А Дмитрий Николаевич говорил:

— Хорошо, но все-таки еще слишком медленно. Держите темп, нужно быстрее, легче, резче!

В законченном виде комедия шла девятнадцать минут!

Итак, готовимся. Теперь все неразрывно связано с декорациями и двумя кулисами. В комнате, даже очень большой, играть поактерски трудно, особенно спектакль, где в беспрерывной возне и беготне — главное очарование.

Нужно было точно определить места, где будут чередоваться сложные мизансцены. Только с декорациями можно было это все до конца себе представить, и я спешил их скорее сделать. Чтобы не мешать репетициям, работал ночами.

Нина Львовна уже приехала и вела всю подготовку и денежно, и идейно. Она старалась, чтобы все что-нибудь проглотили на кухне в свободную минуту. Но ведь свободные минуты были у каждого в разное время. Представляю, как ей было трудно!

Вот уже куплен и натянут слоями перед декорациями хороший безрисуночный тюль. Настоящие театральные фонари светили и перед и между полупрозрачными завесами. Это создавало иллюзию воздуха, большой сцены, пространства, дало возможность одновременно играть в разных планах. Использовалось все — и проходы между стульями, и двери — все было сценой. Везде играли!

Обычно я приходил вечером. Накормив меня всегда чем-то вкусным и сделав мне постель, Нина Львовна меня оставляла. Я работал при свете фонарей и старинной люстры с электрическими свечами. Получалось что-то вроде очень простой гравюры, но увеличенной до трехметрового размера.

Линия велась плоской кистью, обмакнутой в тушь. Работалось легко. Комната освещена только с одной стороны, на стене чудесная репродукция мадонны Фуке, тесно наполненная красными ангелами, ночная рихтеровская квартира тиха и спокойна. Работа шла, как казалось, без осложнений. Черных линий понемногу прибавлялось.

В эту ночь надо все закончить. Ну вот и конец. Посмотрел на часы — половина пятого. Отошел от освещенных декораций, лег. Смотрю. Потом погасил свет и заснул.

Проснулся и сразу все понял. Линия — толста! Сначала это не чувствовалось, но теперь, когда все готово, все линии проведены — черно! Явно черно! Что же делать? Оставлять так — нельзя. Переделывать — некогда. Подошла Нина Львовна. Смотрим. Много! Много черного! Что же все-таки делать? Нина Львовна вышла и вернулась с пудреницей. Через час я все закончил! Пуховый тампон сделал две очень важные вещи: погасил черноту и придал натянутой бумаге какую-то матовую материальность. Все! Рихтера ждали завтра. Я попросил Нину Львовну сделать как-то так, чтобы Святослав Теофилович не видел декораций до спектакля. Она обещала попытаться.

Ну, вот и настал этот день! Сегодня играем. Я пришел засветло. Рихтер недавно приехал и теперь спал. Декорации не видел. Сам решил не смотреть до спектакля.

Перед белой газовой сценой стояла маленькая скамеечка и на ней очень большой яйцеобразный бокал богемского стекла — гигантская неподвижная капля, и в ней — гвоздики. Я сидел и, приоткрыв тюль, смотрел на все вместе в последний раз.

Вдруг — тихо треснул паркет. За стеклом двери я на миг увидел халат и над ним его лицо. Тут же я оказался в коридоре, но он был уже пуст...

Играли все с невероятным подъемом! Но в эти девятнадцать минут было совершенно невозможно разглядеть наш зал. Только краем глаза я иногда ухватывал сияющего Рихтера, сдержанно довольную Нину Львовну и рядом слегка растерянного Козловского, которого, кажется, покинул юмор.

После спектакля мы долго выходили на поклоны и вдруг все разом оказались в ванной. Мы толпились в тесноте, передавая друг другу мыло, смывая с лиц грим.

В этот момент в дверях появился смеющийся Рихтер! Пена, брызги, хлопки! Он стал целовать нас всех в намыленные щеки и сразу оказался сам весь в мыле. Теперь мы уже вместе с ним весело плескались над ванной. Как же я любил этих людей, с которыми сейчас мылся!

Но подождите. Подождите... Сейчас в освещенный круг войдет еще одна колоссальная фигура... Об этом надо рассказать отдельно...

Глава XV. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отъезда день давно просрочен,
Подходит и последний срок.

Пушкин

Об этом надо рассказать отдельно! Он читал, и это была сама жизнь. Только он так мог! Только у него любое движение сердца и мысли выражалось так полно, так ясно для всех его слушающих и видящих.

Он говорил всегда только в рамках своего естественного голоса. Но его лицо, вспыхивающие умом глаза, это дыхание, сглатывание, легкое встряхивание головой, эта пульсирующая сила его чувства делали невероятное: это был одновременно и персонаж, и автор, и вместе с тем ничего не играющий естественный и живой, обаятельный, блестящий Журавлев на эстраде обожающего его зала!

А он, читая, становился то Толстым, то Пушкиным, то Чеховым. И это было чудо их реального бессмертия! В своих перевоплощениях он был непостижим. И как это достигалось, понять никому не дано. Читая, например, за женщин, не допускал и намека на иллюстративность. Но какие это были женщины! Я таких никогда не видел даже у актрис. Лиза в “Пиковой даме”, Наташа Ростова, Кармен. Можно перечислять бесконечно. А какой был князь Андрей? Что бы пережил Толстой, если бы увидел такие воплощения своей мысли! А его испанцы в новеллах Мериме — полукрестьяне, полуразбойники. Как же он это все мог?! Ни театроведы, ни друзья, ни ученики, ни дочери — никто не понимает. Он умел феноменально скрывать ежедневный труд. “Пиковую даму” он готовил десятилетиями, а как легко, свежо, с какой свободой это читалось, словно только что, прямо сейчас, на эстраде все пришло ему в голову. Он был великолепен! Хотя его внешность вряд ли была сценически удобна. Но его ум, его артистическая воля, полнейшее владение всеми подтекстами, всеми движениями авторской мысли и воображения — делали все.

В зале у Журавлева не было слушателей, были только соучастники. Он умел так захватить всех, что видеть его со стороны было просто невозможно. Все, что он делал, тут же становилось всеобщим и собственностью каждого в отдельности.

Я и сейчас слышу в себе его голос как свой. И когда я читаю что-то хорошее, не наспех, а так, как нужно читать, своим внутренним слухом я слышу его интонацию, вхожу в его темп, слышу, как звучат

точки, запятые, тире. Тут-то он и приходит из неведомых глубин памяти, чтобы почитать мне моими же глазами... Спустя десятилетия я вижу его опирающимся руками на рояль за спиной, вижу его крупные черты, высокий лоб, со складкой — шрамом, полученным много лет назад при автокатастрофе, его вспыхивающие талантом глаза и его непостижимые образы.

Спустя десятилетия я словно продолжаю чувствовать эту неисчерпаемую журавлевскую доброту. Как у него ее на всех хватало! На близких и не очень, на назойливых и застенчивых. Откуда он сам-то брал ее? Из большой литературы? Ведь она вся человеколюбива, а русская в особенности...

Дмитрий Николаевич всю жизнь дружил с Рихтером. Они друг друга любили и всецело понимали. И как художники они были похожи — стремились к одному.

Если у Рихтера — рояль был оркестром, только свободней, богаче, без конкретной материальности, все на уровне мысли, то и у Журавлева — чтение было театром, и тоже свободнее и богаче театра, без конкретной материальности, все опять-таки на уровне мысли.

Как-то во время одной из передач о Рихтере я слышал, как ведущий сказал:

— А сейчас послушаем (он назвал автора, не помню сейчас кого, может быть, Брамса)... А сейчас послушаем Брамса от Святослава Рихтера.

Это был намек на вечность, на Евангелие.

Для меня это совсем не так. По-моему, Рихтер никогда не играл Брамса "От Святослава Рихтера". Юдина играла от себя, а Рихтер — нет. Он просто сам становился Брамсом; вот и все! То же можно сказать и о Журавлеве. Ему было очень просто стать Пушкиным, Чеховым или Толстым, стать Наташей Ростовой или Хозе, и гораздо труднее брать на себя большую, тяжелую ответственность читать что-то "От Журавлева".

Я часто встречал Дмитрия Николаевича в доме Рихтера. Он бывал там со своей милой семьей, с женой — Валентиной Павловной и дочерьми — Наташей и Машей. Иногда он читал нам всем, так же прекрасно, как и на концертах, сидя в глубоком зеленом кресле под торшером, в той большой комнате, где мы играли Мольера.

Как-то, на *страстной*, мы опять собрались вместе, по старой традиции. Сначала слушали частями H-moll'ную мессу Баха, а потом Дмитрий Николаевич прочел "Гефсиманский сад" Бориса Пастернака — шедевр, тогда еще нигде не опубликованный. Он читал просто и тихо, как бы совсем без красок, оставляя нас наедине со своим слухом и с этой невиданной силы стихом.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.

Говорилось это тихо и просто, даже как-то кротко! Откуда же бралась эта страшная сила, как бывает в отдаленной, но неминуемой грозе, перед которой все замерло, и весь мир вдруг стал и мелок и ничтожен? И дальше:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Это "*из темноты*" он произносил чуть медленнее и ниже, как бы останавливая навсегда маховик времени...

Все молчали.

Для меня это было одним из самых глубоких впечатлений жизни от искусства...

Очнувшись, я попросил его когда-нибудь продиктовать мне это. Он со своей неизменной доброй простотой сказал:

— С удовольствием, хоть сейчас. Пойдемте на кухню.

Мерцаньем звезд далеких безразлично...

Он стоял, положа руку мне на плечо, и смотрел, как я пишу. Окончив, я уже знал стихотворение наизусть! В его диктовке была такая же сила, как и в чтении.

Потом был большой перерыв. Мы не виделись лет двадцать. Мне уже далеко за сорок. И вот опять *страстная*, и опять мы у Рихтера, только уже на Бронной, в квартире на семнадцатом этаже. Это третий его московский адрес.

Дом — новый, а уклад жизни — прежний. Те же торшеры, те же зеленые кресла, тот же проигрыватель и два рояля в большой комнате. Открыта дверь балкона. Тепло. Пасха в этом году снова поздняя. В глубине широко лежит необъятный предвечерний город.

Входит Дмитрий Николаевич, сильно уже постаревший. Я — к нему. Он вглядывается и как-то с трудом вспоминает. Говорю ему:

— Дмитрий Николаевич, я — Митя.

Лицо его озаряется — вспомнил: прежние добрейшие глаза.

— Митя! Как-кой большой...

Мы стоим в дверях балкона, говорим и, сблизя головы, смотрим на наш город. Тогда я видел его в последний раз.

Ну, что ж, заглянем еще в барочную раму, в глубины темного стекла? Там прекрасный лоб со складкой — шрамом, крупные черты умного лица, и опять — отражение...

Сквозь высокие окна мутно светит. Каменные полы поблескивают латунными швами. Гулко и прохладно.

На пустой стене — маленький портрет в барочной раме. Сейчас он темен и почти не виден. На дне драгоценного ковчега, под отшлифованным стеклом тихо спит время.

Глава XVI (послесловие). СЛАВА

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей...

Пушкин

На дне драгоценного ковчега, под отшлифованным стеклом тихо спит время. Рихтер уехал. Уже много лет он за границей. Иногда я вынимаю из почтового ящика длинные конверты гостиничных фирм с открытками от него. Отвечать некуда. Он все время переезжает, нигде не оставаясь надолго. Играет в разных странах, в разных залах, разным людям. Чаще он в Европе, реже — в Японии. Летом — это Франция, Германия, Австрия, зимой — Италия. С наступлением холода он все дальше продвигается на юг, к Сицилии. Он едет за солнцем на своей небольшой, удобной машине, составив самый точный план ежедневных переездов, почти всегда небольших, от города к городу. Останавливаясь в намеченном месте, он отдыхает, играет концерт и отправляется дальше. Так ездит он по дорогам Европы, не всегда многолюдным, заезжая иногда в весьма отдаленные места.

Так было и у нас, лет десять назад, когда Маэстро (так зовут теперь его во всем мире) не без риска отправился на автомобиле из Москвы на восток, в Японию, останавливаясь через каждую сотню километров, чтобы поиграть людям в самых заброшенных углах России.

Но сейчас Рихтера здесь нет, и уже давно. Есть только великолепные записи, открытки — короткие его письма и воспоминания.

Вот некоторые из них:

Домашние концерты. Их уже очень далеко унесло время. Ведь это еще улица Левитана, помните историю с петухом? Вот какая даль. Полвека без малого...

Готовились сонаты Баха с Ростроповичем. Их всего три. И все они играются сегодня — дома, а завтра — в Малом зале консерватории.

Приглашенных немного, как и места в двухкомнатной квартире. Два прекрасных рояля занимают все пространство комнаты и почти вытесняют в коридор стул и пюпитр Ростроповича.

На узкой тахте можно разместить всего четверых или пятерых гостей, кто-то ютится у открытой двери. В комнате Нины Львовны тоже люди.

Хорошо помню этот ранний весенний вечер. В окна видны верхушки деревьев, пахнет молодой листвой и мокрым асфальтом.

Черные пустые крышки роялей, как две тихие запруды, держат в своей глади опрокинутые окна с вечерним небом, сквозь полупрозрачные занавески. На пюпитрах зеленые тетради Peters'а и на них крупные латинские буквы — BACH.

Оба маэстро где-то здесь, но их пока не видно. Но вот — идут. Вошли. Сели. Им едва хватает места для игры. Шпиль виолончели почти в дверях. Но все как в зале. Совершенно по-настоящему.

— Ну, начали.

Это было странно. Все как-то очень неожиданно. Рихтер великолепен. Форма, пластика, движение. Ростропович же очень экспрессивен, но как много у него обертонов, каких-то чисто технических следов процесса игры, каких-то призвуков, сопровождающих музыку. Их бы скрыть, а тут наоборот, они на самом виду. Это, будто, даже красиво, но все-таки совсем не то, что играет Рихтер. А на другой день в Малом зале был совершеннейший ансамбль, просто чудо слитности! Виолончель и фортепьяно едины и нематериальны. Все возникает как бы из воздуха, где-то над первыми рядами партера.

Трудно представить, что это можно сделать всего за один день. В артистической — счастливые лица. Оба смеются. Ростропович что-то показывает голосом и жестикуляцией из только что сыгранных сонат.

Вокруг целая толпа людей, пришедших их поздравить. Когда ажиотаж немного спал, я спросил Рихтера, почему же вчера все так странно звучало.

Он сказал:

— Дома слишком тесно для его звука. А вчера он играл так же прекрасно.

А вот еще один музыкальный вечер там же.

"Бранденбургские концерты" Баха, на двух роялях с Анатолием Ведерниковым. Теперь на месте, где сидел Ростропович, — низкий круглый стол с рукописными программами. Рихтер сделал их собственноручно. Все начала частей выписаны нотами. Стали играть. Все звучит полнозвучно, мощно и очень нарядно!

Все максимально! Лицо Рихтера — красно. Пуговица воротника — расстегнута. Он весь — стихия энергии, прочно сдерживаемая чувством гармонии, вкусом, разумом. Он, как и во всем, играет природу. Природу движения, пластики, формы, природу поэзии. Он, как всегда, выражает изначальную первопричину всего. Это возвращается, по-своему, и в Гайдне, и в Шумане, и в Дебюсси.

И вот — Бах Рихтера и Ведерникова.

Он прост и ясен. Без тени тенденциозности, стилизации, словно написан вчера!

Как достигается такая подлинность и это естественное изложение от первого лица, как бы от самого Баха, непонятно.

А Ведерников — он как будто чуть суше Рихтера, и поэтому их отчетливо слышно каждого. Но как он сурово прост и прозрачен! Это, как говорится, "единство противоположностей".

Чувствуется: Рихтер — айсберг! То, что мы слышим, есть только видимая часть, а невидимая — целая перевернутая гора! Это очень ощутимо.

Ведерников же — продумал, решил и сделал. Все остальное — скрыл!

Он предельно точен, этот замечательный музыкант, без всякой тени произвольности, специально выраженной субъективности. Его художественное лицо всегда очень значительно. Они любят играть вместе.

И еще один из концертов в доме на улице Левитана. И опять Бах. Концерт фа минор для фортепьяно с оркестром.

Мария Израилевна Гринберг играет сольную партию, Рихтер — за оркестр.

Это всем известный и несложный концерт. Но в таком ансамбле может ли быть что-то простым?

Мария Израилевна играет сильным ровным звуком, безукоризненно. Она сидит грузно и неподвижно, сосредоточенно смотря на свои играющие руки.

У Рихтера — оркестр. Он плотнее и мягче. Это в полном смысле — TUTTI, что значит ВМЕСТЕ. Концерт невелик. Они уже кончают финал. Вот и все! Рихтер быстро встает, наклоняется к еще сидящей Марии Израилевне, целует ей руку и говорит:

— Мария Израилевна, простите, к сожалению, у меня не получилось, как хотелось бы. Может быть, сыграть еще раз?

Как-то мы сидели у Анны, и он признался:

— Играть страшно трудно...

Да, играть все время лучше самого себя (речь-то идет о Рихтере) наверное страшно трудно.

Весной он впервые ездил в Прагу и, возвратившись, был у нас.

Я получил две чудесные книги: "Прага" — в фотографиях известного чешского фотографа Йозефа Судэка и большую серьезную книгу "Орга́ны Чехословакии". Но, чтобы я уже совсем не зачитался, Святослав Теофилович подарил мне еще щегольские плавки и галстук — зеленый в белую косую полоску. (Он и сейчас еще жив у меня и попрежнему элегантен).

Мы сидим за столом. Окна и двери открыты. В них виден солнечный сад. Едим жареную картошку с корейкой, нарезанной широкими розоватыми ломтями. Святослав Теофилович говорит, что самое вкусное здесь — тонкий копченый слой под кожицей. Я как-то не помню ножей тогда на нашем столе. Почему, не знаю. Может быть, их просто не хватило для всех. И Святослав Теофилович, держа ломтик корейки двумя руками, с великим изяществом добывает из него то, что хочет. С картошкой все проще. Она мелко нарезана и досуха прожарена в подсолнечном масле, хрустит и удобно собирается ложкой...

Гастроли, по всей видимости, были хороши, хотя и утомительны. Рихтер весел и легок, однако все-таки чувствовалось — устал.

Он в тот раз почти не говорил о музыке. Рассказывал о Праге, о постановке Гамлета во дворе какого-то замка, где все сидели на грубых скамьях, сколоченных из толстых, тяжелых досок. Потом говорил, как где-то в подвальчике ему подавали совершенно сырой фарш — "мясо по-татарски" с целым пожаром перца и обширной коллекцией горчиц — и как к этому приносилось разное пиво в больших тонких стаканах, на специальных картонных жетонах с рыцарской геральдикой. По количеству этих кружков официант мог знать, сколько стаканов выпито и сколько надо заплатить. Так мы сидели у нас. Рихтер рассказывал интересно и много, но не о музыке...

Был конец концертного сезона, и у него оставались некоторые долги. Например, концерт в Малом зале консерватории.

Вот об этом концерте...

Он начал с Франка. Интродукция, хорал и фуга. Играл дивно. Широта, простор и эта прекрасно им переданная усталая поэзия позднего романтизма!

Начал фугу точно и прозрачно. Вдруг где-то в середине пьесы что-то случилось. Совсем незначительно упало сердце. Какое-то "Ах!", и

опять ничего, и вдруг еще и еще... Так, наверное, умирают... Миг, и, смахнув все, он начал фугу с начала. Все хорошо! Все! Все хорошо! Ну вот оно — это место, и опять: "Ах!"... Теперь уже конец... Это непоправимо.

Он сидел и, держа педалью звуки, безразлично смотрел перед собой. Обломок фуги торчал между ним и залом, как частокол. Он снял педаль и в наступившей тишине произнес:

— Извините, я сегодня не в состоянии.

Его спина скрылась за дверью артистической. Битком набитый зал оцепенело молчал. Пуста залитая светом эстрада. Оловянно, неуютно блестит орган. Полнейшая, ужасная тишина. Через несколько минут Рихтер вышел. Его встретил шквал оваций!!! Он дружески всем улыбнулся, быстро сел, погасив аплодисменты, и стал играть нам то, что хотел сам, не следуя напечатанной программе.

Это были французы. Дебюсси и Равель.

Он играл и объявлял, объявлял и играл, много и прекрасно. Рядом справа сидел Генрих Густавович Нейгауз в пиджаке, украшенном каким-то большим овальным медальоном с профилем Шопена. Его сильно разогретое лицо, голубые слезящиеся глаза излучали любовь и блаженство. Своей, одетой в беспалую перчатку, подагрической рукой он наигрывал за Рихтером на колене и чуть-чуть напевал в нос. Какая в этом была художественная свобода! Абсолютная! Высшая!

После пережитой катастрофы и Рихтер, и весь зал словно договорились сделать друг друга теперь навсегда счастливыми! Концерт был огромен. И все без всякой связи с объявленной программой.

Наконец все бисы отыграны. Время позднее. Но никто не уходит. Зал аплодирует стоя! Погасили свет. Стоят и аплодируют. Вышел рабочий сцены. Закрыл рояль. Овации не стихают. Все стоят. Рихтер снова вышел, уже без фрака, в белой летней рубашке с расстёгнутым воротником. Все смолкло. Он сел за закрытый рояль. Поднял крышку над клавишами и, почти в темноте, сыграл "Серые облака" Листа, поднялся и ушел. По-моему, это был один из лучших его концертов.

Помню целый сезон, отданный музыке Шуберта и Листа. Рихтер в эту зиму сыграл в Москве почти все фортепьянные сочинения этих композиторов.

В первом отделении — Шуберт, во втором — Лист.

Бывали моменты после сонат Шуберта, когда я медленно возвращался к действительности. Сижу в кресле. Уже антракт. Кто-то подходит, здоровается, начинает разговор, всегда, конечно, восторженный. А я так далеко, что едва могу понять, о чем идет речь. Стоило большого труда скрыть это и не дать почувствовать, как хотелось бы мне сейчас побыть одному.

Как я уже говорил, во втором отделении был Лист. Тут все иное. Если мы только что слушали исповедального Шуберта, от сердца к сердцу, для каждого в отдельности, если по окончании ко многим с трудом возвращалась готовность к общению, то во втором, листовском отделении все было наоборот. Все было **для всех**! Одна за другой сменялись огромные, мощные музыкальные картины. Обручение, Кипарисы виллы Д'Эсте, соната "По прочтении Данте" и другие. Одна из таких картин называлась "Мысли мертвых". Это мрачно-нарядное сочинение имеет сложнейшие двойные пассажи.

Казалось, какая-то стальная колесница катит, дробя клавиши сверху вниз. Руки вздыблены, как два моста, и сквозь жестко опертые вертикальные пальцы дробно мелькают отражения в черной зеркальной крышке с золотыми буквами. Через этот трансцендентальный вихрь, играемый с непостижимым совершенством, из темных басовых глубин временами поднимается страшный мотив DIES IRAE!

Лист всех объединил общим восторгом!

В эту зиму концерты Рихтера навсегда примирили всех.

Ведь в искусстве пианиста, как в треугольнике, есть как бы три вершины: музыкант, художник и собственно пианист. Нужно ли объяснять, что и публика тоже делится на приверженцев того, другого или третьего. Одни отдают предпочтение музыкальной или художественной стороне, другие — совершенству и блеску самого пианизма. И у всех свои авторитеты. Ведь в те годы зал Рихтера собирал людей, слышавших еще Игумнова, а не только Юдину и Софроницкого. Сколько тогда говорилось о "золотом" звуке Игумнова! Помните портрет Корина? Худой, прямой старик за разверстым роялем, в котором плавится и сверкает золотое нутро! Наивные люди думают: "Вот портрет Игумнова". Да нет! Это портрет его искусства, портрет игумновского звука! Вот какие были понятия, какова была артистическая власть предшественников Рихтера. Об этом картины писались.

Помню, как жестоко спорили сторонники Юдиной и Гилельса! А те, кто избрал Софроницкого, были вне всяких споров, не желая никаких сравнений со своим любимым артистом, боясь их как святотатства.

Но на концертах Рихтера в этом сезоне все были едины и все подружились, получив все, что хотели, в таком совершенстве и изобилии, что восторгам и овациям, казалось, не будет конца. Никогда не будет! Так было каждый раз. В ту зиму я не помню, чтобы что-то казалось лучше, что-то хуже. Все было каким-то чудом и каждый раз новым!

Наш город боготворил Рихтера. Его совершеннейшее, романтическое искусство так поднимало дух людей того времени, еще помнивших страшные годы недалекого прошлого. Москва считала его своим. Ленинград — своим. Одесса — своим. (Еще бы нет!) Так же своим

считали его и другие города, большие и малые, каждый в отдельности. Я не знаю славы более безусловной, чем слава Рихтера!

Его концерты начинались не с музыки. О нет! Они начинались с раздевалки, с сознания, что он здесь, под этой крышей. А с его выходом на эстраду уже наступала первая кульминация! Зал бушевал! А дальше все нарастало и нарастало состояние всеобщего восторга! Когда же это кончалось? С последним бисом? Ну что вы! Конечно, нет! Его концерты еще несколько дней набирали силу, переполняя сознание!

Я, к сожалению, могу написать сейчас очень немного, ведь рассказывать об игре Рихтера страшно трудно! Слова не выражают это достаточно похоже, но, видите, сколько здесь уже о разных концертах, а **запомнилось навсегда** в десятки раз больше!

А Рихтер между тем говорил иногда с горечью:

— У меня не музыкальный зал. Часто бывает плохо — и не замечают...

Да, это Рихтер. Это его совершеннейший внутренний слух, постоянное недовольство собой. Оно его никогда не оставляет.

— Часто бывает плохо — не замечают. Зал не музыкальный. Видите как!

Позвольте, да как же это не музыкальный?! Рихтер играет по всему миру и собирает в свои залы весь МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР! Весь! НО дело, наверное, в том, что в залах у Рихтера не только музыканты. Их переполняют, толпятся у дверей, спрашивают свободные билеты уже на дальних подходах. Любовь к нему много шире чисто музыкального понимания. К нему идут люди — подчас просто видеть его. Они схватывают на этих концертах что-то очень общее, какую-то неотразимую художественную силу, исходящую от этой личности.

И когда он только еще появляется в дверях эстрады, только еще идет к роялю, уже все свершается.

Они хотят видеть его! Что поделаешь! Они хотят приветствовать великого художника, раз и навсегда ими выбранного! Они любят его, сочиняют о нем легенды, увы, не всегда правдивые. Они начинают верить в свои сказки, и вот созданный так образ Рихтера живет в их воображении уже сам по себе, не завися от сходства или несходства с оригиналом.

Да, ВСЕОБЩЕЕ — это движение вширь, не в глубину! Но ведь так всегда. Иначе не бывает.

Мы же знаем, как в России любят Пушкина! Восторженно! Шумно! Пойди попробуй показать на выставке что-то связанное с Пушкиным — все будут недовольны. И не потому, что тебя не любят. Нет! Пушкина любят. И защищают. И правильно делают! Ну, а как его читают? Как понимают? Это уже по обстоятельствам, смотря кто перед то-

бой. Кто-то хорошо знает, помнит наизусть, кто-то — не очень, и таких много, к сожалению. А любят ВСЕ!

Чем же владеют в Пушкине, если мало читают? Чем? Образом. Каждый своим. Он может складываться из смешных и ничтожных случайностей: из листков отрывного календаря, открыток, обрывков чьих-то рассказов, разговоров, как-то услышанных передач по радио или телевидению, анекдотов, даже иногда вульгарных. Но весь этот ворох уже лежит на алтаре всеобщей любви. И лучше сюда не вмешиваться. Это небезопасно. Ведь любят-то по-настоящему.

Так же в отношении Шостаковича. Знают его музыку — меньшинство, а любовь к нему — всеобщая. Его лицо, облик таковы, что даже любительская фотография Шостаковича — это большое произведение изобразительного искусства!

А как звучат теперь эти слова!

Пушкин! Какая-то золотая вспышка! Легкое, веселое, лучезарное слово. Первое понятие среди иерархии понятий красоты, радости, ума, гармонии!

А Шостакович, как же это теперь звучит, давайте вслушаемся... Как стальной щелк примкнутого штыка, как лязгнувший затвор. Жестко, сурово звучит. Ведь это уже послевоенное, после 7-й и 8-й симфоний.

А сейчас, после его смерти, смотрите, как много стало в этом созвучии пристального, колющего взгляда в самую совесть маленьких серых глаз за толстыми стеклами близоруких очков. Как много теперь здесь этой тонкой линии рта, как бы жестоко промятой или надрезанной гвоздем. Как много теперь в этом созвучии всего его облика и этой детской прически, делающей его каким-то старым мальчиком. Как любимо сегодня всеми это ЛИЦО-СОЗВУЧИЕ, как связано оно с нашим всеобщим достоинством, личной человеческой честью, как, наконец, похоже оно на все наше время, ШОСТАКОВИЧ!

Он в своем облике, по-видимому, понят. Понят давно и навсегда. А как с музыкой? Тут не так широко. Не для всех, не сразу. Тут много, много сложнее.

Так и у Рихтера. Вот это и есть настоящая слава. Его залы переполнены во всем мире. Можно ли предположить, что каждый из миллионов желающих видеть его и слышать может сразу овладеть сложным содержанием сонаты Хиндемита? А может быть Гайдна, но только до конца? Нет, не думаю. Владеют обликом ЕГО, ОБРАЗОМ. Его шагом по эстраде, мимикой. Иногда концерты Рихтера проходят почти в темноте. Только маленькая направленная лампа из темного колпака посылает свой луч на клавиатуру, и весь зал, слушая, напряженно вглядывается в странно изменившееся, освещенное снизу лицо Маэст-

ро. Зал все равно получает его облик, уже другой, но такой же желанный и ничуть не менее полный. Это его артистизм. Общая, наиболее доступная часть его искусства. Тут-то и начало понимания, и многие здесь так навсегда и остаются. Это могло бы и раздражать, если бы не одно существенное обстоятельство. Вот оно: широкая публика **никогда не ошибается**! Она всегда права и точна в своем выборе. Она как само время. Оставляет навсегда только то, что этого достойно.

С какой радостью зал подчиняет себя артистической воле любимого Маэстро! Как идут, едут, летят, чтобы быть с ним, видеть его и, может быть, что-то и понять — кто больше, кто меньше, а потом слагать легенды. Это и есть настоящая слава. Хорошо ли ему с ней? Не знаю. Об этом надо бы спросить при случае самого Маэстро. Я же что-то не помню, чтобы он радовался именно этому. Думаю, он устает от суетного любопытства нескончаемого и, иногда, назойливого. А музыке радовался всегда. Очень радовался, жил и болел ею! Это я видел и помню. Ведь он играет почти все, что написано для фортепьяно. И все, что играет, — любит.

Мы все так много слышали **впервые** в концертах Рихтера! Сонаты Гайдна, как ни странно, до него почти не играемые, сонаты Шуберта, так мало известные в России! А новая музыка! Сколько известных теперь и любимых во всем мире сочинений начали свою жизнь его замечательным исполнением. Он все время меняется, ищет. От него всегда ждут новых и новых открытий.

Вот он начал играть с тремя выдающимися музыкантами: Наталией Гутман, Олегом Каганом и Юрием Башметом. Об этом можно рассказывать много и интересно, но тут начинается отдельная большая область...

Как-то утром у меня зазвонил телефон:

— Митя, здравствуйте. С вами говорит Наташа Гутман. Вы меня помните?

Что тут скажешь! Теряю дар речи.

— Митя, понимаете, тут Святослав Теофилович... ну, словом... Я просто хотела пригласить вас на мой концерт. Только все будет ужасно плохо. Я, понимаете, собираюсь сыграть три сюиты для виолончели соло Баха, а Святослав Теофилович говорил, что вы так любите эту музыку, только я очень плохо это играю. Учтите! Но, может быть, просто, чтобы послушать Баха, придете?

Вот так! Что бы вы сказали ей на моем месте? Ей, быть может, лучшей сейчас виолончелистке мира!

— Наташа, спасибо! Конечно приду! Обязательно, с радостью! А где вы играете?

— У Святослава Теофиловича дома...

И совсем уже упавшим голосом:

— Завтра — я, послезавтра — Олег. Оба страшно боимся. Ничего не выходит.

— Наташа, а можно я приду с женой?

Тут она замялась.

— Ой, Митя, если бы ко мне, то конечно, как же иначе! Но здесь я не хозяйка. Вы понимаете?.. Может быть спросить у Маэстро?

На другой день я пришел на Наташин концерт один.

В дверях — Рихтер.

— А где Нина?

— Да мы с Наташей как-то не смогли решить этот вопрос.

— Ну что за церемонии! Завтра обязательно приходите с ней.

Раздеваюсь, вхожу.

В его огромной комнате человек пятнадцать. Горят два торшера. На высокой раскладной подставке раскрыт какой-то драгоценный альбом.

Наташа в "артистической" — в комнате Святослава Теофиловича, служащей ему кабинетом. Все уже сидят, а Рихтер стоит в широком проеме, соединяющем нас со столовой, опираясь на косяк своей огромной рукой. Так он простоит весь концерт. За его спиной большой двойной портрет Кончаловского.

Наташа будет играть, обращенная лицом к картине, которая красиво замыкает пространство двух комнат и дробится сложными бело-голубыми, зелеными и розовыми построениями. Все тихо ждут. Вот уже слышны ее шаги, уже близко, но вдруг она остановилась перед самым выходом к нам из приоткрытой двери слева. Стоит, пока невидимая. Но вот — идет. Вышла. Виолончель и она. Подошла к стулу и низко поклонилась, как в Карнеги-холл. Это гораздо обнаженнее и жестче, чем с эстрады. Близко! Страшно близко! Она в метре от нас.

У меня все время чувство, что с ТАКОЙ БЛИЗИ смотря на нее, я проявляю какое-то неуместное любопытство, по меньшей мере неделикатное, а то и просто жестокое. Разглядывая свои руки на коленях, все-таки вижу — она уже сидит с закрытыми глазами. Вот смычок чуть двинулся, тронул воздух, и... Прелюдия...

Наташино лицо теперь покойно и печально, чуть двигается ее взгляд в закрытых веках, как бы оглядывая видимое только ей музыкальное пространство...

И вот в комнате уже стоят три сюиты-громады, да такие, что и на площади им было бы тесно.

Конец. Все хлопают.

Она ушла.

Рихтер растроганно:

— Как чудесно играет, правда?

Хлопаем изо всех сил! Ее нет. Не выходит, да и все! Святослав Теофилович с прекрасной темной розой в руках идет к ней. Его не было несколько минут, потом он появился, неся розу обратно:

— Заперлась. Не отвечает.

И мне тихонько:

— Кажется, плачет...

Наташа вышла, когда я был уже у лифта.

— Митя, ах, только ничего, ничего не говорите! Это ужасно! Так нельзя играть! Ну это просто никак! Я же Вам говорила! Я же говорила...

Вот он — совершеннейший внутренний слух великих музыкантов. Вот они, эти тиски для самоистязаний. Она-то ведь уверена, она-то по-настоящему переживает свою "катастрофу", а на самом деле все было так прекрасно...

Я ехал домой и думал, как же трудно, наверное, жить с такой одаренностью. Как нелегко каждое утро просыпаться Рихтером или Гутман...

На другой день, уже с Ниной, я снова у Рихтера.

Сегодня Олег Каган играет две сонаты и партиту для скрипки соло Баха. Опять все так же. Те же люди. Все на своих местах. Все, как вчера. Только драгоценный альбом показывает уже другую репродукцию...

Олег играет прекрасно, но совершенно иначе, чем Наташа.

Он утонченно поэтичен и нежен. Местами является пронзительная меланхолия. Он совершенно свободен чувством и мыслью, СОВЕРШЕННО РАСКРЫТ НАВСТРЕЧУ ВСЕМ полно и доверительно.

Как много настроений, как много движений великих душ может вместить в себя музыка Баха!

Еще где-то здесь рядом стоят вчерашние Наташины громады, а у Олега все уже не так. У него это три жизни, три судьбы. Очень личные и трагические.

Да, они играли по-разному, эти несравненные музыканты. Одно было общее. Они играли не только для нас и Маэстро. Они при нас и при нем, при его свидетельстве, как бы возвращая взятую на время для одушевления музыку, возвращая самому Баху, а, может быть, и Богу, как знать... Олег тоже очень волновался, но это выражалось иначе. Он был как-то собранно подтянут и прикрывался внешней веселостью. И чувствовалось: это было ему непросто. Но вот все. Олег многократно выходит кланяться. Он делает это как бы немного шутя, с какой-то умной самоиронией.

И вот из проема двери появляется уже не Олег, а только его рука, с какой-то керамической посудиной, не то пиалой, не то масленкой. Рука повисела в воздухе и под аплодисменты втянулась обратно, в темноту.

Все было кончено.

Полчаса спустя мы уже пили вино в столовой, под Кончаловским. Все были веселы и довольны. Святослав Теофилович говорил, что Олег играл непостижимо прекрасно, и, вдруг встав, предложил выпить за то, чтобы он играл еще лучше...

Мы расходимся.

В передней Святослав Теофилович помогает Нине надеть пальто. Я говорю:

— Ну, будет что рассказать внукам.

Святослав Теофилович:

— Наши внуки не будут интересоваться нами...

Это ужасно! Ужасно потому, что Рихтер ничего не говорит просто так.

Что же это? Гибель нашей культуры? Нашей нации? Или, может быть, Маэстро все-таки не окажется прав?

Спустя полгода я вынул из почтового ящика узкий конверт с японской маркой. Внутри — открытка: какой-то фантастический черный узор по белому полю. Изысканная абстрактная японская графика. Перевернул и прочел:

"Митя! Вот какие здесь деревья!"

И все... Опять перевернул и понял — это фотография.

Прошло еще полгода. Маэстро приехал в Москву на два-три дня, чтобы сыграть концерт в память своего покойного друга Дмитрия Николаевича Журавлева.

Опять музей. Белый зал прекрасен. На низкой эстраде между двумя пылающими канделябрами большой портрет Дмитрия Николаевича перед отсвечивающей холодным огнем Ямахой.

Сегодня — опять соната Гайдна и две сонаты Бетховена — тридцатая и тридцать первая. Сегодня мы еще раз ощутили бессмертие...

Искусство. Трудное, подвижническое дело! Что это: почему вымысел правдивее и лучше правды?

Искусство. В России оно всегда имело какую-то особую роль.

Чем тяжелее время, тем больше великих художников. Почему? Может быть потому, что жизнь у нас складывалась так, что только в своем воображении человек был по-настоящему свободен? Одряхлевший век с натугой одолевает свои последние годы. Он был страшен, но

каких великих художников он дал! Нужно ли называть их блистательные имена? Мы их знаем. Какие трагические жизни! Они страдали по-разному. Кто-то просто молчал, кто-то вздрагивая от каждого хлопка двери лифта, приготовя себя на муки, продолжал создавать нашу культуру, которой теперь нет равных.

Кто-то шутил с горя. Тоже по-разному: кто-то весело, кто-то не очень. Мандельштам — шутил, Булгаков — шутил, Шварц — шутил, Прокофьев шутил. В своей автобиографии он несколько раз соотнес события своей жизни с жизнью Сталина и говорил примерно так:

— Я родился в таком-то году, — Сталину было столько-то лет. Я поступил в консерваторию тогда-то, — Сталин в это время был там-то и делал то-то.

Так шутил Прокофьев, а Сталин хмуро молчал. Молчал всю жизнь, а уходя в вечность, пошутил в ответ. Великий тиран увел с собой гениального музыканта. Они умерли в один день.

Гроб Прокофьева едва вынесли, едва протиснулись с ним сквозь бесконечные оцепления грузовиков и войск, с трудом сдерживающих обезумевшую многомиллионную толпу насмерть давящих друг друга людей. Сталин и тут не отпускал Прокофьева...

Двадцатый век кончился, навсегда оставив для мира наше великое искусство и мученические имена его создателей. Это бессмертие такое же, как бессмертие Гайдна или Бетховена. Точно такое же!

А Рихтер играет в Белом зале совершенно живому Дмитрию Николаевичу на низкой, заваленной цветами эстраде между двумя пылающими канделябрами. Мы же теперь, никому не мешая, уйдем... Нам пора. Пора тихо закрыть дверь этого повествования.

В колоннаде — слабый свет; вокруг — ни души. Бесконечные галереи, переходы, лестницы темны и пусты в этот поздний час. И далеко-далеко от Белого зала, где сейчас еще музыка и огни, за лабиринтами анфилад опять он — маленький портрет в барочной раме и музейные фантомы вокруг...

Как же долго они сбивали нас с толку! Как обманывали зрение и путали, смешивая правду и вымысел...

3 мая — 20 октября 1996 г.
Москва — Кратово.

Тамара БАСИНЦЯН

НАТАН АБРАМОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ КУРЬЕР

25 февраля 1921 года в Тбилиси вошла Красная Армия. А вскоре в наш дом нагрянула комиссия по уплотнению жилплощади. Комиссия обошла всех обитателей, кроме художника Саши Башбеук-Меликова и семьи врача. Спустя месяц вновь стали перераспределять жильё: тех, кто ютился в сараях, вселили в светлые квартиры, часть комнат горсовет отдал бездомным. У нас реквизировали восьмиметровую комнату с отдельным выходом в коридор — это была комната моего старшего брата, пропавшего без вести. Мы ждали нового жильца.

Звонок. Дверь открыла мама. Входит незнакомец в черкеске, в мягких сапогах, стройный, рослый. Лицо в шрамах, из-под чёрной папахи видны мелкие кудри. Он пожал маме руку и, показав ордер на комнату, улыбнулся.

— Буду вашим жильцом, мамаша.

— Добро пожаловать, — ответила мама и пригласила его в комнату. — Когда будете переселяться?

— Вечером приду. Живу в казарме. Какое там переселение — чемодан, вот и все пожитки.

Мама показала ему комнату. Там у нас стояли кровать и стол.

— Может, оставить вам эту мебель? А то её и выносить некуда.

— Буду рад и благодарен, мамаша, ведь у меня ничего нет.

Незнакомец сразу расположил нас к себе. Не попрощавшись, он ушёл. А мы стали убирать комнату: я быстро помыла окно, Амаля — пол и коридор. Мама переменила простыню, пододеяльник, наволочку, стол застелили бумагой, на окна повесили чистые занавески.

Новый жилец пришёл поздно. Мы, дети, уже спали. Мне постелили в столовой на кушетке.

Утром он встал чуть свет.

— Доброе утро! — сказал маме и нам, детям. Мне было четырнадцать, самой младшей сестре — семь. Спросил наши имена.

Через день он уезжал в командировку.

— Мамаша, комнату я не запираю, оставляю вам, если нужно, пусть дети занимаются там.

Соседи спрашивали у мамы: "Ну, каков он у вас, что за люди большевики?"

"Что за люди большевики? — говорила мама. — Вот наш Натан, пришёл с одним чемоданом, ничего не имеет, живёт Бог знает как, всегда весел, жизнерадостен, шутит и смеётся, работает как вол, несёт свою службу как часы, а сколько шрамов у него на лице! Спросишь: "Как дальше будем жить?", говорит: "Всё будет хорошо, мамаша, и нам и вам".

Как-то привёз он мешок риса.

— Вот, мамаша, рис, а вот и масло, сварите нам плов по-армянски и все вместе пообедаем.

— Натан, — сказала мама, — на такое количество риса надо три фунта масла, а здесь и полфунта не будет.

— Ничего, мамаша, варите, пусть масла будет по-нашему, а риса по-вашему.

Мама засмеялась:

— Ах, Натан, Натан, потешный и милый ты человек! Сварю, риса положу поменьше, а масла как-нибудь сама добавлю.

На обед мы ели плов, хотя рис и не плавал в масле, но зато был вкусный, сытный.

— А на сладкое я привёз вам из Крыма сушёную дыню, — и он положил на стол несколько изумрудных косичек из долек дыни.

Мы ели всякие сушёнки, но такого не видали. Он нарезал их нам своим ножом, и мы, четверо сестёр, угощались этим лакомством как самыми дорогими конфетами.

Вечером, когда отец пришёл домой, мама накормила его рисом и сладкой дыней.

— Большевик он, видно, настоящий, благородный человек, — сказал отец.

Так мы подружились с Натаном. Он стал нам родным братом. Мама его очень полюбила и говорила: "Пусть моя доброта перейдёт к моему сыну". Она не знала, что её сына уже нет в живых, всё ждала, когда же он вернётся.

Однажды Натан говорит маме:

— Мамаша, я хочу жениться, эта девушка завтра придёт сюда, зовут её Надя. Вы с ней поговорите, если она вам понравится, я на ней женюсь, ваше слово для меня закон.

На следующий день Надя пришла. Натана не было дома. Мама пригласила её к нам. Уже был вечер, мама поставила чай, принесла сахар, сухое американское печенье, варенье домашнее. Когда мама заговорила с Надей о замужестве, та засмеялась:

— Что Вы, тётенька, какое замужество! Я свою свободу на замужество не променяю! Ещё увезёт меня в свою Чечню! Он хороший человек, добрый, отзывчивый, но я не жена ему. Пусть живёт сам по себе, а я сама по себе.

Пришёл Натан, выпил чаю с сахаром вприкуску и пошёл девушку проводить. Надя приходила к нему в его отсутствие, убирала комнату, брала его бельё постирать и приносила накрахмаленное, выглаженное. Но этим всё и кончилось, женой она ему не стала.

Приехал раз Натан из командировки и привёз с собой одну женщину.

— Не обижайте её, — попросил маму. — Я её из грязи и голода вынес.

Он купил ей одежду, дал кусок мыла и послал в баню. Она вымылась, оделась. Натан отдал ей весь свой месячный паёк, а сам уехал в командировку. На следующий день эта женщина, с которой мы даже не успели познакомиться, не вышла на кухню умываться. Мама думала, она ещё спит, но когда мы, дети, вернулись из школы и хотели взять у Натана его перочинный нож, увидели, что в его комнате всё перевёрнуто. Позвали маму.

— Ах, подлая! Обобрала его, даже новый чемодан взяла, ничего не оставила. Вот и делай людям добро.

Через несколько дней приехал Натан. Сразу зашёл к нам.

— Ну, мамаша, как живёте, как Ольга?

— Да ты иди, посмотри у себя в комнате, Натан, милый.

Он посмотрел. И только рукой махнул и засмеялся.

— Вот дура, я таких ещё не видал. Обокрала, и что? Разбогатеет, а я обеднею? Дура, дура, я же ей добра хотел.

Натан мало бывал дома — всё время в разъездах, и мы даже не знали, куда он едет и когда возвращается.

— Служба такая — ответственный курьер. Вызвали — взял документы, прямиком на вокзал, повёз, сдал, приехал обратно, доложил на службе, а уж потом иди домой.

— Натан, ты же чеченец, а имя и фамилия у тебя — еврейские. Почему так? — спрашивала мама.

— Да так это нужно — для революции. А что, плохо — Натан Абрамов? Для коммунистов все нации равны. Скажут — носи армянскую фамилию, так надо для революции — буду носить. Ведь я уже немного говорю по-армянски. "Ес кез сирум эм"*. Правильно, мамаша? — смеялся он.

Натан был сердобольным человеком, не мог равнодушно пройти мимо беды и несчастья.

В последний раз привёз он с собой девчонку лет шестнадцати-семнадцати, голубоглазую, светловолосую, бледную да худую до того, что голова была похожа на череп, глаза ввалились, из-под обескровленной кожи просвечивали челюсти и зубы.

— Мамаша, девчонка уже последний вздох испускала, валялась без сознания в грязи. Я привёз её на вокзал, привёл в чувство. Нашёл ей молоко, масло, не отходил он неё, пока она не заговорила. Пить просила. Я вливал ей в рот горячий бульон из вокзального ресторана, кормил своим пайком, консервами и замоченными сухарями. Наконец она заговорила. Когда встала, мы пошли на толкучку, я купил ей платье и обувь. Ей идти некуда, вот и привёз её с собой.

Несколько дней она лежала, а потом встала и первое, что она попросила — книги. Взяла из нашей библиотеки несколько романов, быстро прочла и вернула.

— Натан, купи мне французские книги, — просила она.

---

* "Я тебя люблю" (*арм.*).

В воскресный день Натан с Милочкой пошли к букинистам и купили на толкучке десять французских книг. У нас дома в библиотеке брата оказался только французско-русский словарь.

Конечно, стало интересно, кто она, откуда.

— Моего отца расстреляли большевики, он был генералом. Из дома нас выселили, мать умерла, брат пошёл добровольцем на фронт, какой не знаю, а я жила в одной семье, но голод выбросил меня на улицу. Натан спас мне жизнь, спасибо ему. Но для меня он — чужой.

Как-то Натан принёс свой паёк, на рынке купил мясо и овощи.

— Натан, я приготовлю сегодня борщ, такой, что пальчики оближешь, — сказала Мила, провожая Натана на работу.

Началась стряпня. Она помыла мясо, нарезала, положила в большую кастрюлю с водой и поставила на керосинку вариться. А сама сидит на стуле перед керосинкой, чтобы бульон не сбежал, и читает французский роман. Мясо не сварилось, а она достаёт вилкой кусок, грызёт, съест и опять — за роман. Прочтёт несколько страниц, опять достаёт вилкой мясо и опять грызёт...

Приходит Натан. Она наливает ему в глубокую тарелку жидкий борщ.

— Милочка, ты мне мяса не положила, — ласково говорит ей Натан.

— Когда варила, по кусочкам ела, сама не заметила, как всё съела.

— Ну как, наелась?

— Я ещё пять фунтов бы съела.

"Изголодалась девочка, — говорит Натан маме, — пусть ест, а то у них от голода мрут. Не горюй, мамаша, скоро всё будет, страна заново возродится".

И так повторялось каждый день. Натан не ругал её. Но однажды он уехал в командировку, оставил Миле паёк и деньги на несколько дней. А она все деньги сразу потратила, но продолжала покупать еду и фрукты. Приехал Натан. Ласково говорит ей, как ребёнку: "Понимаю, что ты была голодная, и продала мои вещи, это пустяки. Но ты продала сапоги казённые, а мои уже

дырявые. Где ж я теперь достану такие?" А ей как с гуся вода. Натан ей больше ничего не сказал и выехал в командировку.

Прошло несколько дней. Милочка получила письмо. Кто-то сообщил ей, что её брат служит в Красной Армии, в Коджорах, недалеко от Тбилиси. Она разыскала его. Но эта часть неожиданно отправилась в Сухуми. Мила, недолго думая, сложила свою одежду в чемодан и уехала за братом в Сухуми.

Вернулся Натан, а Милы нет.

— И записки мне не оставила, — пожаловался он маме. — Вот беспечная девчонка! Ну, Бог с ней, хуже ей уже не будет. Выжила — и хорошо.

Прошло время. Натана перевели на работу в Баку. Там он женился, завёл семью. В Баку он познакомился с моей старшей сестрой Еленой, которая переехала из Гадрута, и подружился с её семьёй. "Бодрость, жизнерадостность и вера в светлую жизнь не покидают его, — писала нам Елена. — Чеченец Натан самый благородный и прекрасный человек нашей эпохи".

23 января 1973.

Феликс РОЗИНЕР

ПОПУТЧИКИ

рассказ

Живя переменчивой жизнью газетчика, журналиста, критика, эссеиста, встречаясь ежедневно с людьми числом в легион, погружаясь то в одно событие, то в другое разом и вдруг, привыкший переключаться с мыслей своих на чужие, быстро отвечать на неожиданные вопросы и быстро же принимать неожиданные решения, Сима Красный в своей переменчивой, бурной, сумбурной жизни плыл сравнительно благополучным образом лишь потому, что , как ему думалось, был у него хороший компас. Компасом таким служила ощущаемая им внутри подвижная чуткая стрелочка, остриё которой верно, пусть и с некоторыми, вполне допустимыми искажениями, указывало туда, где было как бы написано "**необходимо**", или же, при полуобороте на житейском горизонте, — прямо противоположное "**случайно**". И Сима, ощущая свою стрелочку, привык уже непроизвольно, чуть ли не вслух, отмечать про себя, столкнувшись с той или иной ситуацией: необходимо!.. случайно!.. необходимо!.. И отметив это, знал уже, как быть: "необходимо" требовало внимания, раздумий, усилий, быть может, борьбы, упорной и бескомпромиссной, тогда как "случайно" он или отбрасывал, когда это можно было отбросить, выкинуть из головы или из череды бесчисленных дел, или, коль выкинуть было нельзя и с таковым досадным положением приходилось мириться, уходил за стену стоического фатализма: если уж что случилось — значит случилось, на то и есть в нашем плохо устроенном мире эта неистребимая глупость — случай. Словом, Сима случайностей не любил, и даже когда внезапно происходило — сиречь случалось — нечто приятное, и даже очень, — ну, например, знакомство с симпатичной молодой особой, чем же оно не приятно? — он всё-таки несколько досадовал на себя, чуть-чуть раздражался: вот, мол, поддался случаю, клюнул на ерунду, вместо того, чтобы... Правда, надо сказать, молодая симпатичная особа раздражительности его не замечала, потому что,

досадуя на себя, Сима, что называется, заводился, и его обычная деловая сдержанность исчезала под действием нервного тока, в нём возникавшего, и он, мужчина далеко не старый — подвижный лёгкий брюнет с серовато-синими глазами, — становился в таком возбуждении особенно привлекателен. Зная за собой способность раздражаться вдруг, он ещё и умело маскировал её под шутливой любезностью и готовностью поддержать ни с того ни с сего затеявшийся разговор.

У бензоколонки, едва он подъехал, кто-то к нему обратился с вопросом, смысла которого из-за шума не выключенного мотора Сима не уловил, а услышал только "Иерусалим". Он, не думая, машинально кивнул, так как ехал в Иерусалим, и тут только спрошенное у него восстановилось как после обратной перемотки какой-то там катушки в памяти:

— Прошу прощения, господин направляется в Иерусалим?

Спросивший сделал полшага к дверце, и второй его вопрос, который можно было и не задавать, завёл Симу тут же за стеночку его стоического фатализма:

— Можно мне сесть в машину? Thank you, thank you very much!

Человек благодарил, чуть ли не на лету подхватив второй кивок Симы. Стрелка внутри него указывала на "случайно", стрелка бензосчётчика — на жёлтый квадратик нулевого ограничителя, бензин лился в бак, деньги, мелькая поджатыми ртами Бен-Гуриона, переходили в чьи-то корявые руки, предстояла дорога длиной в шестьдесят километров и в сорок минут, рядом будет сидеть старикан, уже устроившийся на переднем сиденье и теперь деловито пытавшийся застегнуть ремень — ну-ну, попробуй, я и сам не всегда справляюсь с этой дурацкой защёлкой. Однако старик с ремнём легко совладал. Сима взглянул на соседа. Тот возился с перекинутой через плечо замусоленной сумкой. Сквозь прореху её полуоторванной молнии красным боком мелькнул помидор, увиделись вся в крошках корка хлеба и такие же, в крошках сыплющейся бахромы, обветшалые, истёртые бумажки. Старик, ткнув рукой два-три раза туда, внутрь сумки, затолкал содержимое глубже и, подняв голову, одарил Симу свет-

лой улыбкой прозрачных уже от выцветшей голубизны или от благоприобретённой ясности водянистых глаз. Старик был небрит, и по меньшей мере недельной давности седая щетина покрывала его круглое, с пухловатыми щёчками и потому как будто детское лицо. Круглой, с небольшую ладную дыньку была и вся его головка, поверх которой, прикрывая такую же, как на лице, седую коротенькую щетинку, лежала чёрная лоснящаяся шапочка-кипа.

— Я очень вам благодарен, — проникновенно, будто смакуя каждое слово красивой формулы благодарности, сказал старик. — Хорошо, когда встречаешь человека такого, как вы, кто готов сделать доброе дело.

— Не стоит благодарности. В Израиле это принято, верно? — ответил Сима. Он уже выехал на шоссе и набирал скорость.

Старик медленно с видимым удовольствием говорил: упомянув Израиль, Сима, сам того не ведая, преподнёс пассажиру тему.

— Вы правы. Это правда, в Израиле есть хорошие люди. Мы один народ. Вы образованный и умный человек, а я бедный простой старик. Но вы отнеслись ко мне как к равному. Как еврей к еврею.

Сима хмыкнул. Выспренняя и пустая галиматья! И я должен это выслушивать?

— Извините, я хочу вам возразить. Я не вижу логики в ваших словах, — сказал Сима со скрипом в голосе и покосился на старика. Тот подался вперёд и одновременно к Симе, чтобы приблизить к нему своё левое ухо. У старика был выразительной линии профиль: пропорциональные подбородок и лоб, чуть выдвинутые, как будто он на что-то дул, рельефные губы и длинный, но не опущенный книзу, а курносый, придававший профилю что-то лисье, нос. Вместе с прилегающей к макушке шапочкой всё это было похоже на головы тех потешных фигурок, что бежали, боролись, дрались мечами на стенках греческих ваз.

— Я слушаю. Логика? Я слушаю. Мне очень интересно, — сказал старик, поскольку пауза затянулась, а он был воплощением вежливости и внимания.

Сима вздохнул, набрал воздуха для готовой уже тирады. Всё равно старик ни черта не поймёт, но почему-то хотелось ответить. Хотя, конечно, он знал, почему. Поперёк горла это всенародное самодовольство. "Мы — евреи", "мы — не такие", "мы — лучше других", "мы, мы, мы"...

— Я вернусь к вашим словам. "Мы один народ". Англичане тоже один народ, французы — один народ, итальянцы... Евреи в меньшей степени один народ, чем другие. Я вырос в России, вы — я не знаю, откуда вы?..

— Из Польши, вы — из России? — прекрасно, очень хорошо! — из России, здесь, в Израиле, столько хороших людей!..

— ...вы из Польши, а вот этот, что сейчас обгоняет нас, наверно, из Марокко или из Египта, и мы далеко не один народ в том смысле, в каком один народ французы или англичане: у них была одна история, один язык, одна традиция, а у нас? Это во-первых. Во-вторых, вы сказали так: ты образованный и умный, а я бедный и простой. Тут нет логики. Образованный и умный может быть одновременно бедным и простым. И напротив, богатый и надменный человек может быть безграмотен и полный осёл. Кроме того, что значит "ты отнёсся ко мне как к равному?" Ничего подобного. Как более молодой к старику. И уж конечно, не как еврей к еврею. Просто как к старому человеку.

Вдруг рука соседа коснулась сгиба Симиного локтя. Рука эта мелко-мелко тряслась. Сима, бросив взгляд на неё, посмотрел на соседа. Тот смеялся.

— Нет логики? Я понимаю, я понимаю! Вы знаете, что я вспомнил? Есть такая поговорка, вы её слышали? Тоже без логики. — И вдруг на чистейшем русском языке старик со всё той же присущей его речи медлительной, важной манерой изрёк: — "Лучше быть богатым и здоровым, чем хоть и бедным, но больным".

Сима расхохотался. Он, конечно, эту шутку знал. Но старик произнёс её так уморительно! И к тому же — на русском! Чёрт возьми, он вовсе не примитивен, этот божий человек, этот дервиш от иудаизма.

— Теперь послушайте. Греческая логика — хороший инструмент. Но её возможности ограничены. Во многих сферах

жизни логика не имеет смысла. — Старик вещал, одним и тем же соразмерным движением простирая руки вперёд, к ветровому стеклу, как будто устанавливая перед собою невидимые кубики. — Если из логической посылки обязательно следует необходимое заключение, значит мы имеем дело с простейшим предметом. Объекты достаточно сложные логике не подчиняются.

— Что-что? — переспросил Сима. Он слышал что-то весьма любопытное. — Сложные объекты? Что же вы называете сложным? Движение светил, по-вашему, — это просто?

— Я думаю, что — да, это просто. Пусть уважаемый господин извинит меня за это отступление, я не хотел с вами спорить. Я только хочу вам указать на то, что и вы оказались выше логики, когда изволили прокомментировать мои слова. С точки зрения логики мои слова об образованном и бедном были, действительно, абсурдны. Но вы своим ответом показали, что значение, которое я в них вложил, было вами воспринято и понято. Таким образом, — и здесь я, делая вывод, следую вашей логике, — вы оказались вне логического, то есть в сфере более высокой.

— Ну, знаете... Если не логика... Как же тогда доказывать... своё... Свою правоту?

Вдруг он почувствовал какую-то младенческую беспомощность. Такое с ним случалось два-три раза в жизни — однажды на операционном столе, когда вырезали аппендикс и наркоз уже прекратил своё действие, другой раз на собрании, когда его уличали в тайной связи с сотрудницей, третий... Может быть, третий — сейчас. Почему — он не мог объяснить. И это внезапное чувство беспомощности и необъяснимость этого чувства внушили ему против воли — и против логики, как он тут же отметил — что старик, если и не прав, то во всяком случае ближе к истине, чем он, Сима, с его убеждённостью в силе логики.

— В какой же это сфере... я оказался? — продолжил он, уже зная, что с очередным ответом испытает новое поражение, и ожидание его несло с собой какое-то мазохистское наслаждение.

— Это сфера духовного, — проговорил старик. — Обращения к Богу.

Сима был разочарован.

— Как вы, конечно, заметили, я неверующий.

— Ничего, ничего, — как будто бы с сочувствием сказал старик. Сима вспомнил анекдот: "Национальность? — Еврей. — Ничего, ничего". Старик продолжал: — Вы принадлежите к народу, который избран Богом для служения Ему. Даже если вы неверующий еврей, вы остаётесь приближённым к Нему. Чем отличается верующий от неверующего? Вы никогда не задумывались?

— Чем же? — спросил Сима с вялостью, потому что ему ничуть не улыбалось пускаться теперь в разговоры о Боге — бесплодные, бесконечные и обычно достаточно скучные.

— Неверующий пребывая в своём обыкновенном, ежедневном бытии, deep in his existence, не видит связи повседневности с Богом. А верующий ощущает Бога в каждое мгновенье своего бытия. Но и неверующий, когда он выходит за пределы обыкновенного, житейского; когда он думает и расширяет знание; когда он пребывает в состоянии любви; когда зачинает ребёнка; когда видит смерть; когда смотрит на звёзды, — он ощущает священные связи с Богом. Неверующие называют это иначе. Они говорят о бесконечности, о невозможности постичь природу. Пусть. Ничего, ничего. То же самое.

Начинались холмы Иудейских гор. Солнце стояло уже высоко над ними, но воздух, с гулом входивший в кабину, становился всё более свеж.

— Приближаемся к Богу, — не очень-то скрыв иронию, улыбнулся Сима.

— Да. Мы едем в Иерусалим, — серьёзно ответил старик.

Он умолк. Он то ли размышлял, то ли молился: чуть расставленные пальцы его рук подушечками касались друг друга, и обе сложенные так ладони он держал перед полуприкрытыми глазами. Губы его шевелились, брови вздрагивали.

Вот еду я по прекрасной этой дороге к священному городу Ерушалаиму, думал Сима. Тут родилась религия моих предков, тут проповедовал Христос, тут разгорались страсти, тут воевали, тут воюют, тут убивали и убивают. И Бог, имя Бога на устах у всех. Вот еду с этим стариком, с философом, не знаю, гениальным ли, но уж моих-то профессоров на факультете филологии

Чикагского университета он легко положил бы на обе лопатки. Вот еду я, всего каких-то семь лет назад покинувший Россию, где жизнь газетчика, журналиста, критика, эссеиста была героизмом, приведшим меня, Симу Красного, в ряды борцов за многие и разные права — гражданские, национальные, литературные и музыкальные, — вот еду в Израиль, вот еду в Америку, вот делаю докторат, вот пишу громкозвучную книгу "Альтернатива: нация и демократия", вот еду в Израиль, вот еду в Нью-Йорк, получаю премию, вот еду в Израиль, везу с собой премию, вот еду в Иерусалим, меня берут в газету, вот еду в университет, вот рыскаю по архивам, вот еду я, еду и еду, и — пора вот переключиться на низкую — вот так, дорогой, едем дальше, прекрасна дорога в Иерусалим, прекрасны холмы Иудеи, есть запах цветочный у Высшей Идеи...

— Мы едем в Иерусалим, — сказал вдруг старик. — Мы не восходим пешком, а быстро едем на машине, и тем не менее ощущаем святость этих мест. В каждом из нас еврейское сердце. Чем мы отличаемся от других народов? — с такой торжественностью вопросил старик, что можно было подумать, будто он сидит во главе пасхального стола, и внуки сейчас ответят на его вопрос о том, чем эта ночь отличается от других ночей. — У нас такое же тело, как у других. У нас такое же тело, как у других, такие же руки и ноги. Но сердце у нас другое. Другая душа. Когда Моисей на горе Синай разговаривал с Богом...

Началось длинное, с деталями, почерпнутыми, вероятно, из Талмуда и неизвестными Симе, изложение тех событий, в результате которых евреям дан был Закон. Старик говорил на красивом библейском иврите. Сима скучал и пытался осмыслить, как сочетаются в старике телесная запущенность, ясность строгого абстрактного мышления и беспримерный примитивизм во всём том, что касалось этой несчастной еврейской души. Он простонапросто один из тех, кто об Израиле говорит с такой же готовностью и страстью, с какой иные говорят о женщинах, о бирже или о баскетболе. Говорят не то что со знанием дела, а прямо-таки профессионально. Будто Израиль и евреи — некие ингредиенты бытия, которые он, говорящий, как химик-специалист, давнымдавно исследовал вместе и по отдельности, перетёр в лабора-

торной ступе, сплавил, разложил, подвергнул возгонке, очистил до истинности стопроцентной и теперь аптечными дозами раскладывал по пакетикам утверждений. Вне логики. Вот-вот. Как он там говорил? В сфере духа логика бессильна. Ну-ну, давай, старик, мы с тобой приближаемся к Богу.

Книга Симы готовилась к выходу в свет на иврите, и для этого издания он хотел расширить её по сравнению с изданиями на русском и английском. Шум, который произвела эта работа — книга "русского диссидента" и "еврейского активиста", как попеременно называли Симу Красного в зависимости от контекста событий, в которых он принимал участие, был вызван не только его российским славным прошлым. В своей книге он последовательно развивал ту крамольную нынче мысль, что идея национальная, какой бы актуальной она ни была для данного народа, есть идея более низкого порядка, чем идея демократии, и более того, сегодня "национальное" является противоположным "демократическому", поскольку в нынешних условиях речь должна идти о спасении демократии вообще, демократической цивилизации в целом, тогда как националистические движения не только затуманивают эту жизненно важную цель, но и объективно ей противоречат. Книга Симы взбудоражила как националистов, так и демократов, которые всегда считали долгом делать реверансы в сторону борцов за нац-свободы, нац-культуры и нац-самоопределения. Все признавали, однако, что работа Красного написана блестяще, а нью-йоркская ассоциация журналистов почтила её автора парой тысяч долларов и приглашением выступить в клубе газетчиков. В израильских кругах особый интерес был проявлен к той части книги, где Сима рассказывал о своей семье. Его предки — несколько поколений воложинских мудрецов — в самом начале века породили отступника — Симиного отца. Подросток, уже в тринадцать лет поражавший раввинов своими познаниями, он в пятнадцатилетнем возрасте вступил, подобно Аврааму, в единоборство с Богом: искушаемый желанием ближе постигнуть Его, он однажды осквернил субботу, не помолившись с утра и сев на поезд, неизвестно куда повезший его. В ужасе и восторге ждал он кары Господа — грома небесного или, по меньшей мере, крушения поезда, но Всевышний не проявил се-

бя. Поезд, которые попрал своими колёсами чистую веру юноши, прибыл, как оказалось, в Вильно, где бывший ешиботник скоро стал активным сионистом. Нелегальный приезд в Палестину, подполье, социализм и компартия, арест и высылка по приказу генерал-губернатора, — и Эммануэль Красный становится функционером Третьего интернационала — тем неуловимым Красным, за которым в тридцатых годах охотились германские, польские и французские полицейские службы. Потом последовал вызов в Москву, где поселилась жена — такая же собственность Партии, как и он, затем арест — и безвестная гибель в Сибири. Сима, родившийся перед войной, отца никогда не видел. То, что о нём рассказывали мать и родственники, то, что стало известно о нём от уцелевших его сотоварищей там, в Москве, когда они повозвращались из лагерей, Сима ввёл в свою книгу как живой материал, составивший обширную главу "Трагедия идеи". В ней Сима показывал, как три великих идеологических доктрины, которым служил отец, — доктрина Бога, доктрина сионизма и доктрина коммунизма — последовательно потерпели поражение на том поле битвы, которое единственное и является испытанием всякой духовной идеи — на поле человеческой судьбы, в данном случае — судьбы Эммануэля Красного. В наследство сыну досталось лишь отрицание. И как единственная надежда — попытка держаться за демократию, как за поплавок, позволяющий не утонуть в бурном море истории века. Теперь, готовя издание книги в Израиле, Сима решил пополнить главу кое-чем из того, что можно было почерпнуть из архивов, из периодики, мемуаров и прочих различного рода источников, которые были ему недоступны в России, где родился замысел книги и где делались её первоначальные наброски.

— ... и то, что вы здесь, — доносилось до Симы, — говорит, что главное — это принадлежность к своему Народу, к его Богу и к его Земле. Вы были у Стены?

— Был, конечно.

— Вот видите, какое благо! Вы согласны?

Сима промолчал, но краем глаза он видел, что старик выжидающе смотрит на него.

— Вы живёте в Иерусалиме? — поинтересовался Сима — лишь для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Нет, — коротко сказал старик, замолк, и Сима подумал, что он, наверно, живёт без постоянной крыши над головой. Потом старик продолжил:

— Я еду к Стене. Там сегодня рав Гордон. Вы знаете рава Гордона?

— Нет. К сожалению.

— Это большой мудрец.

Сима скорее почувствовал, чем увидел, что старик улыбается.

— Я хочу поговорить с ним перед смертью. Я хочу жить в Иерусалиме.

Опять какой-то алогизм, подумал Сима, но тут же до него дошло: старик хотел быть похороненным в Иерусалиме.

— Пусть Бог пошлёт вам здоровья. До ста двадцати, — сказал Сима вежливо.

— Господь велик. Спасибо вам, — ответил старик, сказал что-то ещё, но Сима уже не слышал его: машина проезжала мимо полицейского заслона — начинался город.

Он сказал старику, что подвезёт его к Старому городу, ближе к Стене. Старик источал витиеватые благодарности. И когда наконец машина остановилась, старик всё ещё выговаривал заключительные слова своих благословений доброму господину, который в сердце своём оберегает лучшее, что есть у нас, у тех, кто на Синае... Он стоял уже за дверцей, Симина нога подрагивала, готовая не упустить того вожделенного мгновения, когда надавит она на газ, но старик, вдруг на полуслове прервав себя, замер, постоял так, глядя куда-то сквозь Симу, потом сказал:

— Нет ничего. Есть только Надежда. И эта Надежда — Бог.

Прошло несколько дней. В субботу Сима взялся мыть и чистить машину и, выметая из кабины накопившийся в ней сор, обнаружил на полу нечто бумажное — грязное, с истлевшими углами. Это было оброненное стариком удостоверение личности, на котором под совершенно слепым фотоснимком Симе с трудом удалось разобрать: Эммануэль Адом.

Раввин Гордон, когда на следующий день Сима встретился с ним, сказал, что Эммануэль, пришедший к Стене, беседовал с ним, с раввином, в течение четверти часа. Они вместе молились, и сразу после молитвы Эммануэлю сделалось плохо. Его отвезли в больницу "Хадасса", где он в тот же день скончался. Гордон показал Симе свежую могилу. В ответ на расспросы Симы раввин мог сказать о прошлом Эммануэля, что тот, кажется, выбрался из России вместе с поляками генерала Андерса и после Ирана оказался здесь.

Сима вернулся домой, подошёл к сидевшей перед телевизором матери и сказал:

— Мама, я видел отца. Он умер в прошлое воскресенье.

Потом в своей комнате Сима сидел у письменного стола, листал свою книгу, курил и пытался думать. Ему хотелось думать так, как будто не было ни этой книги, ни долгого прошлого в давней России, ни этих недавних семи здешних лет. Ему хотелось думать вне логики, так, чтобы в нём непрестанно возникала и жила одна всеобъемлющая мысль о всех великих идеях и всех маленьких судьбах, о жизни и умирании — и людей и идей, о том, что смерть бывает жива, а жизнь мертва — как смерть отца сорок лет назад и жизнь его до этих последних дней, как гибель его Бога когда-то в далёкой юности и воскресение Бога в его недавней старости, как **эта** страна и **та** страна, как тот и этот народы, оба живущие и умирающие, как он сам, Сима Красный-Адом, желающий и отвергнуть всё отошедшее и умеревшее — и живущий этим ушедшим, мечтающий теперь о книге не той, что была им написана, а совсем иной в её началах и концах. Он хотел невозможного. И чем яснее сознавал он эту невозможность, тем сильнее его к ней влекло.

Лето 1981 г.

Дорога Тель-Авив — Иерусалим

и обратно.

Николай НИКОГОСЯН

ХАШ

Мой школьный друг стал председателем Ереванского горсовета. Невероятно, вчерашний школьник Шаумянской школы, с которым мы сидели за одной партой, — мэр миллионного города. Да, он прекрасно учился, отлично знал историю Армении. И, конечно, любил свой народ и гордился успехами каждого армянина. Кому, как не ему, быть мэром Еревана? К тому же он мой друг. Надо ли говорить, как я рад за него! Когда бываю в Ереване, непременно захожу к нему, и он с радостью принимает меня в любое время.

Однажды, перед отъездом в Москву, я пришёл в мэрию, попросил секретаря доложить о моём приходе.

— У Григория Гарегиновича сейчас совещание, очень важное. Вы подождите, оно скоро закончится, и я сразу доложу.

Я присел на стул и оглянулся. В приёмной теснились посетители. Рядом со мной сидел сгорбленный старик в разбитых солдатских ботинках. Обеими руками он держал палку, опустив на неё голову. Вид у него был удручённый.

— Отец, что ты так вздыхаешь? Случилось что-нибудь?

— Эх, сынок, не спрашивай. Даже сказать страшно. — И он вздохнул ещё тяжелее.

Я снова взглянул на него — Господи, как жалка́ старость, да ещё когда на человека обрушилось несчастье! Надо помочь, обязательно надо помочь ему. Сейчас же!

— Отец, может, я смогу тебя выручить?

— Эх, сынок, меня только Бог спасёт. Но он так далеко, что не слышит моего голоса. Десятый раз сюда прихожу, но меня не принимают, даже слушать не хотят. Не знаю, каким камнем ударить голову.

— Да что ты мог такого натворить, что тебя даже слушать не хотят?! Расскажи мне, и обещаю сделать всё, что в моих силах.

— Сынок, не знаю, как рассказать, чтобы и ты не осерчал на меня.

— Как было, так и говори.

— Уже два года я работаю сторожем на бульваре, возле памятника Ленину. Слава Богу, доволен. Днём дома работаю, а к одиннадцати вечера прихожу на бульвар, ещё люди сидят, особенно влюблённые и бездомные. А моё дело не давать им спать на скамейках, потому что там горит вечный огонь в память о погибших солдатах. Когда все, наконец, уходят с бульвара, я сам сажусь на скамейку и дремлю до рассвета. Утром сдаю свой пост дворникам и свободен. Очень хорошая работа.

— Так что же случилось?

— Говорят, я сделал политическое преступление.

— Какое?! — изумился я.

— Эх, однажды я достал говяжьи ножки — так был доволен! Решил сварить хаш, но, как назло, дома не осталось керосина. И я подумал, сварю-ка хаш на этом огне, всё равно он целую ночь без толку горит. И сварил, хороший хаш получился. Но об этом узнали и выгнали меня с работы. Уже второй месяц без работы. Мне сказали, если я приду к председателю и повинюсь, он меня простит. А он меня не принимает. Мне говорят, это позор, неуважение к погибшим солдатам, ты — преступник. Вот так, сынок, всю жизнь работал честно, а теперь на старости лет стал преступником.

— Отец, не горюй. Я тебе помогу.

— Я твои ноги поцелую, свечку за тебя поставлю в церкви!

Наконец, совещание закончилось. Секретарь зашла к председателю и пригласила меня.

— Николай Багратович, Григорий Гарегинович вас ждёт.

Мы крепко обнялись со старым другом. Он повёл меня к своему столу, усадил рядом.

— Ну, рассказывай.

— Григорий, завтра я уезжаю в Москву. Зашёл увидеть тебя и попрощаться.

— Почему так спешишь? Погостил бы.

— Дело меня ждёт. Все начатые скульптуры сохнут. Нет, пора ехать, так долго без работы я не могу. Но, Григорий, сейчас у меня к тебе необычная просьба, только не сердись, если что не так скажу.

— Конечно.

— Григорий, в детстве ты очень любил свой народ, ты так хорошо знал историю армян, так переживал все беды и стра-

дания, которые принесли армянам арабы, персы, турки!.. Но наш народ не погиб, он выжил. Выжил потому, что всегда находил выход. Ты прекрасно знаешь, что мы можем из камня выжать хлеб. И не случайно армяне пекут хлеб тонким, как бумага. Ты понимаешь, почему? Потому что они всё время скитались, не могли тащить всякий скарб — только хлеб и месяцами питались им. Сто́ит окропить лаваш водой, и он снова становится мягким.

— Николай, зачем ты мне рассказываешь это?

— Подожди, не перебивай. Потому наш народ выжил, что из любого безвыходного положения он находил выход. А теперь из прошлого вернёмся в наши дни. В Ереване есть памятник погибшим воинам — вечный огонь. Наш народ чтит эту святыню, потому что в каждой семье кто-нибудь погиб. Но старик, который сторожит этот огонь, решил на нём сварить свой хаш. У него кончился керосин, и он нашёл такой выход. Конечно, он тёмный человек, необразованный, но ты поступил с ним жестоко. Уже два месяца он ходит к тебе, чтобы извиниться за свой поступок, а ты его даже не принимаешь. Прошу тебя, прости его и, если можешь, верни ему работу.

— Хорошо, я вызову его.

— Не надо вызывать, он уже здесь.

Я открыл дверь в приёмную, взял старика за руку и подвёл к Григорию. Старик вдруг упал на колени и зарыдал.

— Я бедный человек, я не думал... Боже, прости мне мою вину!

Я поднял старика и, глядя в лицо Григорию, сказал:

— Наш председатель очень добрый человек. Он снова берёт тебя на работу и, кроме того, тебе дадут зарплату за эти два месяца. Правда, председатель?

— Пусть так и будет.

— Господи, спасибо тебе! — причитал старик. — Неужели ты этого человека с неба послал для меня?

— Нет, отец, из Москвы, — это ближе, чем небо. А, может, и дальше.



"Старик". Холст, масло. Художник Николай НИКОГОСЯН.

ПИСЬМА

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ДАР

Мне давно было любопытно, куда девался знаменитый портрет Марии Цетлиной кисти Серова (1910), о работе над которым я читала замечательные воспоминания самой Марии Самойловны и который упоминается во всех искусствоведческих работах о портретной галерее В.Серова. Почему я не вижу его в Третьяковке? Почему его не было на юбилейной выставке художника в той же Третьяковке? И только получив от знакомого из Израиля небольшую, красиво изданную и снабжённую многочисленными фотографиями семейства Цетлиных, а также репродукциями работ из коллекции М.С. и М.О.Цетлиных, книгу-проспект Шуламит Шаит "К открытию музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане", Израиль, 1996, — я поняла, в чём дело.

Оказывается, в России этот портрет никогда не был. Хранился в коллекции супругов Цетлиных — людей, оставивших свой след в истории русской культуры. Михаил Осипович, критик, переводчик, поэт (печатался под псевдонимом Амари) особую известность получил как издатель и редактор. Ещё в 1915 году, находясь в эмиграции, М. Цетлин организует в Москве издательство "Зёрна", где выходят книги М. Волошина и И.Эренбурга.

В Париже он редактирует "Современные записки", а в Нью-Йорке совместно с М. Алдановым основывает "Новый журнал".

В 1959 году Мария Самойловна самолично привозит в молодое государство Израиль и дарит свою коллекцию. Среди русских художников, в ней представленных: В. Серов, А. Бенуа, Н. Гончарова, М. Ларионов, Л. Бакст, Ф. Малявин... Словом, "цвет" русских художников рубежа века.

В то время, когда в России под угрозой закрытия крупнейшие национальные музеи, в небольшом Израиле сочли воз-

можным открыть Музей русского искусства, основу которого составляет коллекция Цетлиных. Ещё одна ниточка, связывающая два народа, две культуры...

Вера Чайковская

Главному редактору

С интересом прочитал в № 19 очерк С. Арутюняна "Я наполовину армянин, мой фюрер". Но либо автор что-то основательно напутал, либо память подвела героя очерка — гитлеровского аса Перча Зудермана-Давитяна, но названное число самолётов, якобы сбитых им, совершенно невероятно — 613.

Мартин Калдэн в книге "МЕ-109" (Лондон, 1973) приводит список германских лётчиков, сбивших каждый свыше двухсот самолётов противника. Я привожу этот список по "Энциклопедии третьего рейха" (Москва, 1996):

Эрих ХАРТМАН	352
Эрих Герхард БАРКХОРН	301
Гюнтер РАЛЛЬ	275
Отто КИТТЕЛЬ	267
Вальтер НОВОТНЫЙ	258
Вильгельм БАТЦ	242
Тео ВАЙЗЕНБЕРГЕР	238
Эрих РУДОРФЕР	222
Генрих БЭР	220
Хайнц ЭРЛЕР	220
Ханс ФИЛИПП	213
Вальтер ШУК	206
Антон ХАФНЕР	204
Хельмут ЛИППЕРТ	203
Герман ГРАФ	202

Это не первая досадная ошибка, которая попалась мне на страницах вашего журнала.

Георгий Андреасян

Уважаемый г-н редактор вестника "НОЙ"!

Я испытываю потребность поделиться одним из сильных впечатлений последнего времени. Я надеюсь, что потребность эта оправдана тем, что впечатление моё от события не личного, а имеющего большое общественное значение. Я говорю о выходе в свет первого — и полного — издания в России книги Александра Исаевича Солженицына "Бодался телёнок с дубом", книги, которую мы когда-то читали в списках, потом — частями — в "Новом мире", и вот сейчас получили в полном объёме и блеске. Рискую назвать эту книгу одной из великих книг в русской публицистике двадцатого века. И попробую кратко обосновать это своё мнение.

1. Дух времени (или безвременья), его аромат (не всегда благоуханный) ярче, зримее, глубже открывается в подробностях, штрихах, деталях, эпизодах, в лицах и диалогах, наконец, нежели в анализе, обобщениях и исторических законах, сформулированных с высокой степенью научности. В этом смысле книга Солженицына — блестящее и точное историческое свидетельство об эпохе, которая в России была, пожалуй, одной из переломных, когда уже начали подспудно зреть те процессы, свидетелями которых в их уже решительном проявлении стало ныне живущее поколение. Такое свидетельство, написанное рукой великого мастера, стоит многих томов исторических изысканий.

2. Но впечатление от книги связано не только с фактологическим её содержанием. В книге — потрясающий сюжет. Вечный легендарный сюжет о борьбе одинокого героя и узкого круга его сподвижников с драконовской системой и отмобилизованным ею быдлом, орущим: "распни его!" Сюжет, в котором постоянно

реализовывалась мечта о справедливости. Но только в отличие от сказок, легенд, саг и былин здесь герой — подлинный, живой человек, из плоти и крови, наш современник, силой духа своего превзошедший сказочных героев.

3. Книга эта — и впечатляющая, почти евангельская притча о победе правды над ложью, нравственности над конформизмом, принципов над приспособленчеством; она — великий нравственный урок нашему и будущим поколениям, урок несгибаемости в убеждениях, веры в высшую правду, урок умения бороться за эту правду.

4. Книга эта — и замечательное, прямо-таки интригующее действо с неожиданными поворотами, психологическими коллизиями, которое держит читателя в напряжении и которое даст сто очков вперёд любому детективу. Причём основано оно на борьбе интеллектуальной, а не на кулачном и пистолетном праве, и этим особенно интересено. Конечно, противники героя книги — тоже, как мы знаем, не дурачки, но они борются с интеллектом высшей пробы, логика суждений и проницательность которого неотразимы.

5. Книга утверждает и веру в то, что кроме быдла есть множество достойнейших людей, на которых и стоит Россия, которыми и держится она. Та любовь, теплота и благоговейная благодарность, с которой автор пишет об этих людях — а среди них люди самых разных слоёв и пород, это тоже оставляет след в сердце читателя.

6. Наконец, прекраснейший русский язык, которым написана книга, язык, присущий только Солженицыну, сочный, ёмкий, точный, вкусный, незатасканный, когда каждая фраза несёт "изюминку", выношена, выстрадана, а не написана автоматически, только рукой.

Много ли в русской литературе нашего века книг, обладающих вкупе всеми этими достоинствами? Вот почему хочется низко поклониться Александру Исаевичу за его подвиг, пожелать ему, чтобы подвиг этот продолжался и чтобы Бог дал ему для этого время и силы. В сущности Солженицын — один из тех немногих, кто свалил это чудовище, этот режим, за что мы должны быть вечно благодарны ему.

Имеет ли это какое-нибудь отношение к армяно-еврейской теме? Да, имеет, потому что армяне и евреи пережили

всё то, о чём сказано в книге, и потому ещё, что и за них, армян и евреев, возвысил свой голос Солженицын. Русскоязычному читателю "НОЯ" это более чем понятно.

9 августа 1996.

Читатель вестника инженер Бейнфест Б.Я.

Товарищи!

Может быть, хоть вы об этом скажете. О Еврейской автономной области...

Неужели не ясно, что затея создания еврейского социалистического отечества с треском провалилась. Дозволить еврейский театр, еврейскую газету, секретаря обкома с фамилией Шапиро или Рабинович — это слишком мало для того, чтобы берега Амура стали отчизной для евреев.

"Перед еврейским народом стоит большая задача — сохранить свою национальность, а для этого нужно превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское земледельческое компактное население, измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч. Только при таких условиях еврейская масса может надеяться на дальнейшее существование своей национальности" (Из речи председателя ВЦИК М.Калинина в 1926 г.).

К счастью, евреи эту большую задачу не решили, они пошли другим путём: стали уезжать в Израиль. И едут, и едут... Сегодня во всей России осталось лишь 340.000 "лиц еврейской национальности", ещё немного и Россия станет *юденрайн*.

А область... Её нет. Есть одно название, есть просто Хабаровский край — и никакой Еврейской автономной области. И пора этот факт наконец признать.

В.В.

Г-н редактор,

хочу обратить ваше внимание на сборник М.Элиаде "Под тенью лилии", недавно изданный в Москве. Этот солидный том составили тринадцать повестей и романов, великолепно переведённых с румынского Анастасией Старостиной.

Не мне вам напоминать, что повесть "Под тенью лилии", давшая название сборнику, впервые была напечатана в "НОЕ" (№ 4, 1993), но в книге об этом даже не упомянуто. А жаль! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить редакцию "НОЯ" за то, что вы первыми познакомили россиян с замечательными произведениями Эли Визеля, Сола Беллоу, Альбера Коэна, Салмана Рушди, Хенрика Вергеланна, Сержа Гэнсбурга, Тор-Оге Брингсверда, Освальда Леветта. Надеюсь, этот список будет продолжен.

С уважением,

Олег Штейн

Санкт-Петербург

Дорогая редакция вестника "НОЙ"!

Ваш вестник коснулся книг Виктора Суворова "Ледокол" и "День "М" (№ 18, письмо Марка Коняшова). Это побудило меня написать Вам. Виктор Суворов раскрыл нашу семейную загадку.

Я — немец из России, сейчас живу в Германии. Мой отец Алексей Гергенредер, родившийся в 1902 в Пензенской губернии, был рядовым армии Колчака. В Иркутске попал в плен к красным, сидел в Иркутской тюрьме, затем в лагере. Отбыв срок, в родные пензенские места не возвратился, а поехал в Брянск, где не знали о том, что он добровольцем уходил с белыми. В 20-е годы паспортной системы ещё не было, и ему удалось скрыть службу в Белой армии.

Он работает мастером по холодной обработке металлов на Брянском паровозостроительном заводе, заочно заканчивает

Литературный институт им. Горького. В декабре 1940 его вызвали в НКВД. Понятно, с какими мыслями и чувствами он туда шёл.

В НКВД разговор с ним начали словами: "Вы приглашены как служивший в наших войсках в Иркутске". В первый миг он принял это за издёвку. Меж тем чекист, глядя в бумагу, прочитал наименование части, в которой якобы служил мой отец (наименование я приведу в конце письма).

Отец ничего не возразил, боясь вопросов: а где служил? где был? Впрочем, он не был уверен, что в НКВД этого не узнали и сказанное — не какая-то хитрость. Как бы то ни было, почёл за благо промолчать. Последовал вопрос: "Немецкий не подзабыли?" Отец ответил, что он, собственно, и не знал немецкого. "Как же так? — укорил сотрудник НКВД. — Родного языка не знать!" Спросил: "Почему не в партии?" Отец: не считал себя достойным... На это чекист сказал: "Уладим! Вам будет дано партийное задание".

В январе 1941 отец оказался под Брянском в бывшем доме отдыха "Нагорное", где спешно разместилась 6-месячная школа осназа (школа разведчиков, считал отец). Здесь учились немцы, проживавшие в Брянской и соседних областях, были и финны. Отца поражал дилетантизм организаторов школы: "Какой из меня разведчик? — впоследствии делился он со мной. — Мне было уже 38, не спортсмен. Хорошо выучить язык за полгода невозможно". Остальной контингент был не лучше его. "Учили нас слабоумно. Стрельба — только из нагана и ТТ, и это было не обученье, а ознакомление". Но "долбили" вовсю историю партии. Требовалось без запинки отвечать, в каком году, месяце какой съезд состоялся, какие решения принял. И ещё "долбили" вопросы рабочего движения в Германии, историю Ротфронта. Впоследствии отец говорил мне со смехом: "Разведшкола! Готовили не разведчиков, идиоты, а партначётчиков!"

Однажды он увидел своё личное дело. Там он "проходил" как "кандидат в члены ВКП(б)" (хотя заявления не подавал), указывалось, в какой части он якобы служил в Иркутске.

Обучение должно было закончиться в начале июля 1941-го. Отец думал, что ожидается нападение Гитлера и их готовят, чтобы пешим порядком заслать через линию фронта в Германию. Возможно, для ведения антифашистской пропаганды. "Рассчитывали взять немцев числом х...х агитаторов!"

Через два-три дня после начала войны школу распустили. В НКВД отцу сказали: "Мы вас будем иметь в виду". Он вернулся на паровозостроительный завод и вскоре вместе с ним эвакуировался в Красноярск. Там его как немца мобилизовали в Трудармию. Он попал в Оренбуржье, в Бугуруслан. По сравнению со всеми другими вариантами этот был, пожалуй, наименее плохой. Климат не северный. Хотя трудармейский лагерь находился за колючей проволокой, на работу ходили без конвоя. От голода не умирали. Отец был сразу назначен начальником "колонны" — это подразделение, делившееся на роты, насчитывало больше тысячи человек. Отцу дали ординарца, доппаёк в виде сливочного масла или сала, получал он и водку.

Должность явилась для него неожиданностью неслыханной. До этого он никогда никем не руководил. В его же подчинении оказалось немало немцев из бывших руководителей. Имелось несколько вчерашних майоров РККА (в августе 41-го из армии удалили всех немцев-рядовых и офицеров до подполковников включительно). Почему начальником колонны поставили не кого-то из этих людей, а рабочего? Не из-за диплома же Литературного института? Как иллюстрацию к нонсенсу приведу в пример младшего брата моего отца. С 22-х лет он был коммунистом, но, мобилизованный в Трудармию, попал на Северный Урал в Краснотурьинск, где немцы-трудармейцы оказались в лагере с уголовниками, многие поумирали с голоду, мой дядя едва избежал этой участи.

Другой бугурусланской колонной командовал преподаватель марксистской философии из Энгельса (бывшая столица республики немцев Поволжья). Открылось, что он весьма силён и в истории Ротфронта. За разговоры на эту тему его и отца стали называть "ротфронтовцами".

Кончилась война, и отец уже никем больше не руководил: не предлагали. Ушёл на пенсию учителем средней школы. В хрущёвскую оттепель он решился послать запрос о "своей" службе в некоей части в Иркутске. Из Главного архивного управления при Совмине СССР пришёл ответ: "Сообщаем, что в просмотренных документальных материалах Иркутского кар. полка (вп. Иркутский кар. батальон) за 1920-1921 гг. сведений о вашей службе не обнаружено".

Фамилия "Гергенредер" относится к числу редких немецких фамилий. Для русского уха она трудна, громоздка. Этим объясняется то, что отца приняли за какого-то другого Гергенредера, служившего в "кар.полку". Оплошность бюрократов НКВД обернулась для отца невероятным везением в Трудармии. С этим всё ясно.

Но оставалась загадка: почему так глупо готовили немцев-разведчиков под Брянском? Собственно, ни отец, ни я не считали это загадкой. Для нас это объяснялось неосновательностью русского характера. Русский-де задним умом крепок. Ездит он, безусловно, быстро, но запрягает долго. И начальники у него безмозглые. "Готовиться к германскому нападению, — поражался отец до самой смерти, — и так подставиться?! Русское "авось" и Сталин-азиат — милое сочетание! Счастье, что нас не погнали к немцам в тыл. Но и это не от ума: в подозрительность впали, в недоверие".

Книги Виктора Суворова стали для меня откровением. Моего отца готовили не в разведчики. Сталин готовился летом 1941-го внезапным ударом разбить Германию, захватить её и сделать советской соцреспубликой. При новой германской номенклатуре различных уровней должны были находиться свои люди. Удобнее, чтобы они были немецкого происхождения.

Кто не соглашается с Виктором Суворовым, пусть опровергнет моё письмо.

Игорь Гергенредер

Берлин, декабрь 1996

СОДЕРЖАНИЕ ВЕСТНИКА "НОЙ", №№ 1-20 (1992-1997 гг.)

СОДЕРЖАНИЕ

Обложка
Марка Ибшмана

Набор, вёрстка, оформление выполнены
в издательстве "НОЙ"

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 020338 от 26.12.1991 г.

Формат 60x84/16
Бумага офсетная
Заказ 16

Цена свободная
Тираж 999 экз.

113534 Москва а/я 11
Телефон: (095) 386-25-63





НОЙ
נח
כ